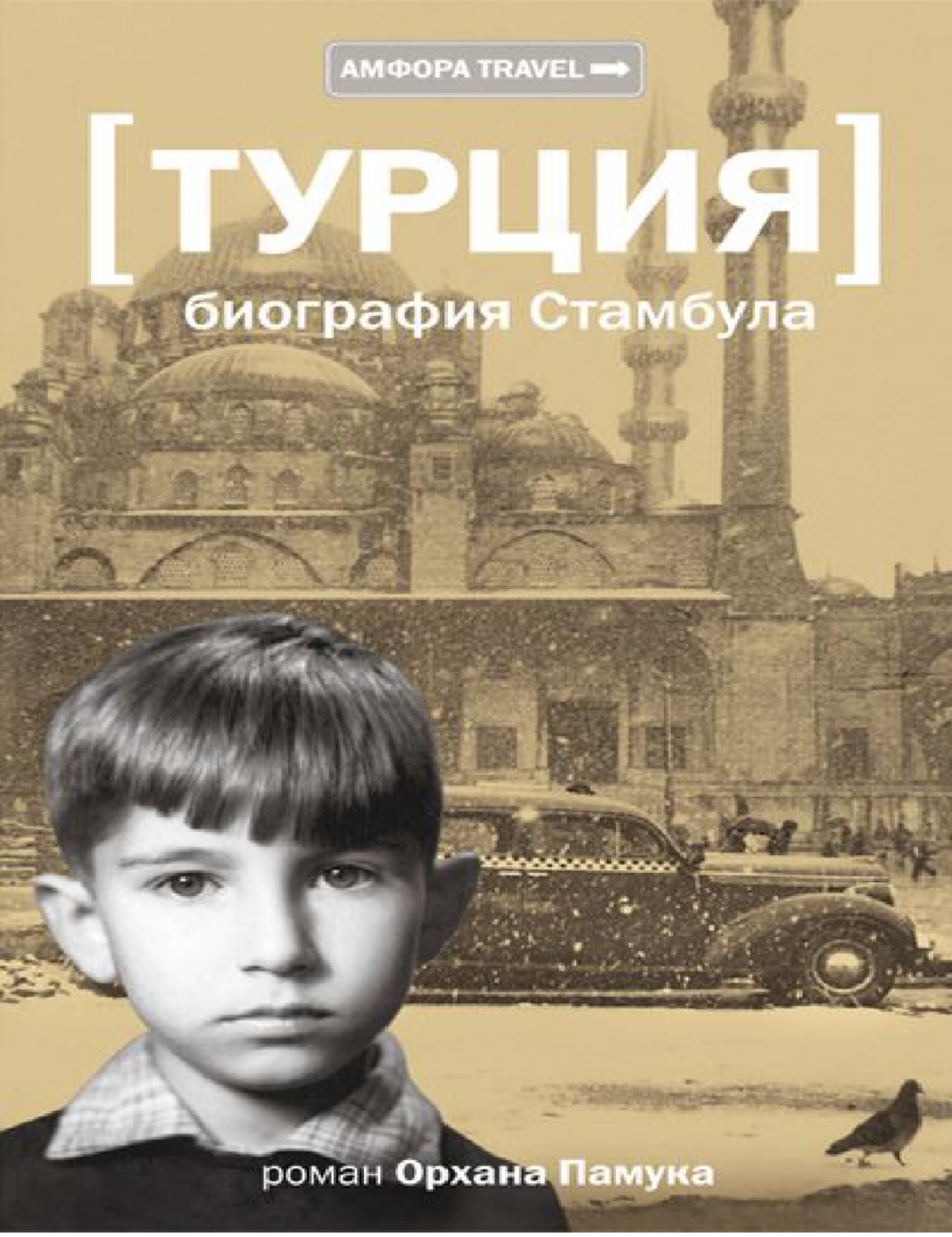
АМФОРА TRAVEL

[ТУРЦИЯ]

биография Стамбула



роман **Орхана Памука**

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Любой человек, задумывающийся о смысле жизни, хотя бы раз задается вопросом о значении места и времени своего рождения. Почему он появился на свет именно тогда и именно там? Справедливо ли, что ему выпали эти семья, страна, город, которые он учился любить и в самом деле искренне полюбил?

Орхан Памук признается, что Стамбул, в котором он родился и живет, стал его судьбой. Черно-белый, как старые фотографии, погруженный в полутьму, свинцово-серый город остался навсегда в его сердце, предопределив жизнь самого известного турецкого писателя современности. Эта книга о таком избрании, о genius loci, который призывает того, кто слышит его голос.

- Памук Орхан
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28

- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- О фотографиях
- Стамбул. Указатель
- Именной указатель

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75

- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96

Памук Орхан
Биография Стамбула

Моему отцу Гюндюзу Памуку (1925–2002)

Лишь тот пейзаж красив, что навевает грусть.

Ахмет Расим

1
Другой Орхан

В детстве я верил — и эта вера на долгие годы осталась где-то в глубине моей души — что на одной из стамбульских улиц есть дом, похожий на наш, и в этом доме живет другой Орхан, во всем похожий на меня, как близнец, как двойник. Откуда у меня взялась эта мысль, я не помню. Скорее всего, она появилась не сразу, а стала результатом сплетения в детском сознании неверных догадок, случайных совпадений, заблуждений и страхов. Чтобы объяснить, что я чувствовал, я должен рассказать об одном из первых случаев, когда она проявилась в моей голове вполне отчетливо.

Однажды, в возрасте пяти лет, меня на некоторое время увезли из родного дома. После очередной ссоры и временного расставания отец и мать уехали мириться в Париж, оставив меня и моего старшего брата в Стамбуле. Брат остался в Нишанташи, в родовом доме семейства Памуков, с бабушкой и прочими родственниками, а меня отправили в Джихангир к тете (маминой сестре). В этом доме, обитатели которого встретили меня любовью и улыбками, на стене в белой рамке висел небольшой детский портрет. Время от времени тетя или ее муж, показывая на него, с улыбкой говорили мне: «Посмотри-ка, это ведь ты!»

Симпатичный большеглазый мальчик, изображенный на рисунке, действительно был немного похож на меня, и на голове у него была точь-в-точь одна из тех кепок, в которых я выходил на улицу. И все же я понимал, что это не совсем мой портрет. (В действительности это была репродукция европейского рисунка, изображающего «хорошего мальчика» в стиле китч.) Я все думал, не может ли это быть какой-то другой Орхан, живущий в другом доме?

Но сейчас я и сам переехал в «другой дом», словно это было нужно для того, чтобы встретиться с моим двойником, живущим где-то в глубинах Стамбула. Однако перспектива этой встречи меня совсем не радовала. Я хотел вернуться в настоящий дом, в дом моей семьи. Когда мне говорили, что на портрете на стене — я, мои мысли начинали немного путаться, в голове у меня кружились, сплетаясь друг с другом, я сам, мой портрет, рисунок, похожий на мой портрет, мальчик, похожий на меня, и «другой дом», плод моего воображения; и я хотел вернуться домой, к своей семье, чтобы никогда больше оттуда не уезжать.

Желание мое сбылось, и вскоре я вернулся в родовое гнездо.

Но завораживающее видение другого Орхана, живущего в другом доме где-то в Стамбуле, меня не покинуло. В детстве и ранней юности меня часто посещали мысли о моем двойнике. Иногда, проходя по стамбульским улицам, я, глядя на освещенные оранжевым светом окна, представлял себе счастливых и спокойных людей, мирно живущих за ними, и когда я пытался разглядеть, что происходит внутри, меня на мгновение пронзала мысль о том, что в одном из этих домов живет другой Орхан. По мере того как я взрослел, видение возвращалось все реже, и наконец стало приходить ко мне только во сне. Порой, когда во сне я встречался с другим Орханом — неизменно в другом доме, — я просыпался, крича от страха; но иногда мы молча смотрели друг на друга с удивительным и безжалостным спокойствием. Когда я просыпался, то чувствовал, как сильно я привязан к моей подушке, к моему дому, к моей улице, к району, в котором живу. Когда же я чувствовал себя несчастным, то мечтал о том, чтобы переехать в другой дом, туда, где живет другой Орхан, и зажить его жизнью; и в какой-то момент даже начинал немного верить в то, что стал другим Орханом. Эти грезы так меня утешали, что переезжать в другой дом уже не было необходимости.

К чему я, собственно, это рассказываю? Дело в том, что за всю свою жизнь я так никуда и не переехал из своего района, со своей улицы, из своего дома. И я уверен — то, что сейчас, пятьдесят лет спустя, я по-прежнему живу в нашем старом доме (впрочем, за это время успев пожить и в других районах Стамбула), там, где мама, взяв меня на руки, впервые показала мне мир, там, где были сделаны мои первые фотографии, — как-то связано с утешительной мыслью о существовании другого Орхана. Мне кажется, что и своеобразие моего рассказа о себе — и, стало быть, о Стамбуле — проистекает из того, что в эпоху миграций и писателей-переселенцев я умудрился прожить пятьдесят лет на одном месте, более того, в одном и том же доме. «Вышел бы ты на улицу, сходил бы куда-нибудь или съездил», — печально говорила мне, помнится, мама.

Есть писатели, такие как Конрад, Набоков, Найпол, которые, сменив язык и культуру, покинув свой народ, родину, континент и даже влившись в другую цивилизацию, с успехом продолжают писать. И я знаю, что если их творческие силы только крепли от изгнания или скитаний, то я как писатель сформировался именно благодаря этой неразрывной связи со своим домом, улицей, городом, видом из моего окна. Такая привязанность к Стамбулу накладывает на характер человека отпечаток судьбы этого города.

Флобер, побывавший в Стамбуле за сто два года до моего

рождения, под впечатлением от его многолюдности и разнообразия написал в одном из своих писем, что он уверен: через сто лет Константинополю суждено стать столицей мира. Но Османская империя рухнула и исчезла с лица земли, и его предсказание сбылось «с точностью до наоборот». Когда я родился, роль Стамбула в мире была наименее значительной за все две тысячи лет его существования, он переживал свои самые печальные дни слабости, нищеты, заброшенности и изоляции. Воспоминания о былом величии Османской империи, бедность и заполонившие город развалины, навевающие тоску, — вот с чем всю жизнь ассоциировался у меня Стамбул. И всю свою жизнь я пытался побороть эту тоску или же, как все стамбульцы, наконец сжиться с ней.

Любой человек, задумывающийся о смысле жизни, хотя бы раз задается вопросом о значении места и времени своего рождения. Почему я родился именно сейчас и именно в этом уголке мира? Справедливо ли, что мне, как лотерейный билет, выпали именно эти семья, страна, город, которые я должен был полюбить и в самом деле искренне полюбил? Порой я чувствую себя несчастном из-за того, что родился среди развалин и праха рухнувшей империи, в блекнущем и ветшающем от уныния, тоски и бедности Стамбуле. (Внутренний голос, впрочем, говорит, что на самом-то деле мне повезло.) Что касается материального положения, то иногда я думаю, что я счастливчик, поскольку родился в обеспеченной семье. (Бывает и так, что думаю наоборот.) Как правило, мне удается убедить себя в том, что нет смысла переживать по поводу своей внешности (эх, был бы я покрепче да посимпатичнее!) или пола (будь я женщиной, неприятностей от этого было бы не меньше). Это — моя судьба, и я понимаю, что Стамбул, город, в котором я родился и провел всю жизнь, тоже стал моей судьбой. Книга, которую вы держите в руках, — об этой судьбе.

Я родился в Стамбуле 7 июля 1952 года в маленькой частной клинике в районе Мода вскоре после полуночи. Коридоры клиники и мир вокруг нее были погружены в ночную тишину. На нашей планете, за исключением извержения неожиданно проснувшегося двумя днями ранее в Италии вулкана Стамболини, все было спокойно. Среди газетных заметок о воюющих в Северной Корее турецких солдатах появились не привлекшие особого внимания сообщения о том, что, по данным из американских источников, северяне, возможно, готовятся применить биологическое оружие. За несколько часов до моего рождения мама читала другие новости, вызвавшие у нее, как и у большинства жителей Стамбула, большой интерес — новости о

событиях, имевших место в нашем городе. Два дня тому назад, ночью, в районе Ланга при попытке проникнуть в дом через окно уборной был замечен вор-рецидивист в устрашающего вида маске. Сторожа и отважные студенты из Конийского общежития пустились за ним в погоню и в конце концов загнали на склад пиломатериалов. Там злоумышленник, покрыв полицейских напоследок отборной бранью, покончил жизнь самоубийством. А днем позже при опознании тела один торговец тканями узнал в нем бандита, который за год до этого средь бела дня совершил вооруженное нападение на его лавку в Харбийе. Мама читала эти новости в полном одиночестве, поскольку, как много позже она рассказала мне с некоторой обидой, отец, уложив ее в клинику, заскучал в ожидании родов и отправился повидаться с друзьями. Поздно вечером, перебравшись через садовую ограду, к ней в родильную палату пришла ее сестра, и больше никого из родственников рядом не было. Увидев меня в первый раз, мама подумала, что по сравнению с моим братом, родившимся двумя годами раньше, я выгляжу слабым, хрупким и худеньким.

«Мама подумала…» Я употребил здесь простое прошедшее время, а надо было бы — прошедшее с окончанием — *mış*. Я очень люблю это время, которое в турецком языке используется, когда мы рассказываем сказки, говорим о своих снах и вообще о том, что на самом деле с нами не происходило или происходило, но не с нами, когда мы пересказываем то, что слышали от других. Это время весьма уместно и в рассказе о тех временах, когда мы лежали в колыбели, катались в коляске или делали свои первые шаги, — ведь о первых годах нашей жизни мы узнаём от родителей спустя годы, и, с напряженным интересом внимая их рассказам, как будто смотрим со стороны на чьи-то чужие первые шаги и слушаем чьи-то чужие первые слова. Это волшебное ощущение, похожее на то, что мы переживаем, видя себя во сне, способствует появлению привычки, которая сопровождает нас всю жизнь: привычки судить о смысле всех событий нашей жизни — и даже самых сильных ее наслаждений — на основании чьих-то чужих мнений. Выслушивая рассказы о нашем детстве, мы охотно верим им, а позже начинаем воображать, что и в самом деле помним то, о чем нам рассказали, и уже сами делимся с другими этими «воспоминаниями»; таким же образом то, что было сказано другими по поводу различных пережитых нами событий, с течением времени не только превращается в наши собственные суждения, но и становится важной частью наших воспоминаний об этих событиях. Так же как мы усваиваем чужие суждения о жизни, мы, как правило, перенимаем у кого-то и мнение о городе, в котором живем.

Иногда, когда я принимаю чужие слова о себе и о Стамбуле за свои собственные воспоминания, я говорю себе, используя то самое время с окончанием — *mış:* «Вроде бы занимался я когда-то живописью… Говорят, что родился и вырос я в Стамбуле, был любознательным ребенком… Долго ли, коротко ли, исполнилось мне двадцать два года, и взялся я ни с того ни с сего писать роман…» В таком духе я хотел было написать и эту книгу — чтобы рассказать обо всей моей жизни так, как будто говорю о ком-то другом, как будто пересказываю волшебный сон, в котором слабеют голос и воля. Однако мне думается, что язык сказок неубедителен — ведь он описывает жизнь словно этап, предшествующий другой, второй жизни, более «настоящей» и яркой, в которую мы переходим, как будто просыпаемся. А для таких, как я, возможность прожить вторую жизнь заключается не в чем ином, как в книгах, подобных той, что ты, читатель, держишь сейчас в руках. Осуществление этой возможности зависит и от тебя. Я буду с тобой честен — отплати же мне за это своим благосклонным вниманием.

2
Фотографии в музейной темноте

Наше семейство — мама, папа, брат, бабушка, сестры отца и его братья со своими женами — обитало в пятиэтажном доме, занимая все его этажи. Еще за год до того, как я родился, все они жили, подобно большой семье османских времен, в разных комнатах на разных этажах большого каменного здания, находившегося неподалеку. В 1951 году это здание было отдано в аренду частной начальной школе, а наше семейство переселилось в построенный на соседнем участке «современный» жилой дом, на четвертом этаже которого моя семья живет и по сей день. К входной двери, как было принято в те времена, была прикреплена табличка, гордо извещавшая: «Дом семейства Памук». Когда я был еще маленьким и путешествовал по этажам нашего дома на руках у мамы, на каждом из этих этажей было по фортепиано, а то и по два. На первом этаже жил один из моих дядей, который остался в моей памяти вечно читающим газету. Женившись позже всех своих братьев, он и поселился ниже всех вместе со своей супругой и ее фортепиано, проведшей следующие полвека, сидя у окна и созерцая проходящих по улице людей. Никто никогда не играл ни на этом фортепиано, ни на других, и они вызывали у меня печаль и тоску.

Не только молчащие фортепиано, но и всегда запертые буфеты, за стеклами которых были выставлены серебряные сервизы, китайский фарфор, чашечки, сахарницы, табакерки, хрустальные фужеры, флаконы для розовой воды, тарелки, кадильницы и спрятанная когда-то среди них маленькая игрушечная машинка; никогда не использующиеся подставки для книг, инкрустированные перламутром, и пустые полочки для кавуков,[1] висящие на стенах; ничего не загораживающие ширмы с рисунками, копирующими стиль модерн или японскую живопись; книжный шкаф моего дяди-врача, заставленный облаченными во внушительные переплеты пыльными книгами по медицине, стеклянные дверцы которого ни разу не открывались с тех пор, как дядя эмигрировал в Америку, — все эти предметы обстановки, заполнявшие гостиные на каждом этаже, были, как мне чудилось, расставлены здесь не для того, чтобы жить среди них, а для того, чтобы среди них умирать. (Иногда какой-нибудь журнальный столик или резной сундук таинственным образом перемещался с одного этажа на другой.)

Когда нам с братом случалось неловко плюхнуться в одно из

инкрустированных перламутром и украшенных канителью кресел, бабушка строго говорила нам: «Сядьте как следует!» Конечно, причиной превращения жилых комнат из места, предназначенного для уютной и спокойной жизни, в подобие музея, ожидающего неких гипотетических посетителей, которые могут явиться когда угодно, было стремление обитателей дома «жить, как на Западе». (Человека, не соблюдающего пост в Рамазан, гораздо меньше мучают угрызения совести, если он живет среди буфетов и фортепиано и сидит в кресле, а не на подушках, скрестив по-турецки ноги.) Поскольку люди не очень-то понимали, зачем еще, кроме избавления от предписаний религии, нужна европеизация, они почти не пользовались своими гостиными, превращая их в печальный и порой поэтичный символ богатства и жизни на западный манер. Этот обычай, за пятьдесят лет распространившийся не только в Стамбуле, но и по всей Турции, начал исчезать только в конце 1970-х годов, с появлением в домах телевизоров. Людям понравилось собираться всей семьей перед экраном, вместе смотреть фильмы и новости, весело беседовать. Из подобия музеев гостиные стали превращаться в миниатюрные кинозалы. Но я помню, что даже в те годы в некоторых семьях было принято ставить телевизор в какую-нибудь маленькую комнатку, напоминающую прихожую, а запертые двери музея-гостиной открывать только по праздникам или в случае прихода особенно почетных гостей.

С этажа на этаж, как это бывает в доме, в котором живет одна большая семья, все время кто-нибудь ходил, поэтому двери квартир, как правило, не запирались. Когда брат начал ходить в школу, я, иногда спросив разрешения у мамы, а иногда и вместе с ней, по утрам — в это время бабушка еще спала — поднимался на верхний этаж, в гостиную, в эти часы особенно похожую на антикварную лавку: тюлевые занавески на окнах и тени от домов, стоящих на другой стороне узкой улочки, погружали ее в полутьму. Там, ползая по большим тяжелым коврам, я играл во что-нибудь сам с собой. Расставлял привезенные из Европы игрушечные машинки в идеальном порядке, играя в автостоянку; представлял, что ковры на полу гостиной и коридора — море, а кресла и столы — возвышающиеся над ним островки; изображал «жизнь на деревьях», прыгая по диванам и креслам так, чтобы не касаться ногами пола, и воображая себя персонажем романа Итало Кальвино[2] «Барон на дереве», который провел всю жизнь на деревьях, не ступая на землю; или, оседлав подлокотник кресла, упоенно пребывал возничим кареты — одной из тех, что мне доводилось видеть на Хейбелиаде.[3] Когда уставал от игр или, чаще, когда мое воображение уставало, борясь со скукой,

превращать гостиную во что-то совершенно иное (воображению предстояло заниматься этим всю мою жизнь, только в дальнейшем гостиная уступила место школьным классам, университетским аудиториям, армейским казармам, больничным палатам и кабинетам государственных учреждений), я принимался осматриваться вокруг в тщетной надежде увидеть на журнальных столиках, больших столах или стенах что-нибудь интересное, но кроме фотографий, ничего интересного там не было.

В то время я думал, что фортепиано, стоящие на нижних этажах, нужны именно для того, чтобы расставлять на них фотографии в рамках. В бабушкиной жилой комнате и в ее гостиной все горизонтальные и вертикальные поверхности были заставлены и увешаны фотографиями самых разных размеров. На самом почетном месте, на стене над камином, в котором никогда не разводили огонь, висели, каждый в своей раме, две огромные фотографии, подкрашенные ретушью. На одной из них был дедушка, умерший в 1934 году, на другой — бабушка. Войдя в гостиную-музей, всякий мог понять по месторасположению этих фотографий и по позам бабушки и дедушки, напоминавшим позы королей и королев, которых я видел в те годы на марках некоторых европейских стран, — они стояли, повернувшись друг к другу, и при этом смотрели прямо в камеру, — что именно с этих людей вся история и началась.

Оба они родились в городке Гордес близ Манисы и происходили из семейства, члены которого прозывались Памуками — за их необычно бледную кожу и светлые волосы.[4] В моей бабушке текла кровь статных черкешенок, которых на протяжении нескольких столетий поставляли в гаремы османских вельмож. Ее отец во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов перебрался в Анатолию, потом поселился в Измире (время от времени кто-нибудь из моих родственников заводил речь о пустующем доме, оставленном там) и, наконец, вместе с семьей переехал в Стамбул, где мой дедушка учился на инженера-строителя. В начале 1930-х годов дедушка разбогател на щедро финансируемом молодой Турецкой республикой строительстве железных дорог и построил на берегу впадающей в Босфор речки Гёксу большую пеньковую фабрику, производившую широкий ассортимент товаров — от веревочек для сушки табака до корабельных канатов. Он умер в 1934 году в возрасте пятидесяти двух лет, оставив наследство, которое мой отец и дядя, то и дело пускавшиеся в разного рода разорительные предприятия, за многие годы так и не смогли растратить.

Из гостиной можно было пройти в кабинет, на стенах

которого в идеальной симметрии были развешаны портреты уже следующего поколения — тоже большие, в рамках, раскрашенные в пастельные тона все тем же фотографом — любителем ретуши. На одной из них был дядя Озхан, пышущий здоровьем толстяк, который, выучившись на врача, уехал в Америку, откуда не мог вернуться, поскольку увильнул от воинской службы, — его отсутствие давало бабушке повод постоянно жить в атмосфере траура. На другой — его младший брат, дядя Айдын с очками на носу, живший на первом этаже; как и мой отец, он, изучив инженерное дело, с молодых лет стал браться за большие строительные проекты, которые не мог довести до конца. На третьей — моя тетя, долгие годы учившаяся играть на фортепиано и даже ездившая ради этого в Париж. Вернувшись домой, она вышла замуж и на фортепиано играть перестала. Вместе с мужем, преподававшим на юридическом факультете университета, они жили на верхнем этаже, в квартире, в которую через многие годы переехал я и в которой пишу эту книгу.

Вернувшись из кабинета в гостиную — свет хрустальной люстры придавал ей особенно печальный вид, — я начинал разглядывать другие фотографии, черно-белые, не тронутые ретушью; в них куда сильнее чувствовалось дыхание жизни. Среди них были свадебные фотографии братьев и сестры моего отца; снимки, запечатлевшие разные памятные семейные даты; первые цветные фотокарточки, присланные дядей из Америки; фотографии с какой-то свадьбы, на которую мы с родителями и братом ходили все вместе; фотографии членов семейства на берегах Босфора и на площади Таксим в праздничные дни, в саду старого соседнего дома, на фоне дедушкиных и дядиных автомобилей и нашего парадного подъезда. За исключением некоторых чрезвычайных случаев, вроде замены фотографии первой жены американского дядюшки на фотографию его второй жены, все эти фотографии стояли в неизменном порядке, как будто были частью раз и навсегда утвержденной экспозиции старинного музея. И все же, заходя в эту гостиную, я снова и снова в который уже раз начинал рассматривать знакомые изображения.

И каждый новый взгляд на фотографии учил меня понимать важность прожитой жизни и отдельных ее мгновений, выхваченных из потока времени и вставленных в рамку, дабы было видно, что сохранены они не зря. Порой, наблюдая за тем, как дядя пытается добиться от моего брата решения какой-нибудь математической задачки, я переводил глаза на его фотографию, сделанную тридцать лет назад; или, сидя рядом с отцом, просматривающим газеты и одновременно прислушивающимся к

шутливому разговору в гостиной (я понимал это по улыбке на его лице), я бросал взгляд на фотографию, где он был запечатлен в моем возрасте, с длинными, как у девочки, волосами, — и у меня появлялось ощущение, что жизнь дается нам именно для того, чтобы мы могли пережить эти главные ее мгновения и заключить их потом в рамку. Иногда бабушка, рассказывая о рано ушедшем из жизни дедушке, словно повествуя о деяниях основателя некоего государства, указывала рукой на развешанные на стенах и расставленные на столах фотографии, и ее жест подчеркивал противоречие между неповторимыми мгновениями жизни и ее обычным течением. Я осознавал, что эти особенные мгновения, под защитой рамки противящиеся ходу времени, ветшанию вещей и старению людей, наделены особым значением и смыслом; и все-таки при взгляде на них мне становилось немного грустно.

Будучи совсем маленьким, я очень любил семейные вечера, когда все собирались за ужином и вели веселые разговоры, застолья во время Курбан-байрама и Шекер-байрама;[5] встречи Нового года, после которых все садились играть в лото. (Позже, уже став взрослым, я каждый Новый год говорил, что больше уже не приду его отмечать, и каждый раз потом приходил.) Эти семейные трапезы, перешучивания, смех, рождающийся не без влияния алкоголя (дядя пил ракы или водку, а бабушка — чуточку пива), убеждали меня в том, что жизнь, не попадающая в рамку, гораздо веселее, и внушали мне иллюзию того, что счастье — это взаимное доверие, веселье и безмятежность семейного круга. И в то же время с самых ранних лет я замечал, что мои родственники, любящие вместе посмеяться, повеселиться и посидеть за праздничным столом, вели себя друг с другом совершенно бессердечно, когда дело доходило до споров об имуществе или о деньгах. Иногда, когда мы оставались наедине в нашей квартире, мама гневно рассказывала мне и моему брату, какие несправедливости «нам» — то есть нашей семье из четырех человек, части большого семейства, — приходится претерпевать от «вашего дяди», «вашей тети» и «вашей бабушки». Когда нужно было что-нибудь делить, будь то имущество, акции пеньковой фабрики или комнаты на каком-нибудь этаже, это всякий раз приводило к долго не затухающим спорам, ссорам и обидам. В шутливой атмосфере семейных сборищ на бабушкином этаже я, может быть, и забывал мамины рассказы об этих неприглядных делах, похожих на трещинку в тонком стеклышке рамки водруженной на пианино фотографии какого-нибудь радостного мгновения; но, даже будучи ребенком, я догадывался, что за этими шуточками кроются порой обидные намеки на старые счеты. Я замечал и то, что ссоры затрагивали даже прислугу

каждой маленькой семьи, составляющей большое семейство, например, нашу Эсму-ханым или тетину служанку Икбал, переживающих за исход очередного разногласия.

«Знаешь ли, что сказал вчера Айдын?» — спрашивала, бывало, мама за завтраком. «И что же?» — с любопытством вопрошал отец, но, выслушав ответ, говорил только: «Да не обращай внимания!» и скрывался за газетой, давая понять, что тема закрыта.

Наше семейство, все еще похожее на большие старинные османские семьи Стамбула, обитавшие всем скопом в больших деревянных особняках, потихоньку разрушалось и распадалось — пусть семейные раздоры и не наводили меня на мысли об этом, я все равно это чувствовал, и причиной тому были постоянные банкротства компаний, которые отец создавал вместе с дядей, и его все учащающиеся отлучки. Время от времени мы с мамой ходили в гости к «другой бабушке», маминой маме, которая жила в Шишли, одна в трехэтажном пыльном особняке, похожем на дом с привидениями. Пока мы с братом играли, мама рассказывала бабушке о том, что дела идут все хуже, а бабушка, опасавшаяся, как бы мама не захотела вернуться в родительский дом, советовала ей сохранять спокойствие и пыталась внушить нам, что дом этот совсем не удобен для житья.

Моему отцу были свойственны кратковременные вспышки раздражительности, но в целом он был весьма доволен жизнью, судьбой, самим собой, своей внешностью и умом и немного по-детски (от некоторой ребячливости он никак не мог избавиться) выставлял свое довольство напоказ. Помню, дома он часто насвистывал веселые мелодии и любовался собой в зеркале, при этом иногда, взяв лимон, выдавливал сок и втирал его себе в волосы, как бриллиантин. Он обожал шутки, головоломки и игру слов, с удовольствием читал наизусть стихи, любил блеснуть интеллектом и слетать куда-нибудь далеко на самолете. Некоторые отцы всегда готовы отругать, запретить или наказать — мой папа был не из таких. Во время наших с ним долгих веселых прогулок я чувствовал (особенно в раннем детстве), что мир — это замечательное место, созданное для того, чтобы человек был счастлив.

Если отец предпочитал обходить молчанием все отрицательные или просто скучные стороны жизни, то мама, наоборот, все время говорила нам о ее, жизни, опасностях и многое нам запрещала. Она всегда была готова, нахмурив брови, защищать нас от всяких напастей, поэтому с ней было не так весело, как с отцом. Но мама уделяла нам гораздо больше времени, чем отец, который норовил при первой возможности

сбежать из дома, и поэтому я очень нуждался в ее любви и нежности. То, что за эту любовь мне нужно соперничать с братом, я осознал как один из основных законов жизни уже в самом раннем детстве.

Упорная борьба и соперничество с братом за материнскую любовь, принявшие чрезмерный размах, заняли в моей душе то место, которое могло бы занять противостояние авторитету, силе и власти отца. Тогда, конечно, я не понимал этого так, как понимаю теперь. Наше с братом соперничество, особенно вначале, никогда не происходило открыто — оно было частью игры, в которой каждый представлял себя кем-то другим. По большей части мы дрались друг с другом не как Орхан с Шевкетом, а как один футболист или герой сказки с другим футболистом или героем. Во время этих игр и драк, кончавшихся кровью и слезами, мы, изображая вымышленных или реальных персонажей, полностью входили в роль и как будто забывали, что это не кто-нибудь, а мы, два брата, деремся, изо всех сил колотим друг друга и обзываемся обидными словами. Мой брат, всю жизнь интересовавшийся статистикой и подробными описаниями различных побед, как-то, многие годы спустя, сказал мне, что, по его подсчетам, в девяноста процентах этих драк победителем оказывался он.

Когда мне становилось грустно или скучно, я, не говоря никому ни слова, уходил из нашей квартиры либо вниз, поиграть с тетиным сыном, либо, чаще всего, наверх, на бабушкин этаж. (Однажды мама сказала мне: «Дети часто жалуются, что им скучно, а я за все твое детство ни единого раза от тебя этого не слышала».) Несмотря на то что все этажи были очень похожи друг на друга, а многие вещи — сервизы, сахарницы, кресла, пепельницы — были просто одинаковыми, каждый этаж представлялся мне совершенно особенным миром. Несмотря на печальную атмосферу переполненной вещами бабушкиной гостиной, а может быть, и благодаря ей, я любил приходить в эту комнату, похожую на музей, играть здесь, мечтать среди теней, отбрасываемых вазами, рамками фотографий и журнальными столиками, представляя, что это какое-то другое место.

По вечерам, когда зажигались лампы и вся семья собиралась вместе, бабушкина квартира превращалась в капитанскую рубку огромного корабля, идущего сквозь бурю; волны становились все больше, нам — капитану, команде и пассажирам корабля — становилось все страшнее, и я гордился тем, что судьба корабля и всех, кто на нем плывет, находится в моих руках. В эту игру переносилось многое из тех видений, которые приходили ко мне по ночам, когда я, лежа в кроватке, слышал, как печально стонут

сирены больших кораблей, проходящих через Босфор.

Игра эта напоминала и приключения героев комиксов, которые читал мой брат. Но в то же время я чувствовал, точно так же, как и при размышлениях об Аллахе, что судьба моей семьи не имеет ничего общего с судьбой простых стамбульцев, — просто потому, что мы богаты. Однако в последующие годы, по мере того как отец и дядя терпели банкротства, родственники делили имущество и деньги, отец и мама ссорились, — наша маленькая семья и все большое семейство разрушались, дробились, беднели и быстро стремились к полному распаду; и каждый раз, когда я заходил в бабушкину квартиру, мне становилось все грустнее и грустнее. Чувство подавленности, потерянности и тоски, опустившееся на Стамбул с падением Османской империи, пусть и другими путями и с некоторым опозданием, добралось и до нас.

3
«Я»

В счастливые мгновения, которых было так много в моем детстве, я чувствовал счастливым не «себя», а весь мир — добрый, прекрасный, солнечный. Огорчения — нелюбимая и невкусная еда, уколы шприцем в руку, деревянная клетка, которую почему-то называли манежем, — меня туда сажали, когда я был совсем маленьким, чтобы не бегал и не падал, а я злился и грыз деревянные перильца, или (это одно из самых неприятных воспоминаний моего детства) случай, когда я зажал палец дверцей дядиной машины и простоял так, плача, несколько часов (за этим последовал страшный визит к врачу на рентген), — все это давало мне представление не обо мне самом, а о существовании в жизни боли и неприятностей, которых следует избегать. Но вместе с проблесками сознания, вместе с фантазиями и переживаниями во мне медленно, словно чувство вины, зарождалось ощущение своего бытия, своего «я».

Когда мой брат, который был старше меня на два года, начал ходить в школу, а я еще нет, то есть когда мне было от четырех до шести, мы отдалились друг от друга, и прежней дружбы между нами уже не было. В эти два его школьных года мне жилось лучше, чем раньше, поскольку на протяжении значительной части дня я был избавлен от ощущения своей слабости по сравнению с братом и от чувства соперничества с ним. Наш дом переходил в мое распоряжение, а мамина нежность и забота доставались мне целиком и полностью. В эти годы я понял, что значит быть одному, и к этому же времени относятся мои первые незабываемые воспоминания.

Брату покупали комиксы. Я просил его прочитать мне слова персонажей, а потом, когда он был в школе, открывал эти книжки и сам «читал» их, вспоминая услышанное ранее. Однажды, замечательным летним днем, когда меня уложили спать после обеда, я, вместо того чтобы заснуть, сразу же стал разглядывать картинки в одном из этих комиксов и вдруг почувствовал, что одна из частей моего тела, которую мама называла пипиской, стала твердой. Это случилось, когда я смотрел на картинку, изображавшую полуголого индейца. Из одежды на индейце не было ничего, кроме тонкой веревки вокруг пояса, с которой, дабы прикрыть его пипиську, свешивался кусок гладкой ткани, похожий на флаг, с нарисованным в центре кругом.

В следующий раз я почувствовал отвердение этой части тела

через несколько дней, снова после обеда, когда я, одетый в пижаму, лежал под одеялом и разговаривал с игрушечным медведем, который был у меня с тех пор, как я себя помню. Ощущение от отвердения, сути которого я понять не мог, было приятным, но мне не хотелось, чтобы о нем узнали другие. А произошло оно в тот самый момент, когда я сказал медведю: «Я тебя съем!» И всякий раз потом, когда я, схватив медведя (к которому не чувствовал особой привязанности), обращался к нему с этой угрозой, странное это отвердение происходило снова. Слова «я тебя съем» часто встречались в страшных местах сказок, рассказывавшихся мне мамой.

В этих сказках говорилось о страшных великанах — дивах, которые, как я узнал много позже, попали в Стамбул из классической персидской литературы. Эти родичи шайтанов и джиннов, четыре столетия назад изображавшиеся этакими маленькими хвостатыми чертиками, перебравшись в наши сказки, значительно увеличились в размерах. Мое представление о том, как выглядит див, было связано с картинкой на обложке небольшого сокращенного издания «Книги о моем деде Коркуте». [6] Изображенное на ней чудовище, полуголое, подобно индейцу, могучее и немного отталкивающее, выглядело так, словно было властелином всего мира.

Слова «я тебя съем» в маминых сказках означали угрозу убить, проглотить, уничтожить. Как раз в то время мой дядя купил небольшой кинопроектор. По праздникам, в том числе и на Новый год, он брал в магазине фотопринадлежностей напрокат короткометражные мультфильмы Шарло, Уолта Диснея, Лорела и Харди и показывал их на белой стене над камином в присутствии всего семейства (при этом фотографии бабушки и дедушки со стены торжественно снимались). У дяди была и собственная небольшая коллекция мультфильмов. Один из них моим родственникам удалось посмотреть всего два раза — и всё из-за меня. В этом мультфильме тупой и злобный великан размером с дом ловил Микки-Мауса и бросал его в колодец, а потом, одним рывком выдернув колодец из земли, выпивал из него, словно из стакана, всю воду. Когда несчастный мышонок падал великану в рот, маленький Орхан начинал рыдать взахлеб. Меня до сих пор пугает хранящаяся в музее Прадо картина Гойи «Сатурн, пожирающий своих детей» — я воспринимаю ее как изображение великана, схватившего маленького человечка и засовывающего его себе в рот.

Однажды после обеда, когда я снова лежал в кровати и запугивал медведя, испытывая в то же время странную нежность к нему, дверь открылась, и вошел отец. На какое-то мгновение он

увидел меня со спущенными трусами и поднятой пипиской. Закрывал отец дверь тише, чем открывал, однако с некоторым почтением, которое я смог почувствовать даже тогда. Обычно же, когда отец заходил с работы домой пообедать и немного вздремнуть, он, заглядывая в комнату, где я спал, целовал меня, прежде чем снова уйти. У меня появилось чувство, что я сделал что-то нехорошее и, что еще хуже, сделал это для своего удовольствия; и потихоньку во мне стало расти ощущение того, что удовольствие — это и есть что-то плохое.

В другой раз это случилось со мной, когда меня мыла в ванне няня, нанятая после того, как мама ушла из дома в результате одной из бесконечных ссор между родителями. Помню, как няня ругала меня за это очень строгим голосом; при этом удовольствие мне доставляли горячая вода и мытье.

Я боялся и стыдился такого поведения своего тела не только потому, что не мог его контролировать. Хуже было то, что я думал, будто это странное отвердение происходит только со мной одним. Только шесть-семь лет спустя, в школе, когда я начал прислушиваться к разговорам, которые вели мои одноклассники, когда рядом не было девочек («У меня встал», — говорил, например, один мальчик другому), я понял, что эта особенность присуща не мне одному.

Вообразив, что постыдное это отвердение бывает только у меня, я с перепуга решил, что свойственную мне «испорченность» необходимо скрывать от других. Отсюда пошла моя привычка жить в другом, внутреннем мире, куда никто не мог проникнуть. Помимо не так уж часто случающегося отвердения, моя испорченность, как я полагал, заключалась главным образом в склонности к нелепым фантазиям — я воображал, по большей части просто от скуки, что живу не в комнатах дома, похожего на музей, а в каком-то другом месте, и что сам я — кто-то другой. Улизнуть в этот другой мир, спрятанный ото всех в моей голове, было очень просто: стоило, например, только представить себе, что я сижу не в бабушкиной гостиной, а в подводной лодке. Как раз тогда меня впервые сводили в кино — в пропахшем пылью кинотеатре «Сарай»[7] в Бейоглу я посмотрел экранизацию романа Жюля Верна «20000 лье под водой». В этом фильме некоторые сцены происходили в полной и поэтому жутковатой тишине. Погруженные в полутьму, снятые на черно-белую пленку отсеки подводной лодки, за пределы которых в течение всего фильма действие так и не вышло, напомнили мне наш дом. Конечно, многое в фильме осталось мне непонятным, потому что я не мог еще читать субтитры — но разве не таким же образом я «читал» и комиксы брата? Места, которые я не понял, очень легко было

восстановить с помощью воображения. (И сейчас, когда я читаю книги, для меня самое главное не понять, а представить себе то, о чем я читаю.) Миры, которые я создавал своим воображением, были, в отличие от «отвердения», полностью мне подвластны — я мог выбирать, в какой мир попасть, мог изменять его по своему желанию, словно во сне, когда ты осознаешь, что спишь. Силой воображения я в одно мгновение стирал с широкого стола с висевшей над ним большой люстрой все его почти барочные украшения, резьбу и перламутровую инкрустацию, и стол превращался в огромную гору, о которой я «читал» в комиксах; на этой таинственной горе существовал свой особый мир. Все остальные предметы обстановки, находившиеся в комнате, тоже становились горами, а я, превратившись в самолет, летал между ними, набирая скорость.

— Да не болтай ты так ногами, голова кружится! — говорила сидящая рядом бабушка.

Я переставал болтать ногами, но мой воображаемый самолет, нырнув в туман, образовавшийся из дыма бабушкиной сигареты, пропадал в нем; я оказывался в лесу, полном всевозможных растений и животных: зайцев, змей и львов, изображения которых я до этого рассматривал на симметрично развешенных коврах, и пускался в приключения, взятые из комиксов: устраивал пожар, убивал нескольких человек, вскакивал на лошадь, вспоминал, как я рассыпал шарики брата, пока он был в школе… Часть моего сознания продолжала воспринимать звуки, раздающиеся в доме, и по стуку двери лифта я понимал, что швейцар Исмаил поднялся на наш этаж; при этом мои приключения среди полуголых индейцев продолжались полным ходом. Мне нравилось поджигать дома, обстреливать людей, находящихся в пылающем доме, или, если в этом доме находился я сам, обдумывать план спасения с помощью подкопа; нравилось, поймав муху между оконным стеклом и пахнущей сигаретами тюлевой занавеской, давить ее, пока не умрет, а потом, отправляя дохлую муху в дырку панели калорифера, воображать, что это разбойник, которого постигла заслуженная кара. До сорока пяти лет в блаженные моменты между сном и бодрствованием я продолжал мысленно убивать кого-нибудь, потому что знал, что от этого мне станет лучше. Иногда это были родственники, даже очень близкие мне люди, например мой брат, иногда — политики, литераторы или владельцы лавок, а по большей части — выдуманные люди. У всех я прошу прощения. В минуты безверия, пустоты и потери надежды я, человек, который нежно любит кошек, часто издевался над ними, а потом мучался от стыда, и сердце мое переполняла жалость. Двадцать пять лет спустя, во время службы

в армии, когда после обеда вся рота, закурив, начинала болтать о том, о сем, я, бывало, представлял себе, что у всех этих рассевшихся по стульям семи с половиной сотен солдат, издалека так похожих друг на друга, оторваны головы, и их окровавленные пищеводы тихонько покачиваются в прозрачно-голубом от сладковатого сигаретного дыма пространстве большой столовой… И тут кто-нибудь из моих сослуживцев говорил мне: «Не болтай ногами, браток, утомил уже!»

Этот другой мир, так же как и «отвердение», был моей тайной; если его скрывать, думал я, у меня не будет неприятностей. Догадывался о его существовании, похоже, только отец.

Когда я упоминал о том, как в минуту гнева, увлекшись, оторвал своему медведю единственный глаз, или о том, как, вытащив немного соломы через дырку у него в животе, заставил его похудеть; или снова сломав (уж очень он мне нравился!) в третий раз купленного мне игрушечного футболиста размером с палец, который бил ногой по воображаемому мячу, если нажимали на кнопку в его голове, прятал его, а потом представлял, как он лежит, раненый, и борется за свою жизнь; или когда я боязливо думал о ворах, которые, по словам нашей служанки Эсмы, ходили по крыше соседнего дома (говорила она об этом с такой же уверенностью, с какой рассказывала и об Аллахе), — отец, бывало, вдруг говорил мне: «Скажи-ка, что за мысли у тебя в голове, я тебе двадцать пять курушей дам».

Я молчал, не зная, как быть: рассказать, о чем я думаю, или рассказать, но немного по-другому, или соврать, — тогда он, улыбнувшись, говорил: «Прошло уже, а то бы сразу сказал».

Может быть, отец сам жил в «другом мире»? Насколько я был прав, полагая, что эта странная особенность, которая, как я узнал много позже, давно уже известна как склонность к фантазированию, — свойственна мне одному? Я избегал задавать себе этот вопрос — не только потому, что чувствовал беспокойство в словах отца, но и потому, что обладал способностью по своему желанию забывать о том, что меня беспокоило.

Помимо того что я считал способность фантазировать странностью, присущей исключительно мне, была еще одна причина, по которой я утаивал свои фантазии, — вернуться из моего «другого мира» было очень просто. Я мог сидеть рядом с бабушкой и глядеть на яркий солнечный свет, бьющий сквозь щелку в занавесках, словно прожектора судов, проходящих по ночам через Босфор, и, когда я зажмуривал глаза, моему взгляду тут же являлась вереница красных космических кораблей. Точно

так же я мог представить себе что угодно, а потом, покинув мир воображения, словно человек, выходящий из комнаты и выключающий свет (в детстве я очень часто слышал фразу «Погаси свет!»), мог спокойно вернуться к обычной жизни.

Какая разница между человеком, которому нравится воображать, что он Наполеон, и человеком, полагающим, что он Наполеон на самом деле? Первый — счастливый фантазер, а второй — несчастный шизофреник. Я очень хорошо понимаю шизофреников, которые не могут не жить в мире своих грез, прячась за маской какой-то другой личности, но при этом жалею их и втайне чувствую свое превосходство над ними — ведь они заперты в своем мире, как в тюрьме, и не могут вернуться в счастливый и надежный «настоящий» мир. Когда я был маленьким, мне было скучно в украшенных коврами (терпеть не могу ковры) гостиных и коридорах дома, похожего на музей, в обществе увлеченных математикой и кроссвордами позитивистов. В нашем темном и печальном доме не хватало (позже мои родственники это отрицали) душевности, любви, живописи и литературы (сказок), зато было слишком много вещей. Я укрывался в своем мире, думал о другом Орхане, живущем в другом доме где-то в Стамбуле, и представлял, что меняюсь с ним местами, именно поэтому, а не из-за того, что был несчастен.

Напротив — в детстве, особенно в течение двух последних лет перед школой, я чувствовал себя очень счастливым. С усмешкой признаюсь, что только в семье, а не среди сверстников, я был благоразумным и послушным мальчиком. Все находили меня «прелестным» и «очень милым» ребенком, все хотели расцеловать и приласкать. Продавец фруктов вручал мне яблоко («Немытое не ешь», — тут же говорила мама), хозяин кофейной лавки угощал сушеным инжиром («Съешь после обеда», — говорила мама, одаривая лавочника аристократической улыбкой), случайно встреченная на улице родственница дарила конфету («Скажи спасибо», говорила мама). Все это наряду с поцелуями, похвалой и ласковыми словами утверждало меня в убеждении, что мир, существующий в моей голове — пугающий, странный, неподобающий, нужно хранить в тайне.

Огорчения, которые я испытывал в детстве, были связаны с моим ростом — я не мог выглянуть из окна на улицу, мне не было видно даже домов, стоящих напротив, только небо; когда я заходил с мамой в мясную лавку напротив полицейского участка (в лавке стоял неприятный запах, о котором я через некоторое время забывал, но, выйдя на свежий воздух, снова вспоминал), не мог увидеть, как мясник огромным ножом длиной с мою ногу разделывает мясо на деревянном прилавке; я не мог заглянуть в

ящик мороженщика, не мог увидеть, что лежит на столах и прилавках, не мог дотянуться до кнопок лифта и дверных звонков. Если на улице происходило небольшое дорожное происшествие или мимо проезжала кавалькада конной полиции, передо мной все время оказывался какой-нибудь взрослый, и я пропускал половину события. Как только во время футбольного матча (отец стал брать нас с собой на стадион в очень раннем возрасте) возникала опасная ситуация, все зрители, сидящие впереди, разом вскакивали с мест, и я не мог увидеть, как забивают гол. Впрочем, я не огорчался из-за этого так, как брат, потому что во время футбола мое внимание было сосредоточено не на мяче, а на лепешках с сыром, бутербродах с брынзой и завернутых в позолоченную бумагу шоколадках, покупавшихся нам отцом. Больше всего я ненавидел, когда после матча мы попадали в толпу людей, которые, толкаясь, продвигались к выходу со стадиона. Когда я оказывался зажатым между их ногами так, что еле мог вздохнуть, весь мир представлялся мне темным и душным лесом из мужских ног, облаченных в мятые брюки и грязные ботинки. Вообще нельзя сказать, чтобы я сильно любил взрослых — кроме красивых, как моя мама, женщин. Взрослые были некрасивыми, волосатыми и грубыми, слишком неуклюжими и неповоротливыми, чересчур трезвомыслящими. Когда-то они знали, что внутри нашего мира существует другой, тайный мир, но с тех пор потеряли способность удивляться и мечтать. Мне нравилось, что они находят меня милым и то и дело говорят, до чего же я прелестный ребенок, нравилось, что при виде меня они расплываются в улыбке и балуют меня подарками; но вот постоянные поцелуи меня раздражали. Исходящий от них запах табачного дыма или духов бил в нос, щетина и усы кололи кожу. Мне не нравилось, что у мужчин растут волосы на внешней стороне пальцев, в носу и в ушах, я думал, что они, по сравнению с женщинами, более низменные и вульгарные создания. Рассказ обо всех этих огорчениях выводит наше повествование за пределы дома, на улицы Стамбула.

4
Печаль разрушающихся особняков: улицы

Дом семейства Памуков находился в районе Нишанташи, на краю обширного земельного участка, на котором некогда располагался сад, прилегающий к особняку одного высокопоставленного паши. Эта местность получила свое название благодаря камням, установленным на этих холмах в конце XVIII — начале XIX века, во время правления Селима III и Махмуда II — султанов-реформаторов, сторонников европеизации. Камни служили для обозначения места, где устанавливались пустые кувшины, по которым султаны развлечения ради стреляли из луков, а иногда и из пушек; на камнях были выбиты несколько стихотворных строчек, объясняющих, зачем они здесь стоят. Когда султаны, возжелав европейского комфорта и вообще перемен в духе европеизации, а также опасаясь чахотки, перебрались из дворца Топкапы в построенные по их повелению дворцы Долмабахче и Йылдыз, на расположенном неподалеку холме Нишанташи стали строиться большие деревянные особняки министров, великих визирей и родственников султана. Лицей Ышык, где я закончил начальную школу, находился в особняке принца Юсуфа Иззеддин-паши, потом я ходил в школу Шишли Теракки, расположенную в здании, некогда принадлежавшем главному визирю Халилю Рифат-паше. Пока я там учился, пока играл в футбол на школьных дворах, оба этих особняка были уничтожены пожаром. Здание напротив нашего дома было построено на развалинах особняка вельможи Фаик-бея. Единственным старым особняком в нашей округе, находившимся в хорошем состоянии, было построенное в конце XIX века каменное здание, которое в свое время служило резиденцией великих визирей; когда Османская империя рухнула, а столица была перенесена в Анкару, оно перешло в распоряжение губернаторов Стамбула. Чтобы сделать прививку от оспы, я ходил в особняк, принадлежавший когда-то еще одному паше османских времен — теперь здесь была районная администрация. Здание, принадлежавшее министерству иностранных дел — в нем принимали западных гостей Османской империи, дома дочерей султана Абдул-Хамида, обугленные руины особняков, поросшие папоротником и инжиром: кирпичные стены, разбитые стекла, покосившиеся ступеньки —

зрелище, которое до сих пор наводит на меня глубокую тоску и вызывает в памяти воспоминания о детстве, — все эти следы прошлого в те годы еще не были уничтожены наступлением многоквартирных домов.

Задние окна нашего дома выходили в сад, расположенный на проспекте Тешвикийе. Там, среди кипарисов и лип, стоял полуразрушенный особняк, построенный для Хайреттин-паши, выходца из Туниса, который во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов в течение недолгого времени был великим визирем. В 30-е годы XIX века, за десять лет до того, как Флобер написал: «Поскольку я поселился в Стамбуле, я хочу купить себе раба», будущий паша, черкес по национальности, родившийся на Кавказе, был ребенком продан в рабство, попал в Стамбул, затем в Тунис, провел свою юность во Франции, усвоил арабский язык и арабскую культуру. Потом его отдали в армию, где он быстро продвинулся по службе. Он побывал на самых высоких должностях: был военачальником, губернатором, дипломатом, финансистом. В конце жизни он поселился в Париже. Когда ему исполнилось шестьдесят лет, султан Абдул-Хамид, по совету шейха Зафири, тоже выходца из Туниса, вызвал его в Стамбул. Некоторое время Хайреттин-паша заведовал финансами империи, а затем был назначен великим визирем, став одним из первых в Турции (и вообще в бедных странах) высокопоставленным финансистом и управленцем, вызванным из западной страны в надежде на то, что он проведет реформы и спасет родину, увязшую в долгах. На пашу, как и на более поздних его последователей, возлагались большие надежды, связанные с тем, что он по складу ума был уже не столько османом или турком, сколько европейцем; по этим же причинам — то есть потому, что он не был в достаточной степени турком и не знал местной специфики — на посту своем он пробыл недолго. Говорили, что Хайреттин-паша, возвращаясь в карете с совещаний во дворце, записывает свои мысли по-арабски, а потом писец-француз переписывает эти записи по-французски. Его противники написали донос султану, в котором пересказали слухи о том, что паша не знает турецкого языка, и сообщили, что тайной целью паши является создание арабского государства. Султан Абдул-Хамид очень серьезно воспринимал даже те доносы, в которых, как он чувствовал, доля истины была весьма мала, и Хайреттин-паша был отстранен от должности. Вернуться в любимую Францию впавший в немилость главный визирь не мог, и остаток своей жизни он провел в печали, почти под домашним арестом. Зимой он жил в особняке, в саду которого позже был построен наш дом, а летом — на вилле на берегу Босфора, в районе

Куручешме. На досуге он писал доклады султану и воспоминания на французском языке, которые были опубликованы на турецком лишь восемьдесят лет спустя. Воспоминания эти, показывающие, что чувство долга у паши было развито значительно сильнее, чем чувство юмора, он посвятил своим сыновьям. Через двадцать лет после того, как один из этих сыновей, замешанный в заговоре против Махмуда Шевкет-паши,[8] был казнен, особняк, задолго до того, впрочем, купленный Абдул-Хамидом, был подарен одной из его дочерей, Шадийе-султан.

Об этих погорелых и разрушенных особняках (они были связаны в нашем сознании с историями о принцах, сошедших с ума, о придворных, курящих опиум, о детях, запертых на чердаке, о дочерях султана, изменивших мужьям, об отправленных в ссылку или убитых пашах), напоминающих об упадке и падении Османской империи, у нас дома не говорили. Наша семья переехала в Нишанташи в 1930-е годы, когда с установлением республики все эти паши, принцы и сановники османских времен канули в прошлое, а их особняки, эти маленькие дворцы, оставшись без присмотра, начали пустеть, гореть и разрушаться.

И в то же время печаль этой погибшей культуры и канувшей в небытие империи чувствовалась везде. Стремление к европеизации, представляется мне, происходило в большей степени не от желания идти в ногу со временем, а от желания поскорее избавиться от оставшихся со времен империи вещей, навевающих грусть и пропитанных горькой памятью. Так после внезапной смерти любимой спешат выбросить ее платья, подарки, вещи и фотографии, чтобы спастись от невыносимых воспоминаний. Построить на месте развалин что-то новое, сильное и могучее, некий модернизированный мир, по западному образцу или нет, не получалось, так что все эти усилия помогали главным образом забыть прошлое. Результатом этого стало разрушение особняков, упрощение и оскудение культурной жизни, превращение домов в музеи неусвоенной, чужой культуры. Осознание того, насколько все это странно и печально, стало медленно проникать в мою душу позже, а в детстве я ощущал это как скуку и грусть. Чувство печали, проникшее в город и никак его не покидающее, давало о себе знать, например, когда я слушал музыку в турецком стиле (бабушка, сама этого не замечая, отбивала такт носком тапочка), — тогда я чувствовал, что, если не хочу погрузиться в болото смертельной скуки, мне пора уходить в мир воображения.

Другой способ избежать грусти и скуки — пойти с мамой на улицу. В то время не было обычая водить детей в парки и сады, чтобы они подышали свежим воздухом, поэтому дни, когда меня

брали на улицу, были особенными. «А я завтра пойду на улицу!» — с гордостью говорил я сыну моей тети, который был младше меня на три года. Мы спускались по округлой лестнице, потом останавливались перед маленькими окошками квартиры швейцара, большая часть которой находилась ниже уровня земли (окошки выходили на дверь, чтобы можно было видеть, кто входит в дом и выходит из него) — здесь мама в последний раз проверяла, в порядке ли моя одежда и все ли пуговицы застегнуты — и, наконец, выходили на улицу. «Улица!» — шептал я восхищенно.

Солнце, чистый воздух, тепло. Дома у нас иногда бывало так темно, что когда я выходил на улицу, мои глаза на мгновение слепли, как бывает, когда летним днем раздернешь шторы. Сначала мне очень нравилось идти с мамой за руку по тротуарам и разглядывать витрины. За запотевшими стеклами цветочной лавки красовались цикламены, похожие на разноцветных длинноносых волков; в витрине обувного магазина в воздухе висели ботинки, и я старался рассмотреть лески, на которых они были подвешены; в витрине лавки канцелярских принадлежностей был выставлен учебник, точь-в-точь такой, как у моего брата, — знак того, что жизнь других людей похожа на жизнь обитателей нашего дома (это было первое, что я уяснил, гуляя по улицам). Рядом с мечетью Тешвикийе, где хоронили всех тех, кто умирал в нашем районе, находилась школа, в которую ходил мой брат и в которую через год должен был пойти и я. Дома брат часто с восторгом говорил о «своем учителе», и я поэтому считал, что у каждого ученика в школе есть свой персональный учитель, подобно тому как у каждого ребенка есть своя няня. Когда на следующий год я пошел в школу и увидел, что на битком набитый класс из тридцати двух человек приходится один учитель, то был этим разочарован и огорчен — как и тем, что нахожусь вдалеке от домашнего уюта и от мамы и чувствую себя песчинкой среди такого количества людей. Иногда мы заходили в лавку крахмальщика, где крахмалили папины рубашки; здесь пахло паром, как в цветочной лавке. Когда мама заходила в «Ишбанкасы»,[9] я, не объясняя причины, никогда не поднимался с ней по шести деревянным ступенькам к окошечку кассы — дело в том, что я вообразил себе, что, поднимаясь по этим ступенькам, непременно упаду в один из промежутков между ними и навеки там потеряюсь. «Почему ты сюда не идешь?» — вопрошала мама сверху, стоя в очереди к кассе. Я не отвечал; в страхе, что не смогу объяснить причину своего поведения и оно покажется странным, я начинал воображать себя кем-то другим (при этом время от времени проверяя, на месте ли

мама), представлял, что нахожусь не в банке, а во дворце или на дне колодца… Если мы направлялись в сторону района Османбей или Харбийе, в моих фантазиях появлялся летящий конь с рекламы бензоколонок «Мобил», которая занимала целый торец здания на углу. В моем воображении кружились пасти и ноздри коней, волков и других страшных созданий, и я думал о том, как падаю в одно из тех отверстий и исчезаю там. На пути нам встречалась лавка одной старой гречанки — она штопала нейлоновые чулки и торговала пуговицами и ремнями; еще она продавала яйца «из деревни», которые, словно драгоценности, по одному доставала из лакированной шкатулки с таким видом, как будто это было нечто очень редкое. В лавке стоял маленький аквариум, в котором медленно покачивались красные рыбки; когда я дотрагивался до стекла пальцем, они, желая его съесть, решительно разевали свои маленькие, но все-таки страшные рты — это было глупо и забавно. Дальше мы заходили в лавку, которую держали Якуп и Василь. В этой лавке продавались журналы, канцелярские принадлежности и табак, но она была такая маленькая, что часто мы не могли в нее попасть — такая там была толкучка. Следующая лавка, в которой продавался кофе, была известна как «Лавка араба», — ее владелец был негром, а тех немногих негров, которые жили в Стамбуле, все называли арабами, подобно тому как некогда в Латинской Америке всех арабов называли турками. Там стояла огромная, оборудованная движущимися ремнями машина для измельчения кофейных зерен. Когда она начинала работать, сотрясаясь, как стиральная машинка, которая стояла у нас дома, я отходил от нее немного в сторону, а «араб», заметив мой страх, добродушно улыбался. В последующие годы со сменой моды и колебаниями спроса эти лавки закрывались, в их помещениях открывались другие лавки, которые, в свою очередь, тоже закрывались. Тоскуя о прошлом, мы с братом, упражняя память, перебрали всю их сорокалетнюю историю. Один из нас, например, говорил: «Лавка напротив женского вечернего лицея была сначала кондитерской, которую содержала гречанка, потом там продавали цветы, потом — сумки, потом — часы, потом там некоторое время был спортивный тотализатор, потом она стала картинной галереей, где еще торговали книгами, и, наконец, она стала аптекой».

А вот лавка Алааддина, напоминающая своим полумраком пещеру, пятьдесят лет подряд продолжала торговать табачными изделиями, игрушками, газетами и канцелярскими принадлежностями. Еще перед тем как войти в нее, я задумывал, что попрошу маму купить: свисток, или несколько шариков, или книжку-раскраску, или игрушку йо-йо. Как только покупка

исчезала в маминой сумке, мне все сильнее хотелось вернуться домой.

«Пройдемся до парка», — говорила мама.

Тут внезапно мои ноги и все туловище охватывали странная тяжесть и апатия, переползающая из тела в душу. Многие годы спустя, когда я сам выводил свою дочь, которой было столько же лет, сколько мне тогда, на прогулку по этим самым улицам, я слышал от нее такие же жалобы. Поговорив с доктором, я попытался убедить себя, что эта наследственная усталость и скука — нечто среднее между болезнью роста, сказывающейся на ногах, и обычным утомлением. По мере того как усталость и скука все сильнее обволакивали мою душу, все улицы и витрины, на которые мне уже не хотелось смотреть, потихоньку теряли свои краски, и город становился для меня черно-белым.

«Мама, возьми меня на ручки».

«Дойдем до Мачки, — говорила мама, — а там сядем на трамвай».

Я любил этот трамвай, ходивший по нашей улице с 1914 года и соединявший районы Мачка и Нишанташи с площадью Таксим, Тюнелем, Галатским мостом, с бедными и обветшалыми историческими районами Стамбула, которые тогда представлялись мне какой-то другой страной. Любил его звук-стон, похожий на печальную музыку, доносившийся до меня по вечерам, когда я рано ложился спать; салон, отделанный деревом; стекло цвета индиго в закрытой дверце, отделяющей кабину водителя от мест пассажиров; водителя, который на конечной остановке, пока мы с мамой ожидали отправления, разрешал мне поиграть с рукоятками рычагов… На обратном пути улицы, дома и даже деревья казались мне черно-белыми.

5
Черно-белое

Стамбул моего детства — черно-белый, как старые фотографии, погруженный в полутьму, свинцово-серый город. Таким он был для меня и таким остался в моей памяти — отчасти потому, что я, хотя и рос в печальном музейном полумраке, был привязан к нашему дому. Улицы, проспекты, отдаленные районы казались мне полными опасностей, как в черно-белых фильмах про гангстеров. Я всегда больше любил зимний Стамбул, чем летний, — мне нравятся рано опускающиеся вечерние сумерки, нравится смотреть на дрожащие под порывами северо-восточного ветра голые ветви деревьев и на людей в черных пальто и куртках, спешащих домой по полутемным улицам, в дни, когда осень переходит в зиму. Вид некрашеных, неухоженных стен домов и ветшающих особняков, которые со временем приобретают особый, стамбульский, цвет, ласкает мой взгляд и пробуждает во мне сладостную грусть. Когда я смотрю на черно-белые фигуры людей, торопящихся домой в рано сгустившейся темноте зимнего вечера, то чувствую себя частью этого города, чувствую, что я не чужой этим людям. Мне кажется, что вот сейчас ночная тьма скроет бедность жизни, улиц и вещей и все мы, укрывшиеся в своих домах, отдыхающие в своих постелях, окунемся в мир грез и фантазий, сотканных из легенд и воспоминаний о канувших в небытие величественных зданиях и оставшемся в далеком прошлом богатстве Стамбула. И за то еще люблю я эту поэтическую темноту холодных зимних вечеров, опускающуюся, не боясь тусклых фонарей, на безлюдные окраины, что она укрывает нас от чужих западных глаз, скрадывает бедность нашего города, которой мы стыдимся.

Порой я вспоминаю одну сделанную Арой Гюлером[10] фотографию, замечательно передающую атмосферу вечерних черно-белых сумерек, которая и делает для меня Стамбул Стамбулом. На фотографии — пустынная улица на окраине города, ничего не освещающий тусклый фонарный свет, бетонные и деревянные дома, такие, какими они были в годы моего детства (позже деревянные дома постепенно разрушались, и на их месте появлялись бетонные, которые для меня были как бы их продолжением, будили во мне те же чувства). Кроме брусчатки, оставшейся с тех лет, когда я был ребенком, железных решеток на окнах, пустых и обветшавших деревянных домов, мне в этой фотографии нравится ощущение сгущающихся сумерек и эти

двое, идущие домой: за ними тянутся тени, и они словно ведут с собою в город ночь.

В 1950 — 60-е годы в любом уголке Стамбула можно было встретить небольшие съемочные группы: микроавтобус; два огромных софита, работающих от генератора; чрезмерно накрашенная актриса и ее партнер, вечно забывающие свои реплики; суфлер, не шепчущий, а орущий изо всех сил, чтобы перекричать гул генератора; киноработники, пинками и оплеухами разгоняющие ребятню из зоны съемки; и созерцающая все это толпа любопытных, среди которых часами мог стоять и я. Через сорок лет, когда турецкая киноиндустрия пришла в упадок — в первую очередь из-за бездарности сценаристов, актеров и продюсеров, отчасти же из-за недостатка средств для соперничества с Голливудом, — эти черно-белые фильмы впервые стали показывать по телевидению. Когда я вижу запечатленные в них уличные сценки, старые сады, берега Босфора, ветхие особняки и многоквартирные дома, такие же черно-белые, какими сохранились они в моей памяти, мною порой овладевает ощущение, что не фильм я смотрю, а вижу свои ожившие воспоминания. И тогда на какое-то время я с головой погружаюсь в меланхолию.

Неотъемлемой частью этого черно-белого Стамбула была уличная брусчатка, на которую я не могу смотреть без волнения каждый раз, когда замечаю ее в старых фильмах. Когда мне было пятнадцать-шестнадцать лет и в мечтах я видел себя художником-импрессионистом, рисующим стамбульские улицы, мучительный процесс вырисовывания брусчатки — камень за камнем — доставлял мне удовольствие. До того как по воле усердных местных властей мощенные брусчаткой улицы были безжалостно покрыты слоем асфальта, водители долмушей[11] и такси постоянно жаловались, что от езды по брусчатке машины очень быстро изнашиваются. И на другую напасть сетовали шоферы долмушей своим пассажирам — при ремонте канализации или электрических кабелей посреди улиц то и дело рыли траншеи. Мне очень нравилось наблюдать за тем, как перед рытьем траншеи рабочие по одному вытаскивают камни из мостовой, а еще больше — за тем, как после окончания казавшихся бесконечными раскопок (иногда траншея натыкалась на какой-нибудь туннель византийских времен) они с непостижимой для меня ловкостью, словно расстилая ковер, укладывают камни на место.

Стамбул был для меня черно-белым еще и потому, что особняки времен моего детства, в сущности, нельзя было назвать особняками — это были просто большие полуразрушенные дома.

Из-за бедности и по небрежению их совсем не красили, и от холода, сырости, грязи и возраста они потихоньку темнели, приобретая свой особенный цвет, тоскливый, но при этом пугающе красивый. В детстве я видел на окраинах целые ряды таких домов, стоящих бок о бок, и думал поэтому, что они изначально были такого цвета. Возможно, некоторым из них, стоящим на самых бедных улицах, этот серый, местами с коричневым отливом, окрас и был присущ с самого начала. Однако в записках путешественников, приезжавших в Стамбул из Европы в XIX веке и ранее, говорится о том, что яркие цвета, в которые были окрашены дома, особенно те из них, которые принадлежали людям богатым, придавали городу блеск и пышную красоту. Бывало, я в детстве представлял себе, что было бы, если бы все деревянные дома разом покрасили; но потом, когда эти старые почерневшие стены и порождаемая ими особая атмосфера исчезли из города и из моей жизни, я стал сильно по ним скучать. Летом деревянные дома приобретали темно-коричневый или матово-белый цвет и становились такими до хруста сухими и хрупкими, что, казалось, одной искры хватит, чтобы они вспыхнули, как сосновая щепка; зимой же, после длительных холодов, снега и дождей, они начинали источать совершенно особый запах сырости, плесени и досок. Точно так же манили меня к себе и будили во мне то же смешанное чувство страха и любопытства опустевшие деревянные здания дервишеских обителей (принятые после установления республики законы запрещали совершать в них религиозные обряды), в которые в течение многих лет проникали только малолетние сорвиголовы, привидения и охотники за антиквариатом. Жадно и настороженно вглядывался я в эти дома с разбитыми окнами, виднеющиеся за полуразрушенными оградами и мокрыми деревьями.

Мне нравятся нарисованные черной тушью изображения Стамбула, сделанные путешественниками с Запада, например, Ле Корбюзье, — они так соответствуют моему черно-белому видению города; нравятся и нарисованные от руки черно-белые комиксы, действие которых происходит в Стамбуле. (В детстве я долгие годы надеялся, что Эрже нарисует приключения Тантана[12] в Стамбуле, но этого так и не случилось. Однако первый фильм о Тантане (успехом он не пользовался) был снят в Стамбуле в 1962 году. Существует комикс «Тантан в Стамбуле», скомпонованный местным умельцем из зарисованных кадров того фильма и рисунков, взятых из других историй про Тантана.) Еще я люблю старые черно-белые газеты. Когда я читаю в них сообщения об убийствах, самоубийствах и грабежах, во мне просыпаются

забытый детский страх и тоска по прошлому.

Черно-белая атмосфера Стамбула, о которой я пытаюсь рассказать, всё еще живет на улочках Тепебаши, Джихангира, Галаты, Фатиха, Зейрека, Ускюдара[13] и некоторых босфорских деревень. Когда в хмурые, туманные утренние часы или в дождливые и ветреные ночи я вижу стаи чаек, сидящих на куполах мечетей, грязный воздух, печные трубы, высовывающиеся из окон, подобно пушечным стволам, извергающим грязный дым, ржавые мусорные баки, пустынные и заброшенные зимние парки и сады, когда я смотрю на людей, зимними вечерами спешащих по снегу и слякоти к себе домой, — во мне рождается черно-белое, горько-радостное чувство. Встречающиеся тут и там разбитые источники, в которых уже несколько веков не журчит вода; разношерстные лавки, сами собой возникающие на окраинах вокруг старых больших мечетей, на которые никто уже не обращает внимания; стайки школьниц в черных фартуках и белых воротничках, высыпающие вдруг из дверей начальной школы; груженные углем усталые старые грузовики; потемневшие от старости, пыли и пустоты помещения бакалейных лавочек; маленькие кофейни, в которых сидят грустные безработные; горбатые, покосившиеся тротуары; кипарисы, которые кажутся мне не темно-зелеными, а черными; расползшиеся по склонам холмов старые кладбища; полуразрушенные городские стены, похожие на мощенные брусчаткой улицы, поставленные набок; фасады кинотеатров, со временем становящиеся какими-то неуловимо одинаковыми; магазинчики, в которых торгуют мухаллеби;[14] продавцы газет, стоящие на тротуарах; пьяницы, бродящие в полночь по улицам; тусклые уличные фонари; пароходы городских линий, ходящие по Босфору; дым, поднимающийся из труб, и укрывающий город снег — вот он, мой черно-белый Стамбул.

Я не могу представить Стамбул моего детства без снега. С тем же нетерпением, с каким некоторые дети ждут не дождутся летних каникул, чтобы куда-нибудь поехать, я в детстве ждал, когда же выпадет снег, — не потому, что хотел играть на улице в снежки, а потому, что город, укрытый снегом, казался мне более «красивым». Однако надо сказать, что эта красота, скрывающая грязь, слякоть, щели и неухоженность, порождала в городе не столько ощущение неожиданной новизны, сколько атмосферу тревоги и даже стихийного бедствия. Снег, который за зиму шел всего несколько раз и оставался лежать чуть дольше недели, каждый раз заставал стамбульцев врасплох, словно они впервые в жизни сталкивались с таким явлением. На дорогах возникали заторы, у хлебных лавок тут же выстраивались очереди, словно в

дни войны или стихийных бедствий; но главное — снег заставлял всех горожан испытывать чувство общности. Город и его обитатели, оторванные от остального мира, оставались один на один с самими собой, и поэтому в снежные зимние дни Стамбул становился более пустынным и, как мне казалось, похожим на тот город, каким он был когда-то, в сказочные дни своего прошлого.

Одним из объединяющих город удивительных природных явлений, воспоминания о которых остались у меня с детства, было появление в Босфоре льдин. Их принесло течением из Черного моря, куда они, в свою очередь, попали из Дуная. Поскольку Стамбул все-таки средиземноморский город, это пугающее своей необычностью, удивительное и незабываемое событие вызвало у горожан детский восторг; о нем вспоминали и рассказывали на протяжении многих лет.

Одна из причин черно-белого восприятия, конечно, заключается в том, что Стамбул, красивый город с удивительной историей, обнищал, состарился и поблек, впал в небрежение и оказался отодвинутым на обочину жизни. Другая же причина — в том, что даже во времена самого пышного расцвета Османской империи ее архитектуре были свойственны простота и строгость. Печаль, оставшаяся после падения огромной империи, и ощущение того, что по сравнению с жителями Европы, которая географически расположена не так уж и далеко, стамбульцы приговорены к вечной бедности, похожей на неизлечимую болезнь, питают дух замкнутости Стамбула.

Благодаря черно-белой атмосфере, объединившей стамбульцев единой судьбой и поэтому неистребимой, отчетливее ощущается, насколько печален этот город. Чтобы лучше понять эту атмосферу, нужно прилететь в Стамбул на самолете из какой-нибудь богатой европейской столицы и сразу отправиться на людные улицы или зимним днем выйти на Галатский мост в самом сердце города и увидеть идущих по нему людей, облаченных в одежды неопределенного тускло-серого цвета. Современные стамбульцы, в противоположность нашим богатым и надменным предкам, очень редко одеваются ярко — красного, оранжевого или зеленого цвета здесь не увидишь. При взгляде на них иностранцу кажется, что эти люди в силу неких тайных моральных принципов стремятся не привлекать внимания к своему внешнему виду. Но дело тут не в моральных принципах, а в тяжелой печали, порождающей скромность. Ощущение поражения и утраты, постепенно проникавшее в город на протяжении последних полутора веков, оставило отпечаток бедности и обветшания на всем — от черно-белых пейзажей Стамбула до одежд его обитателей.

Все западные путешественники, приезжавшие в Стамбул в XIX веке — от Ламартина[15] и Нерваля[16] до Марка Твена, — в своих путевых заметках писали о том впечатлении, которое произвели на них бродящие по городским улицам собачьи стаи, привносящие некоторую напряженность и в мое черно-белое восприятие Стамбула. Они до сих пор свободно, никого не боясь, бродят по городу, эти стаи, состоящие из похожих друг на друга собак неопределенного цвета — пепельно-серых, выцветших или пестрых; они служат напоминанием о том, что, несмотря на все усилия европеизации и модернизации, военные перевороты, государственную и школьную дисциплину, несмотря на устройство муниципалитетов по западному образцу и на все красноречие их руководителей, в Стамбуле могущество государственной власти отступает перед всеобщим ощущением тщетности, заброшенности и сожаления.

Укрепляет черно-белое восприятие и то, что жители оставшегося в прошлом Стамбула победных красочных времен не могли нарисовать свой город таким, каким он был на самом деле. В Османской империи не существовало изобразительного искусства, которое мы сегодня могли бы с легкостью воспринимать. Нигде вы не найдете ни одной статьи или книги, которая могла бы подготовить вас к восприятию османского или классического персидского рисунка. Художники османских времен (самый яркий пример — Насух Матракчи[17]), находясь под влиянием персидского искусства миниатюры, видели Стамбул не объемным, а плоским, как карта. (Так и для придворных поэтов, воспевавших и прославлявших Стамбул, он был не реальным городом, а всего лишь словом.) Как и поэтов, пишущих сурнаме,[18] художников интересовали слуги и ремесленники султана, богато украшенное оружие и одежды, поэтому город они изображали не как место, где идет повседневная будничная жизнь, а как сцену, на которой совершаются официальные церемонии, как если бы на всем протяжении какого-нибудь фильма камера была неподвижно нацелена в один угол, где происходят важные события.

Таким образом, когда в газете, журнале или в школьном учебнике нужно было поместить изображение Стамбула в прошлом, издатели использовали черно-белые гравюры, сделанные с рисунков европейских путешественников и художников, — их легче воспринимали миллионы читателей, привыкших к фотографиям и почтовым открыткам. Стамбул самых радостных своих времен был нарисован неяркой гуашью (подробнее я расскажу об этом в главе, посвященной Меллингу), но стамбульцы не увидели и этих красок. По чисто техническим

причинам, с которыми они, не протестуя, смирились как с неизбежностью, стамбульцы вынуждены видеть прошлое своего города исключительно черно-белым. И этот взгляд как нельзя лучше соответствует печали, в которой они живут.

В годы моего детства ночам была присуща особая красота — их поэтическая тьма, в точности как снег, укрывала суматоху и усталость обедневшего города. Когда я был маленьким, высоких зданий в городе еще было мало, и ночь поэтому ложилась на Стамбул не грубо и плоско — нет, она изящно обвивала его прихотливые изгибы и холмы, дома, ветви деревьев, летние кинотеатры, балконы и оставленные открытыми окна. Гравюра, сделанная в 1839 году Томасом Алломом для книги о путешествиях, нравится мне потому, что темнота на ней становится фоном таинственной сказки. Я люблю полнолуние, спасающее ночь от непроглядной тьмы, люблю лунный свет, который так много значит для всякого стамбульца, — но еще больше люблю, когда этот свет неярок, когда на небе полумесяц или, как на этой гравюре, на лик луны наползает облако, словно прикручивают фитилек лампы перед тем, как совершить преступление. При таком свете становится понятнее пагубность таинственной силы темноты.

Ночь, именно потому, что она делает город похожим на сон, на сказку, потому, что она — источник таинственного зла, усиливает черно-белую атмосферу Стамбула. Взгляд путешественника-европейца на ночную темноту как на таинственный покров, укрывающий этот загадочный город, способствующий совершению новых неприглядных деяний, похож на взгляд стамбульца, не понимающего сути плетущихся во дворцах интриг и заговоров. И иностранные путешественники, и сами стамбульцы очень любили истории об убитых злоумышленниках или женщинах из гарема, тела которых выносили из двери в дворцовой стене, выходящей на Золотой Рог, и на лодке отвозили в море.

В 1958 году, еще до того, как я научился читать и писать, в Стамбуле было совершено преступление, известное как «Саладжакское убийство», среди обстоятельств которого было то, к чему меня так тянуло: ночь, лодка, воды Босфора… Память о нем не только вплелась в существующий в моем сознании черно-белый образ босфорских вод, но и осталась со мной на всю жизнь страшным видением. Впервые я услышал об этом событии из разговоров у нас дома; о нем говорил весь Стамбул и писали все газеты, пока оно не стало чем-то вроде легенды. Одна женщина попросила молодого бедного рыбака покатать ее вместе с двумя детьми и их подружкой на лодке по морю. Рыбак был пьян; он

захотел изнасиловать женщину и, вышвырнув детей из лодки, утопил их. «Зверь из Саладжака» навел на город такой страх, что нам с братом некоторое время запрещали не только вместе с рыбаками ставить сети рядом с нашим летним домиком на Хейбелиаде, но даже выходить одним в сад, окружающий его. И сейчас, многие годы спустя, когда я читаю в стамбульских газетах сообщения о преступлениях (а занятие это мне очень нравится) в моем воображении возникает черно-белое видение: барахтающиеся в воде дети, пытающиеся ухватиться за борт лодки, крики их матери и рыбак, молотящий веслом по их головам.

6
На Босфоре

После Саладжакского убийства мы с мамой и братом больше не катались на лодке по Босфору. Однако до этого какое-то время мы каждый день совершали лодочные прогулки, поскольку предыдущей зимой и я, и брат перенесли коклюш. Сначала заболел брат, а через десять дней, заразившись от него, слег и я. У болезни была своя приятная сторона: мама стала очень ласковой, часто говорила нежные слова, так нравившиеся мне, приносила игрушки, которые я просил купить. Страдал же я больше не из-за самой болезни, а из-за того, что не мог присутствовать на семейных обедах и ужинах у нас или этажом выше. Я мог только с любопытством прислушиваться к доносящимся издалека застольным разговорам, шуткам и стуку вилок и ножей по тарелкам.

К нам приходил детский врач по имени Альбер, в котором нас пугало все — от усов до чемоданчика. После того как жар у меня и у брата спал, он в качестве лечения посоветовал маме в течение определенного времени ежедневно совершать с нами прогулки по Босфору, чтобы мы могли подышать воздухом. Так в голове у меня слово «Босфор» перепуталось с понятием «подышать воздухом», тем более что по-турецки Босфор называется Богаз.[19] Возможно поэтому я не очень удивился, когда узнал, что сто лет назад Тарабья,[20] которая тогда была не популярным местом прогулок, изобилующим ресторанами и отелями для туристов, а тихой греческой рыбацкой деревушкой (в которой прошли детские годы знаменитого поэта Кавафиса[21]), называлась Терапией. И, быть может, именно потому, что понятия «Босфор» и «лечение» слились в моем сознании, вид Босфора всегда действует на меня благотворно.

Босфор противостоит ощущению поражения, краха, подавленности, печали и бедности, потихоньку разлагающему город. В моем сознании он неразрывно связан с волей к жизни, полнотой чувств и радостью. Босфор — душа Стамбула, в нем город черпает силы. Между тем раньше горожане не очень ценили Босфор — для них он был просто живописным проливом, служащим для прохода судов, а в последние двести лет его побережье стало еще и местом для строительства летних дворцов и особняков.

До поры до времени на берегах Босфора располагались только греческие рыбацкие деревушки; но начиная с XVIII века

здесь начали строить ялы[22] для представителей высших кругов Османской империи, и тогда Гёксу, Кючюксу, Бебек, Кандилли, Румелихисары и Канлыджа[23] стали очагами закрытой для чужеземных влияний стамбульской, османской культуры. Ялы, которые строили для себя османские паши и вельможи, а в последние годы существования империи — и просто богачи, в XX веке, в годы подъема патриотизма, связанного с установлением республики, стали символом турецко-османской самобытности вообще и образцом ее в архитектуре в частности. Архитектор Седад Хаккы Эльдем собрал чертежи этих домов, их старые фотографии и гравюры, сделанные, в числе прочих Меллингом, в книге, которую озаглавил «Воспоминания на Босфоре»; ялы служили ему источником вдохновения, когда он проектировал свои «модернизированные» здания — у них такие же узкие высокие окна, широкие карнизы, тонкие трубы и узкие эркеры. Но и здания Седада Хаккы Эльдема, и творения его подражателей — всего лишь тени той навсегда ушедшей в прошлое культуры.

Автобусный маршрут Таксим — Эмирган в 1950-е годы проходил и через Нишанташи. Отправляясь на Босфор, мы с мамой обычно садились на автобус, который останавливался напротив нашего дома. Иногда ехали на трамвае, который довозил нас до Бебека; оттуда мы долго шли вдоль берега, пока не доходили до того места, на котором нас каждый день ждал лодочник. Мне очень нравилось плыть на лодке по бухте Бебек мимо маяка среди других лодок, катеров, пароходов городских линий и шаланд с облепленными мидиями бортами, нравилось ощущать силу течения Босфора и покачиваться на волнах, поднятых проходящими рядом судами. Мне не хотелось, чтобы прогулка кончалась.

Нам нравятся прогулки по Босфору, потому что мы ощущаем, что здесь, в сердце огромного, древнего и осиротевшего города, живет свобода и сила глубокого, могучего и своенравного моря. Человек, быстро плывущий на пароходе по неспокойным водам Босфора, чувствует, что грязь и дым перенаселенного города остались на берегу, чувствует, как он наполняется силой моря, и понимает, что и здесь, в людском муравейнике, можно оставаться одиноким, свободным. Это водное пространство в центре города не похоже ни на амстердамские или венецианские каналы, ни на реки, делящие пополам Париж и Рим, — нет, здесь движутся морские течения, дуют вольные ветра и волны вздымаются над темными глубинами. Вы плывете, подхваченные течением, лавируя между пароходами городских линий, мимо тетушек, которые, поглядывая на вас, пьют чай; мимо многоэтажных зданий и ялы; мимо пристани и увитого вьюном кафе; мимо

мальчишек, прыгающих в море со сточной трубы и греющихся, растянувшись на асфальте; мимо рыбаков, сидящих с удочками на берегу, и катеров с подремывающими пассажирами; мимо учеников, выходящих из школы и идущих вдоль берега с портфелями в руках; мимо пассажиров застрявшего в пробке автобуса, выглядывающих из окон; мимо чинар (теперь вы видите, какие они высокие); мимо особняков, утопающих в садах (с берега их почти не видно, поэтому вы замечаете их, только когда плывете по Босфору); мимо карабкающихся по крутым склонам улиц, ведущих к далеким холмам, и высотных зданий… И за всем этим вырастает и проплывает перед вами Стамбул — мечети, далекие кварталы, мосты, минареты, башни, сады, новостройки, которых все больше с каждым днем… Проплывая по Босфору на пароходе, катере или, как я в детстве, на лодке, можно одновременно наблюдать Стамбул вблизи, дом за домом, квартал за кварталом, и любоваться издалека непрерывно меняющимся, похожим на мираж силуэтом города на горизонте.

Даже в детстве, когда мы все вместе на машине отправлялись на прогулку, я чувствовал, что одно из самых главных достоинств Босфора — то, что здесь можно увидеть следы тех времен, когда османская цивилизация и культура стали испытывать влияние Запада, но при этом не потеряли еще своей самобытности и силы. Я разглядывал внушительную железную дверь с облупившейся краской у одного ялы, высокую и широкую, замшелую, но крепкую стену другого, не сгоревшие еще ставни и резное дерево третьего, смотрел на взбирающийся от стен особняка до самой вершины высокого холма тенистый сад, в котором росли босфорские сосны, багряник и столетние чинары, — и догадывался, что все это следы погибшей и ушедшей в прошлое цивилизации, что здесь некогда жили люди, немного похожие на нас, только жизнь у них была совсем другая. Я понимал, что времена те давно прошли, и чувствовал, что мы все-таки отличаемся от тех людей — по сравнению с ними мы бедны, слабы и провинциальны.

Древний центр Стамбула, находящийся на полуострове, ограниченном Мраморным морем, Босфором и заливом Золотой Рог, начиная с середины XIX века стал во многом терять свой исторический облик; по мере того как империя рушилась, проигрывала одну за другой войны и разорялась, европеизирующиеся османские чиновники возводили в беднеющем и испытывающем демографический взрыв городе большие уродливые здания. Но благодаря тем же самым чиновникам, богачам и пашам в их ялы, куда они удалялись из города на лето, существовала самобытная закрытая для внешнего

мира культура. По берегу добраться до тех мест тогда было невозможно, и, даже несмотря на то что в середине XIX века туда стали ходить пароходы, они еще не совсем стали частью Стамбула. Поэтому иностранцам попасть туда было нелегко. Сами же обитатели ялы не оставили записок ни о своих домах, ни о своей изолированной культуре, поэтому наши знания в этой области опираются по большей части на ностальгические воспоминания их потомков во втором или третьем поколении.

Самый яркий из этих мемуаристов, известный писатель Абдульхак Шинаси Хисар (1887–1963), описывает «босфорскую цивилизацию» (его определение) с сентиментальностью своего любимого Пруста и в его стиле — витиеватыми длинными фразами. Детство свое Хисар провел на вилле в Румелихисары, часть юности — в Париже, где вместе со своим другом, поэтом Яхьей Кемалем (1884–1958), изучал политологию; там же он полюбил французскую литературу. В своих книгах «Босфорские лунные ночи» и «Босфорские ялы» он стремился «на какое-то время воскресить» ту исчезнувшую самобытную культуру и воссоздать тот мир «со всем возможным старанием и тщательностью, подобно выписывающему свой орнамент художнику старинных времен».

Иногда я беру с полки и перечитываю ту часть «Босфорских лунных ночей», которая называется «Музыка тишины». Еще с утра начинаются приготовления; ночью на залитом лунным светом Босфоре появляются лодки, и люди, сидящие в них, слушая доносящуюся издалека музыку, любуются лунными лучами и игрой серебряных бликов на воде. Автор описывает весь день и длинную ночь, молчание, чувства и привычки этих людей и, каждый раз с особенной тщательностью, изысканные церемонии, которые сопровождали их жизнь. Мне нравится, читая, грустить о том, что никогда не попасть мне в этот затерянный в прошлом мир, нравится сердиться на автора за то, что он, тоскуя о прошлом, делает вид, будто в этом мире вовсе не было зла, источником которого служат ненависть, человеческая слабость, насилие и власть. В лунные ночи, пишет А. Ш. Хисар, когда музыка над лодками и безмятежным морем затихала, «в совершенно безветренную погоду по водной глади иногда пробегала легчайшая дрожь, явившаяся словно из самой глубины морской».

Во время наших с мамой лодочных прогулок мне казалось, что краски холмистых босфорских берегов рождаются не в солнечном свете, а благодаря едва заметному бледному сиянию, исходящему от крыш и деревьев, от крыльев внезапно мелькнувшей перед нами чайки, от стен полуразрушенной

лодочной станции. Власть солнца над погодой и пейзажами Босфора не безгранична даже в самые жаркие летние дни, когда нищие мальчишки прыгают в воду с набережных. Ранними летними вечерами я люблю смотреть на удивительный свет, в котором сливаются красное сияние неба и таинственная темнота воды, и пытаться разгадать его загадку. Люблю смотреть, как медленно меняется цвет бурных пенящихся вод, несущих с бешеной скоростью попавшие в течение лодки — так же как удивительным образом меняется цвет нарисованного Моне пруда с кувшинками, если сделать несколько шагов и посмотреть на картину под другим углом.

В середине 1960-х я каждый день ездил в свой Роберт-колледж на автобусе, ходящем из Бешикташа в Сарыер.[24] Я любил, стоя в толпе пассажиров, смотреть, как за холмами на азиатском берегу встает солнце, и темные таинственные воды Босфора, подернутые рябью, меняют свой цвет, становясь светлее. Если какой-нибудь погруженный в печальные думы человек выйдет прогуляться по берегу Босфора ближе к концу тихой безветренной летней ночи или в туманную весеннюю ночь, когда на деревьях не шевельнется ни один лист, и будет долго-долго идти в одиночестве, не слыша ничего, кроме звука своих шагов, то, когда он дойдет до какого-нибудь мыса (например, до Акынтыбурну) или до стоящего рядом с кладбищем Ашиян маяка, и внезапно услышит в ночном безмолвии грозный шум бурного течения и в страхе заметит загадочный свет, исходящий от сияюще-белой пены, он с изумлением поймет (как в свое время я и А. Ш. Хисар), что у Босфора есть душа.

О цвете кипарисов и прячущихся в темных лощинах рощ говорю я, и о цвете покинутых, опустевших и заброшенных ялы и невесть чем груженных дряхлых ржавых судов; о стихах, которые может понять только тот, кто прожил на этих берегах всю свою жизнь, ибо говорится в них о кораблях, плывущих по Босфору и стоящих над его водами особняках; о том, каково жить среди развалин некогда великой и могучей цивилизации, создавшей уникальное, ни на что не похожее искусство; я говорю о ничего не знающем об истории и цивилизациях ребенке, которому искренне хочется понять этот мир, а еще хочется счастья и веселья; и о пятидесятилетнем писателе говорю я, о его сомнениях, печалях и радостях, которые называются жизнью, и о его опыте. Каждый раз, когда я начинаю рассказывать о красоте Стамбула, Босфора и его темных улиц, некий внутренний голос говорит мне: ты, подобно писателям предыдущих поколений, преувеличиваешь красоту своего города, чтобы скрыть от самого себя изъяны собственной жизни. Если город представляется нам красивым и

необыкновенным, значит, и наша жизнь такова. Каждый раз, когда я читал у писателей предыдущих поколений описания Стамбула и его головокружительной красоты, я, конечно, увлекался завораживающим языком повествования, но в то же время вспоминал о том, что эти писатели *уже* не жили в том большом городе, о котором рассказывают, и о том, что они предпочитали удобства *уже* европеизировавшегося Стамбула. У них я научился пониманию того, какова цена способности с неумеренным лирическим восторгом петь хвалу Стамбулу — обладать ею может только тот, кто *уже* не живет в городе, который описывает; для того, чтобы видеть красоту вещи, нужно смотреть на нее со стороны. Если писатель, в глубине души испытывающий чувство вины за это, берется разглагольствовать о ветхости и печали своего города, то он должен рассказать и о том таинственном отсвете, который они бросают на его жизнь; а если он увлеченно пишет о красоте города и Босфора, то должен помнить и о нищете своей жизни, о том, что его времена отнюдь не похожи на те, ушедшие в прошлое, времена побед и счастья.

Когда наша с мамой прогулка (за время которой мы переживали несколько «опасных» моментов — то лодку подхватит течение, то она закачается на волнах, поднятых проходящим мимо кораблем) подходила к концу, лодочник, не доезжая до мыса Румелихисары, где течение подходит очень близко к берегу, высаживал нас в Ашияне.[25] Оттуда мы пешком шли до крепости Румелихисары, построенной в самом узком месте Босфора. Нас с братом очень занимали пушки времен Мехмеда II,[26] поставленные у крепостной стены для красоты; в их огромных стволах, в которых по ночам спали пьяницы и бездомные, валялись осколки стекла, грязные тряпки, жестянки и окурки, глядя на которые мы понимали, что великое историческое наследство Стамбула и Босфора для большинства ныне здесь живущих — нечто темное, загадочное и непонятное.

Когда мы подходили к пароходной пристани, мама показывала на стоящее рядом маленькое кафе, на мощенную брусчаткой мостовую и тротуар рядом с ним и напоминала: «Здесь раньше стоял деревянный дом. Когда я была маленькой девочкой, ваш дедушка привозил меня сюда на лето». Этот летний дом неизменно представлялся мне страшным, старым и полуразрушенным зданием, развалюхой, вполне достойной того, чтобы исчезнуть с лица земли. Первая услышанная мною история, связанная с ним, никак не выходила у меня из головы — история о дочери паши, хозяйке дома, которая жила на первом этаже, и о том, как в середине 1930-х годов ее при загадочных обстоятельствах убили воры. Мама, заметив, какое впечатление

произвела на меня эта мрачная история, меняла тему: показывая следы, оставшиеся от разрушенного лодочного сарая, она, улыбаясь (но в голосе ее чувствовалась печаль) рассказывала, как однажды дедушке не понравилась приготовленная мамой еда, и он, разгневавшись, вышвырнул кастрюлю со всем содержимым из окна в глубокие и своенравные воды Босфора.

Когда мама ссорилась с отцом, она уезжала к дальним родственникам, жившим в Истинье,[27] в ялы, окна которого выходили на верфь; я помню, как потом этот дом превратился в развалины. В годы моего детства нувориши, начинавшие обрастать жирком стамбульские буржуа не проявляли к босфорским ялы ни малейшего интереса. Старые босфорские ялы не были приспособлены для того, чтобы жить в них зимой, когда стоят холода и дует северо-восточный ветер, прогревать их было сложно и дорого. Новые богачи республиканского периода, не столь могущественные, как османские паши, чувствовали себя в значительно большей степени европейцами, проживая в многоэтажных домах в окрестностях площади Таксим и поглядывая на Босфор издалека. Поэтому они не покупали ялы у османских семей, удалившихся от власти, у обедневших детей пашей, у родственников людей, подобных А. Ш. Хисару. В больших деревянных особняках и ялы, стоявших на Босфоре, обитали бывшие придворные, выжившие из ума, и внуки пашей, то и дело судящиеся друг с другом по поводу раздела имущества и сдающие внаем этажи, а то и отдельные комнаты. Впавшие в небрежение дома гнили, краска с них осыпалась, и деревянные стены от холода и влаги чернели; в надежде, что на этом месте построят многоэтажное здание, их часто тайком поджигали, так что за годы моего детства их стало меньше и к 1970-м годам, когда город начал быстро расти, большинство их исчезло.

В конце 1950-х годов каждое воскресенье мы неизменно отправлялись утром на автомобильную прогулку по Босфору — подышать воздухом. За руль «доджа» 1952 года выпуска садились отец или дядя. Может быть, мою семью и печалило немного исчезновение османской культуры, но поскольку мы принадлежали к новой, республиканской буржуазии, то по поводу «босфорской цивилизации» испытывали скорее не печальное чувство утраты, а чувство гордости и довольства — ведь мы были наследниками ее величия, ее продолжением. Каждый раз, выбираясь на Босфор, мы непременно заезжали в Эмирган, где останавливались поесть халвы в кафе «Под чинарой», совершали где-нибудь в Бебеке или Эмиргане пешую прогулку вдоль берега и смотрели на проплывающие по Босфору корабли; по дороге мама, попросив остановить машину, выходила, чтобы купить цветочный

горшок или пару большущих луфарей.[28]

Помню, что, по мере того как я взрослел, эти прогулки в узком семейном кругу (папа, мама и мы с братом) стали вызывать у меня скуку и раздражение. Мелкие семейные конфликты, наше с братом постоянное соперничество и игры, переходящие в ссоры, проблемы не очень счастливой маленькой семьи, которая пытается забыть о них, сев в машину и выбравшись из дома погулять, — все это портило мне радость встречи с Босфором. Тем не менее я никогда не отказывался от этих прогулок. Когда многие годы спустя мне доводилось видеть другие семьи — ссорящиеся, невеселые и шумные, — совершающие воскресную автомобильную прогулку по Босфору, это не только напоминало мне о том, что моя жизнь не так уж не похожа на жизнь других людей, но и наводило на мысль о том, что Босфор для стамбульских семей, возможно, единственный источник радости.

Приметы Босфора моих детских лет мало-помалу исчезли, подобно сгоравшим один за другим ялы, и сейчас, гуляя по его берегам, я люблю вспоминать, как все здесь было раньше. Теперь и я с удовольствием рассказываю о том, что вот тут, например, раньше стоял дальян,[29] и папа объяснял мне, что это — ловушка для рыбы, сделанная из особым образом расставленных сетей; о продавцах фруктов, которые на лодках плавали от ялы к ялы, предлагая свой товар; о босфорских пляжах, на которые мы ходили с мамой, и о том, как замечательно было купаться в Босфоре; о пристанях, которые одна за другой пустели и закрывались, а на их месте потом возникали дорогие закусочные; о рыбаках, причаливавших к этим пристаням на своих лодках, на которых мне строго-настрого было запрещено кататься. Но главное, то, что делает для меня Босфор Босфором, осталось неизменным с детства. Босфор для меня — неиссякаемый источник добра, оптимизма, здоровья и хорошего самочувствия, придающий городу силы, делающий жизнь в нем легче.

«Не такая уж плохая штука — жизнь, — думаю я иногда. — В конце концов, всегда можно прогуляться по Босфору».

7
Меллинг рисует Босфор

Виды Босфора рисовали многие западные художники, но больше всего я люблю разглядывать картины Антуана-Игнаса Меллинга — самые, по-моему, убедительные. Книга с его гравюрами, само название которой — «Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore» («Живописное путешествие по Константинополю и берегам Босфора») — звучит для меня поэзией, была опубликована в 1819 году. В 1969 году ее репринтное издание в два раза меньшего формата выпустил мой родственник, поэт и издатель Шевкет Радо, который и подарил ее нам в те дни, когда во мне вовсю горел художнический пыл. Эти рисунки я могу рассматривать часами. Глядя на них, я верю, что именно так безупречно и выглядел Стамбул османских времен. Эту милую моему сердцу иллюзию рождают не столько нарисованные акварелью и гуашью картины, изобилующие мельчайшими подробностями, которые Меллинг вырисовывал с дотошностью архитектора или математика, сколько сделанные с этих картин под руководством самого художника черно-белые гравюры. По крайней мере, в те моменты, когда мне хочется убедить себя в том, что наше прошлое было величественным и великолепным (у человека, слишком открытого влиянию западной литературы и западного искусства, могут порой случаться такие приступы стамбульского патриотизма), мое утешение — гравюры Меллинга. Но к этому утешению примешивается и грусть от сознания того, что большинства этих прекрасных зданий уже нет. Впрочем, когда я слишком уж расстраиваюсь из-за этого, рассудок подсказывает мне, что именно чувство утраты делает эти рисунки такими красивыми. Может быть, я и смотрю на них, чтобы немного погрустить.

Меллинг, родившийся в 1763 году, был в полном смысле слова европейцем — немцем с итальянскими и французскими корнями. В Карлсруэ, где его отец был скульптором при дворе курфюрста Карла-Фридриха, он выучился ваянию, затем переехал в Страсбург, где под руководством своего дяди изучал живопись, зодчество и математику. В девятнадцать лет под влиянием начинавшего распространяться романтического интереса к Востоку он отправился в путешествие, которое, конечно же, привело его в Стамбул. В тот день, когда он сюда приехал, он, должно быть, и представить себе не мог, что останется в этом городе на долгие восемнадцать лет. Сначала он погрузился в

жизнь быстро растущей космополитической колонии, существовавшей вокруг европейских посольств, на месте садов которых потом возникнет современный Бейоглу — там он давал частные уроки. Случилось так, что сестра султана Селима III Хатидже-султан, благосклонно, как и ее брат, относившаяся к новшествам в европейском духе, прогуливаясь в саду, окружавшем особняк бывшего датского посланника барона де Гюбша, высказала желание завести себе такой же сад, и ей порекомендовали молодого Меллинга. Сначала он разбил для сестры султана сад в европейском стиле, представлявший собой лабиринт из розовых кустов, акаций и сирени, потом построил маленький павильон с колоннами рядом с ее дворцом в Дефтердарбурну (между теперешними районами Ортакёй и Куручешме). Романист Ахмед Хамди Танпынар (1901–1962) пишет, что этот павильон в неоклассическом европейском стиле, не сохранившийся до наших дней и известный нам по рисункам Меллинга, соответствовал духу Босфора и даже стал образцом для строившихся затем зданий в стиле, который Танпынар называет «смешанным». Для летнего дворца Селима III в Бешикташе Меллинг разработал интерьеры и спроектировал пристройки в том же неоклассическом, но соответствующем духу Босфора стиле. В то же время он продолжал состоять при Хатидже-султан в должности, которую мы сегодня назвали бы «советник по вопросам искусства» или «дизайнер интерьера». Ему приходилось, в том числе, и покупать цветочные горшки, и присматривать за тем, как расшивают жемчугом салфетки, и показывать по воскресеньям ялы женам послов, и устанавливать противомоскитные сетки.

Все эти подробности известны нам из хранящейся сейчас в одной частной коллекции переписки между Меллингом и Хатидже-султан. В ней используется одно опередившее свое время новшество: за сто тридцать лет до проведенной Ататюрком в 1928 году реформы алфавита эти двое стали писать друг другу по-турецки латинскими буквами. Благодаря этим письмам мы в какой-то степени можем узнать, как разговаривали сестры султана в те дни, когда в Стамбуле еще не было принято писать воспоминания и романы:

«Мастер Меллинг, когда будет готова сетка против комаров? Хочу, чтобы завтра, сделай милость… Пусть сейчас же приступят к делу, покажи, на что способен… Довольно странный эскиз ножа… Рисунок Стамбула отправлен, он не поблек… Стул такой не хочу, не нравится… Стулья пусть будут золоченые… Шелка пусть будет немного, а золотого шитья побольше… Посмотрела эскиз серебряной шкатулки, но такую не делай, оставь старый

эскиз, не порти его… Деньги за жемчуг и золотые пластинки отдам во вторник…»

В то время, когда велась эта переписка, Хатидже-султан, выучившейся, видимо, не только латинице, но еще немного и итальянскому языку, еще не было тридцати. Ее муж, губернатор Эрзурума Сейид Ахмед-паша, в Стамбуле бывал редко. Во время египетской кампании Наполеона, когда дворцовые круги были резко настроены против французов, Меллинг женился на уроженке Генуи и тут же, как явствует из написанных им в те дни Хатидже-султан жалобных писем, впал в немилость без всякого объяснения причин.

«Моя госпожа, — пишет Меллинг, — в субботу раб ваш послал слугу за жалованьем, а ему сказали, что жалованья больше не будет… Столько видев от госпожи моей добра, я не поверил, что это по ее приказу сделано… Сказали так, верно, из ревности, видя, как госпожа моя любит раба своего… Скоро зима, надо в Бейоглу переезжать, а как я перееду? Денег нет. Хозяин дома требует уплаты, нужно уголь покупать, вещи для кухни… Дочь моя заболела оспой, врач требует пятьдесят курушей[30] — как тут быть? Сколько я умолял, сколько денег на дороге и лодках издержал, а благосклонного ответа все нет… Припадаю к стопам госпожи моей, ни акче[31] у меня не осталось… Умоляю, не оставьте в беде раба своего…»

Так и не дождавшись от Хатидже-султан ответа на свои мольбы, Меллинг, во-первых, стал готовиться к возвращению в Европу, а во-вторых, принялся за работу, которая должна была впоследствии принести ему доход. Еще задолго до этого, пользуясь близостью к султану, он начал рисовать большие картины, в подробностях изображающие виды Стамбула. Теперь он вернулся к старой задумке создать на основе этих картин книгу гравюр и с помощью французского посланника, известного знатока Востока Пьера Руфена начал переписку с парижскими издателями. Подготовка книги к изданию началась в 1802 году, по приезде Меллинга в Париж, а вышла она только спустя семнадцать лет, когда ему было уже пятьдесят шесть. Над книгой работали самые знаменитые граверы того времени, и уже в начале этой работы художник получил признание как замечательный мастер достоверного воссоздания мельчайших подробностей.

Когда я сегодня смотрю на сорок восемь больших гравюр этой книги, первое, что трогает меня, — это твердая верность реалистическим деталям. Пристальным вниманием к архитектурным подробностям, очаровательной и искусной игрой перспективы Меллинг добивается ощущения подлинности,

которого так жаждет человек, смотрящий на виды затерянного в прошлом мира, на красоты Босфора и Стамбула. Даже на самой «придуманной» из этих сорока восьми картин, изображающей внутренние покои султанского гарема, Меллинг так точно передает архитектурные пропорции, так искусно пользуется «готической» перспективой, а изображенные им степенные и изящные женщины так далеки от западных представлений о гаремной жизни и о том, как выглядят обитательницы гарема, что даже стамбулец, смотрящий на это изображение, не может избавиться от ощущения подлинности и истинности увиденного. Академичность и серьезность своих картин Меллинг уравновешивает изображением таящихся в их углах деталей обычной человеческой жизни. Например, на первом этаже гарема сбоку мы видим двух нежно обнявшихся и целующихся женщин, однако Меллинг не привлекает специально к ним наше внимание, как это сделал бы любой другой западный художник, жадный до такого рода подробностей, и не драматизирует их отношения, не помещает пару в центр композиции.

У видов Стамбула работы Меллинга центра композиции как будто вовсе нет. И, наверное, это вторая (после серьезного отношения к деталям) причина, по которой его Стамбул так мне близок. На карте, помещенной в конце книги, Меллинг с точностью топографа указал, вид на какой именно участок города и с какой именно точки изображен на каждой из сорока восьми больших гравюр, но у меня при взгляде на них возникает ощущение, будто у этих видов нет ци центра, как у китайских свитков, ни конца, как у некоторых закольцованных синемаскопических фильмов. Ни на одной из гравюр в центре нет фигур людей в драматических лозах, и поэтому, когда я переворачиваю страницы книги и вглядываюсь в черно-белые пейзажи, я словно возвращаюсь в детство: мне снова кажется, что у Стамбула нет центра, что он бесконечен, как казалось когда-то в детские годы во время прогулок по Босфору, когда я наблюдал, как за одной бухточкой появляется другая, а с каждым поворотом дороги, идущей вдоль берега, вид удивительным образом преображается.

Босфорские пейзажи Меллинга не только дают мне волшебную возможность увидеть берега Босфора такими, какими я видел их в детстве, увидеть их лощины, склоны и холмы, которые в мои детские годы были голыми, а за прошедшие с тех пор сорок лет покрылись уродливыми многоэтажками (а я и забыл уже, что когда-то видел эти холмы незастроенными); углубляясь в прошлое, страница за страницей разглядывая красоты Босфора, я переживаю горькое, но радостное чувство —

на этих прекрасных берегах творилась величественная история, и основание моей жизни покоится на памяти о том былом величии, на оставшихся от него пейзажах и исторических местах. С тем же горько-радостным чувством я подмечаю на этих рисунках некоторые детали, сохранившиеся до наших дней — сделать это может только человек, очень хорошо знающий Босфор; и от этого у меня возникает впечатление, что образы эти, вынырнувшие из вневременного райского великолепия, становятся частью моей сегодняшней жизни. Да, говорю я сам себе, при выходе из бухты Тарабья спокойные воды вдруг возмущает дующий с Черного моря северо-восточный ветер, и торопливые, беспокойные волны, точь-в-точь как у Меллинга, покрываются сердитыми и нетерпеливыми барашками пены. Да, ранними вечерами рощи на вершинах холмов в Бебеке укрываются именно такой, в глубине их рожденной темнотой, почувствовать эту особенность может только человек, который, как я или Меллинг, десятилетиями жил в этих местах. Да, босфорские сосны и кипарисы именно так, изящно и крепко, вписываются в стамбульский пейзаж.

Кипарисы — необходимый элемент традиционного исламского сада, неизменно присутствуют они и на рисунках, изображающих исламский рай. На картинах Меллинга, словно на персидских миниатюрах, темные пятна изящных и полных достоинства кипарисов служат для придания виду поэтической гармонии. Даже рисуя изогнутые босфорские сосны, Меллинг, в противоположность некоторым другим европейцам, рисовавшим Босфор, не стремится, вглядываясь в пространство между ветвями, создавать эффект драматического напряжения или ограниченности пространства. В этом он похож на художников, рисовавших миниатюры: они и на деревья, и на людей смотрят словно бы издалека, даже когда последние охвачены самыми сильными переживаниями. Меллинг не был большим мастером изображения движений человека и, видимо, поэтому совсем не придавал значения жестам персонажей своих картин. Иногда он довольно неуклюже изображает посадку лодок и кораблей в воде (особенно когда они движутся прямо на зрителя), несмотря на всю его тщательность, люди у него порой не совсем пропорциональны зданиям, как это бывает на детских рисунках, — все это придает его картинам какую-то поэтичность и делает их более понятными для стамбульца. Черты женских лиц Меллинг с милым, вызывающим улыбку простодушием делает настолько похожими друг на друга, словно все эти женщины, населяющие на его картинах дворец Хатидже-султан и гарем, приходятся друг другу сестрами.

Сила Меллинга — в том, как искусно он сочетает в своих

картинах это простодушие, словно позаимствованное у лучших исламских миниатюристов или пришедшее из самых первых лет золотого века Стамбула, и такую точность архитектурных и топографических деталей, такую достоверность изображения повседневной жизни, каких не смог достичь ни один художник Востока. Если вы посмотрите на Девичью башню или на Ускюдар с тех точек, которые указал в своей карте Меллинг, вашим глазам откроется та же панорама, которую вы видите на его картинах; если пройти сорок шагов от здания в Джихангире, в котором находится мой кабинет, где сейчас я пишу эти строки, с холма Топхане можно увидеть точно такой же вид на дворец Топкапы, что проглядывает в окнах нарисованной Меллингом кофейни; и если мы посмотрим на нарисованный Меллингом вид на Стамбул с холма Эюп, то узнаем его, — и все эти пейзажи, столь знакомые нам, в то же самое время — пейзажи потерянного рая. Этот рай появился, когда вельможи Османской империи поняли, что берега Босфора не просто место для греческих рыбацких деревушек, что здесь можно и нужно жить; тогда же в османскую архитектуру впервые проникло западное влияние. Именно картины Меллинга — причина того, что времена, предшествовавшие правлению Селима III, кажутся мне такими далекими.

Следуя примеру Маргерит Юрсенар,[32] с помощью увеличительного стекла изучавшей гравюры Пиранези,[33] за тридцать лет до Меллинга начавшего рисовать Рим и Венецию, я, вооружившись тем же инструментом, рассматриваю нарисованные Меллингом виды Стамбула. Мне очень нравится наблюдать за живущими на этих гравюрах горожанами. Например, за продавцом арбузов, который примостился в левом углу картины, изображающей Топханейский источник (Меллинг очень долго работал над тем, чтобы изобразить этот источник во всех мельчайших подробностях) и площадь вокруг него; за двести лет арбузные развалы и поведение продавцов, зазывающих покупателей, ничуть не изменились. А вот еще один продавец арбузов — внизу, посередине. Посмотрите, как он сидит на стуле. Топханейский источник, выделявшийся среди других стамбульских построек особенным изяществом (поэтому Меллинг и уделил ему столько внимания), в то время, как видим, стоял на возвышении; сегодня же он, в результате того, что площадь вокруг него сначала замостили брусчаткой, а потом покрыли несколькими слоями асфальта, находится в углублении. Наш художник любил в каждом уголке города, в каждом его саду подмечать детей, держащих за руку своих мам (как засвидетельствовал пятьдесят лет спустя Теофиль Готье,[34] женщины часто брали с собой своих детей, потому что женщины с

детьми вызывали больше уважения, чем женщины, разгуливающие в одиночку, и им меньше докучали). В каждом уголке города, точь-в-точь как сегодня, можно заметить уныло выглядящих уличных торговцев, продающих самые различные товары, одежду и еду. А вот юноша, стоящий на пристани рядом с ялы в Бешикташе, закинул удочку в безмятежное море (я так люблю Меллинга, что у меня язык не поворачивается сказать, что в Бешикташе у берега никогда не может быть такой спокойной воды). В нескольких шагах от юноши два загадочных человека склонились друг к другу (я поместил их на обложку одного из турецких изданий «Белой крепости»). Вот на холме Кандилли владелец дрессированного медведя заставляет своего питомца плясать, рядом стучит в бубен его помощник; по площади Султан-Ахмет (для Меллинга это Ипподром), в стороне от толпы, занимающей ее центр, медленно, с типично стамбульским безучастным видом бредет человек, ведущий навьюченную лошадь; в другом углу той же картины повернулся к толпе спиной продавец бубликов, а бублики его лежат на точно таком же треножнике, какими продавцы бубликов пользовались в годы моего детства… Мне очень нравится спустя какое-то время снова рассматривать всех этих людей и снова подмечать забытые маленькие подробности.

В противоположность людям на картинах Пиранези, стамбульцев Меллинга, на фоне каких бы величественных зданий или пейзажей они ни стояли, не подавляет ни архитектура, ни природа. Меллинг, как и Пиранези, любит перспективу, но в его картинах нет драматизма (даже в той, что изображает дерущихся на берегу в Топхане лодочников). На людей Пиранези давит всесильная вертикальная архитектура, низводя их до степени уродливых нищих и калек, одетых в гротескные одежды. В картинах же Меллинга ничто не приковывает к себе взгляд; куда бы ни смотрел зритель, всюду перед ним в горизонтальной плоскости разворачивается жизнь удивительного и счастливого мира. Дело здесь не столько в мастерстве и искусности самого Меллинга, сколько в тех возможностях, которые открывались ему благодаря особенностям топографии и архитектуры Стамбула. Чтобы прочувствовать эти особенности, ему нужно было прожить в Стамбуле восемнадцать лет.

На тот момент, когда Меллинг уезжал из Стамбула, в этом городе прошла половина его жизни. И эти восемнадцать лет были не годами учебы, а временем, когда складывались его главные жизненные убеждения, когда ему приходилось вести борьбу за существование, временем упорной работы и появления его первых картин. Поэтому взгляд художника мог уловить в

Стамбуле самое главное и увидеть город таким, каким его видели те, кто в нем жил. Меллинга совсем не интересовала колдовская атмосфера экзотики, которую искали в Стамбуле через тридцать — сорок лет после него такие замечательные художники и граверы, как Уильям Генри Бартлетт («Красоты Босфора», 1835), Томас Аллом («Константинополь и виды семи церквей Малой Азии», 1839) и Эжен Фланден («Восток», 1853). Оставляют его равнодушным и вышедшие из сказок «Тысячи и одной ночи» и вскоре превратившиеся в стереотипы образы в духе столь распространенного в те годы, особенно во Франции, восточного романтизма; поэтому он не увлекается игрой света и тени, столь подходящей для создания романтической атмосферы, не рисует эффектные облака и дымку и не стремится изображать город и его обитателей более округлыми, пышными, причудливыми или мрачными, чем они были на самом деле.

Меллинг смотрит на город изнутри. Но сами стамбульцы в те времена не умели рисовать себя и свой город, да им и в голову не приходила такая мысль, — поэтому западное искусство рисунка придает этим беспристрастным картинам оттенок отчужденности. Меллинг видит город глазами его жителя, но рисует его как беспристрастный пришелец с Запада — вот почему его Стамбул одновременно и знакомый нам город, с видами и зданиями которого нас связывают воспоминания, и ни на что не похожий, единственный в своем роде и потому удивительный и чудесный мир.

Каждый раз, когда я смотрю на эти гравюры, сознание того, что мир этот навсегда потерян, наполняет мою душу привычной грустью. Но, как показывает едва ли не единственное достоверное свидетельство об этом оставшемся в прошлом мире, мой Стамбул не был экзотическим, «колдовским» или причудливым городом, разве что удивительным и чудесным, а Босфор тех лет во многом походил на Босфор моего детства. Мысль об этом утешает меня всякий раз, когда я открываю Меллинга.

8
Мама, папа и их исчезновения

Иногда папа куда-то уезжал, и мы долгое время его не видели. Странным образом его отсутствие не ощущалось нами в первые дни. Потом, наконец с огорчением заметив, что папы нет, мы понимали, что давно уже к этому привыкли, как бывает, когда вдруг хватишься давно потерянного или украденного велосипеда или вспомнишь о переставшем ходить в школу однокласснике. Почему отец уехал и когда он вернется, нам не говорили. Мы с братом чувствовали, что вопросов об этом задавать не нужно, — в доме эту тему не обсуждали, и мы с легкостью следовали примеру взрослых. Пережить отсутствие отца, не забывая о нем, но и не задавая вопросов, нам помогало то, что мы все — дядя и тетя со своими семьями, бабушка, повара, прислуга — жили вместе. Иногда, когда служанка Эсма-ханым чересчур нежно нас обнимала, или бабушкин повар Бекир видел в наших словах какое-то скрытое значение, или дядя Айдын с чрезмерным энтузиазмом вывозил нас воскресным утром покататься по Босфору на «додже-52», мы вспоминали забытую печаль.

Бывало, мама с утра садилась к телефону и начинала подолгу разговаривать со своими сестрами, подругами и другой нашей бабушкой — тогда я чувствовал, что дела обстоят совсем плохо. Мама разговаривала по телефону, сидя на стуле и закинув ногу на ногу, а я смотрел на очень занимавшие меня разнообразные складки ее кремово-красного халата, разрисованного гвоздиками, сквозь пуговицы которого проглядывали красивая ночная рубашка и красивая мамина шея, и мне хотелось залезть к ней на колени, прижаться к ее волосам, шее, груди. Несколько лет спустя, после ожесточенной перепалки с отцом, случившейся за обедом, мама гневно бросила мне в лицо, что я получаю удовольствие от той атмосферы бедствия, в которую погружали весь дом их ссоры.

Ожидая, пока мама обратит на меня внимание, я сидел за ее туалетным столиком, заставленным пудреницами, румянами, флакончиками с духами и лаком для ногтей, пузырьками с одеколоном, розовой водой и миндальным маслом, с интересом рылся в шкатулках, играл со всевозможными щипчиками, ножницами, пилочками для ногтей, щеточками в форме ручек, карандашами для бровей, расческами и всякими разными острыми инструментами, разглядывал мои и брата младенческие фотографии, лежащие под стеклом. На одной из фотографий я

сидел на детском стульчике, а мама подносила к моему рту ложку, и при этом на наших лицах были такие радостные улыбки, какие можно увидеть только в рекламе детского питания. Я смотрел на фотографии и раздумывал: как жаль, что они не могут передать моих радостных воплей.

Потом, чтобы спастись от медленно наползающей на меня скуки и грусти, я начинал играть в одну игру, не подозревая о том, что много позже буду делать нечто подобное в своих романах. Я сдвигал на середину столика два флакона, стоявшие рядом с зеркалом, щетки для волос и запертую, никогда не открывавшуюся, расписанную цветами коробочку, приближал голову к середине трюмо и, разом раскрыв обе его створки так, что моя голова оказывалась между ними, смотрел на движения тысячи Орханов в глубокой и холодной стеклянной бесконечности. Глядя на самые близкие и самые большие отражения, я с удивлением рассматривал свой затылок, который, оказывается, формой походил на острый конец яйца, и уши, одно из которых, совсем как у папы, было странным образом больше другого. Всего интереснее было смотреть на затылок: его вид вселял в меня жутковатую мысль (до сих пор жутковатую) о том, что всю жизнь я таскаю с собой какого-то чужака — мое тело. В трех зеркалах отражался не только мой профиль; мне очень нравилось самодовольно смотреть, как все эти десятки и сотни Орханов, отраженные каждый немножко по-разному и поэтому отличающиеся друг от друга, все, от больших до самых маленьких, рабски повторяют любое движение моей руки. Я заставлял их совершать самые разнообразные движения, пока не убеждался, что все они — беспрекословно подчиняющиеся мне рабы. Иногда я пытался разглядеть в зеленоватой бесконечности самого далекого Орхана; иногда мне казалось, будто я замечаю, что отражения руки или головы движутся не одновременно со мной, а на долю секунды позже. И совсем жутко мне становилось, если я слишком увлекался, надувая щеки, хмуря брови, высовывая язык и строя разнообразные рожи или же разглядывая восьмерку Орханов, притаившуюся в одном из углов зеркала, и забывал про свои руки и пальцы, а те вдруг сами по себе совершали какое-нибудь простое движение. Заметив, как десяток-другой плавающих в зеленоватых глубинах зеркального моря Орханов вдруг повторяют мой неосознанный жест, я на какой-то миг воображал, что они сговорилась между собой двигаться отныне сами по себе. Сначала меня пробирал озноб, а затем, когда не понимающая шуток часть моего рассудка соглашалась с тем, что это мне только показалось, я продолжал игру, чтобы снова испытать тот же ужас. Потом я немного двигал створки,

чуть-чуть изменяя их угол, и построение зеркальных Орханов становилось совсем другим. На какое-то мгновение я терял из вида первое и самое близкое отражение, словно смотрел в видоискатель фотоаппарата, который вдруг потерял фокус, и мне нравилось находить его на новом месте, а заодно и ощущать на прежнем месте себя, как будто я тоже мог куда-то потеряться.

Во время всей этой игры в исчезновение (я мог предаваться ей часами) часть моего сознания оставалась начеку: не промелькнет ли в мамином разговоре информация о том, куда делся папа, когда он может вернуться, и не может ли получиться так, что мама однажды тоже пропадет.

Мама ведь тоже иногда исчезала. Однако, когда исчезала она, нам всегда давали какое-нибудь объяснение. Например, говорили: «Мама заболела, отдыхает у тети Нериман». Помню, что я находил эти объяснения разумными, так же как, пусть на какое-то мгновение, по доброй воле верил в истинность зеркальных иллюзий. В сопровождении бабушкиного повара или швейцара Исмаила-эфенди мы на пароходе или автобусе отправлялись навестить маму на другой конец города, например, в Эренкёй или Истинье, где жили наши родственники. В памяти у меня сохранилась не столько печаль этих путешествий, сколько ощущение приключения. Рядом был старший брат, и я подсознательно был уверен в том, что в случае опасности первым с ней будет иметь дело именно он. Когда мы добирались до нужного дома, нас встречали родственники с материнской стороны — пожилые добрые тетушки и немного пугавшие меня волосатостью своих рук дядюшки. Первым делом приласкав нас, они показывали нам все, что могло бы нас заинтересовать в их доме: заливающуюся колокольчиком канарейку, немецкий барометр, который, я думаю, был у каждой европеизированной стамбульской семьи (он представлял собой фигурки наряженных в баварские крестьянские костюмы мужчины и женщины, в зависимости от погоды выходившие из своего домика или скрывавшиеся в нем), и часы с кукушкой, которая своей решительностью и пунктуальностью каждые полчаса повергала в растерянность канарейку, пытавшуюся по мере сил дать достойный ответ; и, наконец, нас вели в мамину комнату.

Красота виднеющегося за распахнутым окном моря, света и простора повергала меня в изумление (может быть, поэтому я так люблю картины Матисса с южными пейзажами за окном); потом я расстраивался и пугался оттого, что встретил маму в таком красивом и чужом месте, но успокаивался, почувствовав наполняющий комнату ни с чем не сравнимый «мамин запах», исходящий от ее вещей, лежащих на треножниках — щипчиков,

флакончиков с духами, щетки для волос с облупившейся полировкой. Очень хорошо помню, как мама по очереди брала нас с братом на руки и нежно ласкала. Брату она давала множество наставлений (она всегда очень любила давать наставления) о том, что ему нужно сделать, что сказать, куда пойти, как себя вести, какую вещь принести ей в следующий раз и из какого шкафа ее достать. Я, не прислушиваясь к этим разговорам, смотрел в окно; когда же доходила очередь до меня, мама начинала со мной шутить и пересмеиваться.

Во время одного маминого исчезновения папа привел в дом няню — чрезмерно белокожую, низкорослую, округлую женщину, которую никак нельзя было назвать красивой. Она постоянно улыбалась и с умным видом, который ей самой, видимо, очень нравился, говорила, что и мы должны делать то же самое — постоянно улыбаться. Мы с братом никак не могли к ней привыкнуть; кроме всего прочего, мы были разочарованы тем, что она не была иностранкой, как няни, виденные нами в некоторых других семьях. Те няни были в основном немками, проникнутыми протестантским духом; наша сравнения с ними не выдерживала и потому не пользовалась у нас авторитетом. Когда мы с братом затевали потасовку, она начинала причитать: «Ребятки, тихо, ну, пожалуйста!» Мы порой в папином присутствии передразнивали ее, и папа, глядя на это, смеялся. Вскоре няня тоже исчезла. Позже, когда во время папиных «исчезновений» нам с братом случалось сцепиться в смертельной схватке, мама, потеряв всякое терпение, в отчаянии восклицала: «Я сейчас возьму и уйду!» или «Выброшусь сейчас из окна!» (однажды она даже перекинула свою красивую ногу через подоконник). Когда же она добавляла: «И тогда ваш папа женится на той женщине», в качестве претендентки на звание новой мамы мне представлялась не одна из тех женщин, о которых вообще-то никогда не говорили, но чьи имена порой, в минуту гнева, срывались с маминых уст, а та бледная, пухлая, добродушная и растерянная няня.

Мы все жили в одном доме, в одних и тех же комнатах, на одной улице, мы (позже я понял, что это относится ко всем настоящим семьям), за небольшими исключениями, все говорили на одни и те же темы и ели одни и те же блюда (а это источник семейного счастья, его залог и причина его смерти); но, несмотря на это, непонятные «исчезновения» родителей меня не очень расстраивали. Они, как и мамино зеркало, спасали меня от скуки повседневной жизни и переносили в другой мир, словно веселые и загадочные отравленные цветы. И я не лил слез из-за этих «исчезновений», из-за семейных бед и ссор, которые многое говорили темной стороне моего сознания, занимали меня и

заставляли острее ощущать свое бытие и свое одиночество, о котором хотелось забыть.

Ссоры, как правило, начинались за столом. Потом более подходящим для этого местом стал купленный папой «опель рекорд» 1959 года выпуска — ведь выйти из мчащейся машины не так просто, как в гневе вскочить из-за стола. Порой, когда во время задолго планировавшейся поездки или обычной воскресной прогулки по Босфору между папой и мамой начиналась перепалка, мы с братом заключали пари: доедет папа до ближайшего моста или у первой же бензоколонки, вдавив тормоза и резко развернувшись, словно капитан, в гневе возвращающийся к пристани и сгружающий на нее только что погруженный товар, отвезет нас назад домой, а сам умчится на машине неведомо куда.

В те годы, когда ссоры между родителями только начинались, одна из них произвела на нас значительно более сильное впечатление — в ней было нечто поэтическое и возвышенное. Дело было в нашем летнем доме на Хейбелиаде. Во время ужина папа и мама одновременно выскочили из-за стола (мне нравились такие моменты, потому что, если за столом не было взрослых, я, как того хочется любому ребенку, мог есть не так, как требовала мама, а так, как хотелось мне самому) и убежали на второй этаж. Некоторое время мы с братом сидели за столом и молча прислушивались к крикам, доносящимся сверху, а потом, повинуясь некоему внутреннему голосу, побежали туда, наверх. (Повинуясь тому же внутреннему голосу, я открыл эти скобки и понял, что означает это только одно — я совсем не хочу вспоминать обо всех этих историях.) Обнаружив, что мы наблюдаем за ссорой, грозящей перерасти в потасовку, мама разом выставила нас в другую комнату и закрыла дверь. Там было темно, но сквозь матовые, с орнаментом в стиле ар нуво дверные стекла из другой, ярко освещенной комнаты в нашу проникал ровный свет. Мы с братом, застыв на месте, прислушивались к крикам и восклицаниям и смотрели на движущиеся по матовому стеклу тени, которые приближались друг к другу, соприкасались, расходились и снова сближались. От напряжения этой волнующей игры теней стекло порой дрожало, словно занавес во время представлений «Карагёза»,[35] и все было черно-белым.

9
Другой дом: Джихангир

Иногда папа и мама исчезали одновременно — так случилось, например, зимой 1957 года. Брата тогда отправили жить двумя этажами выше, к тете и ее мужу, а за мной однажды вечером приехала другая тетя и увезла меня к себе в Джихангир. Ей очень не хотелось, чтобы я расстраивался из-за переезда, и поэтому она была со мной очень мила. Как только мы сели в ее «шевроле», она сказала, что попросила шофера Четина купить мне йогурт. Хорошо помню, что йогурт меня не очень заинтересовал, а вот тот факт, что у тети есть шофер, — очень. Когда мы добрались до ее дома, построенного моим дедушкой (позже я буду жить в одной из его квартир), я был очень разочарован тем, что в доме нет лифта и батарей отопления, а квартиры маленькие. Я пытался привыкнуть к новой жизни и побороть печаль, но следующий день принес еще одно огорчение: проснувшись после обеда и лежа в постели в пижаме, я стал звать служанку, как делал это дома, чтобы она подняла меня и одела. Я был избалованным ребенком, и, конечно, совсем не ожидал получить в ответ довольно строгий выговор.

Может быть, поэтому все оставшиеся дни я напускал на себя важный вид и вообще держался немного высокомерно. Однажды, когда мы с тетей, ее мужем Шевкетом Радо, журналистом, поэтом и издателем (это он опубликовал факсимильное издание книги Меллинга), и их одиннадцатилетним сыном Мехметом (старше меня на семь лет) сидели и ужинали, а со стены на нас смотрел портрет моего симпатичного двойника в кепке, я как бы между делом сообщил, что премьер-министр Аднан Мендерес — мой дядя. Мое заявление не было встречено с подобающим уважением, на которое я рассчитывал; напротив, родственники стали хихикать и задавать мне насмешливые вопросы, что я воспринял как полную несправедливость — я ведь искренне верил, что мой дядя — премьер-министр.

Эта уверенность, впрочем, жила только в одном уголке моего сознания. Объяснялось это искреннее заблуждение вот чем: у моего дяди Озхана имя было из пяти букв, как и у премьер-министра, и заканчивалось тоже на «ан»; премьер только что улетел с визитом в Америку, где мой дядя жил долгие годы; фотографии и того, и другого я видел по несколько раз каждый день (премьер-министра — в газетах, а дядины — в самых разных местах бабушкиной гостиной), и на некоторых фотографиях они

были очень похожи. Повзрослев, я заметил (но это мне не очень помогло), что многие мои мнения, суждения, убеждения и предубеждения образуются по схожему принципу. Так, например, я честно верю, что у людей с одинаковыми и даже похожими именами и характер должен быть схож; что у незнакомых мне турецких и иностранных слов значения схожи со значением тех слов, на которые они похожи по звучанию; что женщина с ямочками на щеках должна быть так же мила, как другая женщина с ямочками на щеках, с которой я познакомился раньше; что все толстые люди похожи друг на друга; что бедняки образуют некое тайное общество, о котором мне ничего не известно; что между Бразилией и горохом есть некая связь (не только потому, что Бразилия по-турецки — *Brezilya,* а горох — *bezelye,* но и потому, что посередине бразильского флага изображено нечто вроде громадной горошины). Точно так же некоторые американцы искренне убеждены в существовании некоей связи между индейкой и Турцией.[36] Связь между премьер-министром и дядей, однажды возникнув в моем сознании, так никуда и не исчезла; точно так же, раз повстречав в одном ресторане дальнего родственника, подкрепляющегося яйцами со шпинатом (одной из замечательных особенностей Стамбула времен моего детства было то, что на улицах и в лавочках мне постоянно встречались родственники и знакомые), я и сейчас, полвека спустя, где-то в глубине души уверен, что он до сих пор сидит в том ресторане (давно закрывшемся) и продолжает есть яйца со шпинатом.

Итак, из-за одного из тех заблуждений, что так украшали и облегчали мою жизнь, меня не принимали всерьез в этом чужом доме, и это подвигло меня на более смелые эксперименты. Каждое утро, когда мой кузен уходил в Немецкий лицей, я доставал одну из его огромных, толстых, красивых книг (думаю, это было издание Брокгауза) и, положив ее перед собой на стол, начинал переписывать строчку за строчкой. Поскольку я не только не знал немецкого, но и вообще не умел читать и писать, это занятие было похоже не столько на списывание, сколько на тщательное срисовывание — предложение за предложением, страница за страницей. Закончив вырисовывать какое-нибудь слово, в котором встречались очень трудные для меня готические буквы *g* и *k,* я поступал, как художник времен Сефевидов,[37] рисующий тысячи листочков на чинаре: отрывал взгляд от бумаги и, давая глазам отдохнуть, устремлял его в окно, за которым виднелись холмы, спускающиеся к морю извилистые улочки, пустые участки, отведенные под строительство, и многоэтажные дома, а между ними — Босфор и плывущие по нему корабли.

В Джихангире, куда позже, обеднев, переедем и мы, я впервые узнал, что такое стамбульский квартал, и понял, что мой город — не хаотичное скопление квартир, жители которых, отгородившиеся друг от друга стенами, не знакомы и не знают, у кого кто умер и где что празднуют, а архипелаг кварталов, где все друг друга так или иначе знают. Глядя в окно, я видел в просветах между домами не только море и пароходы городских линий, постепенно становящиеся мне знакомыми, но и сады, еще не развалившиеся старые особняки, старинные стены и играющих рядом с ними ребятишек. Мимо нашего дома, как и мимо многих других домов, смотрящих на Босфор, проходила мощенная брусчаткой небольшая аллея. Прихотливо извиваясь, она спускалась к самому морю; снежными вечерами мы с тетей и кузеном, стоя у окна, смотрели, как детвора со всего квартала (душой я был с ними) шумно и весело каталась по обледеневшей брусчатке на санках, переносных лестницах и досках.

Центр турецкой киноиндустрии, которая в те годы выпускала почти по семь сотен фильмов в год и считалась по этому показателю второй в мире после индийской, находился в Бейоглу, на улице Ешильчам, в десяти минутах ходьбы от тетиного дома. Многие актеры жили в Джихангире, и поэтому на улице часто можно было встретить играющих всю жизнь одни и те же роли второго плана дядюшек и бледных, сильно накрашенных тетушек. Дети, завидев этих усталых актеров, известных им только по их ролям (например, пожилого толстого Вахи Оза, который играл исключительно старых волокит, ухлестывающих за молоденькими служанками), принимались бежать за ними следом. На вершине крутого холма, куда вела аллея и где в дождь скользили колеса легковых автомобилей и грузовиков, солнечным днем мог внезапно появиться микроавтобус; из него вылезали актеры, осветители и прочие члены съемочной группы. Сняв минут за десять любовную сцену, они тут же испарялись. Много лет спустя, когда мне случалось увидеть один из этих фильмов по телевизору, я понимал, что Босфор на заднем плане — такой же полноправный участник этих сцен, как изображающие любовь или ссору актеры.

Глядя из окна на Босфор, виднеющийся между домами, я понял еще вот что: в каждом квартале должен быть некий центр (как правило, это лавка), куда стекаются все сплетни и слухи, которые там обсуждаются и оцениваются, после чего вновь разлетаются по кварталу. В Джихангире таким центром была бакалейная лавочка, располагавшаяся на первом этаже нашего дома, чей хозяин, Лигор, как и большинство его соседей по дому, был греком. Чтобы купить у него что-нибудь, нужно было

спустить со своего этажа корзину на веревке, а потом прокричать вниз, что тебе нужно. Позже, когда наша семья переехала в этот дом, мама сочла для себя неудобным орать что есть мочи каждый раз, когда ей нужно купить хлеба или яиц, и придумала класть в корзину (значительно более элегантную, чем у соседей) записку с перечнем требуемых продуктов. Мой кузен, известный озорник, открывал окно для того, чтобы плюнуть на крышу какой-нибудь машины, тяжело взбирающейся на вершину холма, или бросить в нее гвоздь, а то и самодельную хлопушку. Даже сейчас, глядя на улицу из высокого окна, я невольно раздумываю: а не плюнуть ли на кого-нибудь из проходящих внизу людей?

Шевкет Радо, тетин муж, в юности пытался стать поэтом, а потом занялся журналистикой и издательским делом. Он выпускал самый в то время популярный еженедельный журнал Турции — «Хайат» («Жизнь»), но в пятилетнем возрасте меня это совершенно не интересовало, равно как и то, что он был знаком, дружил или сотрудничал со многими поэтами и писателями, чье творчество впоследствии оказало влияние на формирование моего видения Стамбула. Среди них, например, были Яхья Кемаль, Хамди Танпынар и Кемалеттин Тугджу, писавший мелодраматические (в диккенсовском духе) рассказы о жизни бедных кварталов для детей. Меня занимало лишь то, что дядя издавал сотни детских книг (например, сокращенное издание «Тысячи и одной ночи», сказки Андерсена, «Энциклопедию открытий и изобретений», сборники из серии «Братец Доган»). Тетя стала дарить нам эти книги, когда мы научились читать, и многие из них я заучил едва ли не наизусть.

Раз в неделю тетя отвозила меня в Нишанташи, чтобы я повидался с братом. Брат взахлеб рассказывал мне о том, как замечательно ему живется в нашем доме, как он ест на завтрак анчоусы и как весело они играют по вечерам, обо всех семейных радостях, которых мне так не хватало: игре в футбол с одним дядей, воскресных поездках по Босфору с другим, неизменном совместном прослушивании «Спортивного часа» и радиопостановок. В конце концов он говорил мне: «Не уезжай, оставайся с нами!»

Мне было очень тяжело покидать брата и уезжать из нашей квартиры. Вид ее закрытой двери наводил на меня тоску. Помню, однажды я, рыдая, изо всех сил вцепился в батарею рядом с дверью; родственники, собравшись вокруг, пытались сначала лаской, а потом и силой заставить меня разжать пальцы, но я, хотя мне и было очень стыдно, продолжал держаться за батарею, словно герой комикса, падающий в пропасть и в последний момент хватающийся за ветку.

Можно ли это объяснить привязанностью к дому? Наверное, ведь я и сейчас, пятьдесят лет спустя, живу в нем. Для меня, впрочем, имеет значение не красота комнат или находящихся в них вещей, а то, что дом — это центр моего внутреннего мира. Но причиной моей печали было и то, что я, пусть по-детски, не вполне понимая суть дела, переживал из-за ссор родителей и из-за того, что денег в семье оставалось все меньше, а имущественные споры между родственниками разгорались все сильнее. Вместо того чтобы трезво и здраво взглянуть на свои беды, попытаться с ними справиться или хотя бы честно о них поговорить, я забавлял себя игрой мысли, меняя фокус сознания, обманываясь или вовсе забывая о том, что меня тревожит, пока тревога не сменялась другим таинственным чувством.

Это чувство в моем внутреннем мире смешивалось с чувством вины; получающуюся в результате смесь я называю печалью. Печаль застилает наши глаза и скрывает реальность, облегчая нам жизнь; ее можно сравнить с паром, который оседает на окне, если в комнате кипит чайник, — это сравнение я выбрал еще и потому, что вид запотевшего окна неизменно вызывает у меня печаль. Мне нравится сидеть и смотреть на такое окно, а потом, подойдя к нему, рисовать что-нибудь пальцем на стекле; говоря о печали, я испытываю похожее чувство. Я рисую пальцем на стекле, и моя печаль растворяется и исчезает, а сквозь прочерченные линии становится видно, что происходит там, за окном… Но вид из окна рано или поздно тоже рождает печаль. Настало время разобраться в сути этого чувства, объединившего общей судьбой всех стамбульцев.

10
Печаль

«Хюзюн» *(hüzün),* турецкое слово, означающее «печаль», происходит из арабского языка. В Коране оно употребляется в значении, близком к современному турецкому — в двух айатах как *huzn* и еще в трех — как *hazen.* Пророк Мухаммед называет год, в который умерли его жена Хатидже и дядя Эбу Талиб, годом печали, «сент-уль-хюзн», и это подтверждает, что слово обозначало душевную боль, вызванную тяжелой утратой. Согласно тому, что мне довелось прочитать по этой теме, в последующие века значение этого слова в исламской философии развивалось, пока не возникло два довольно отличных друг от друга взгляда на то, что такое печаль.

Согласно одному из них, печаль — следствие чрезмерной привязанности к материальному миру и его удовольствиям. Иными словами, «если бы ты не был настолько привязан к этому бренному миру, то есть был бы истинным, хорошим мусульманином, тебя не заботили бы так потери, которые в этом мире неизбежны». Другая философская традиция, основанная на суфийском мистицизме, более положительно и сочувственно относится к чувству потери и боли, иначе понимает занимаемое им в жизни людей место; соответственно, суфии вкладывают иное значение и в слово «печаль». Согласно их точке зрения, печаль — это чувство неудовлетворенности, проистекающее от невозможности достичь желаемой близости к Аллаху, от того, что мы в этом мире не можем достаточно сделать для него. Подлинный суфий не переживает из-за таких мирских бед, как нехватка денег или недостаток вещей, и даже мысль о смерти не расстраивает его; нет, чувство неудовлетворенности и нехватки чего-то важного он испытывает из-за невозможности приблизиться к Аллаху и обогатить свою духовную жизнь. И отсюда следует убеждение, что отсутствие печали — не благо, а недостаток. Мы печальны, потому что не печалимся, мы страдаем, ибо страдаем недостаточно, — из таких умозаключений, доведенных до логического конца, проистекает неизменное почтение, которым пользуется печаль в исламской культуре. Это уважительное отношение — причина того, что стамбульцы последние два столетия так широко употребляют слово «хюзюн» в повседневной жизни и в литературе, и того, что наша музыка просто пропитана печалью. Однако одним лишь мистическим почтением к этому слову невозможно объяснить, почему в

последнее столетие на Стамбул опустилось такое неизбывное ощущение глубокой печали. Обращаясь лишь к истории слова и памятуя о том уважении, которое оно вызывает, невозможно уяснить себе, как же получилось так, что вот уже сто лет печаль — основное душевное состояние, передаваемое стамбульской музыкой, что в современной турецкой поэзии «печаль», и как слово, и как ощущение, настолько распространено (как некогда в поэзии дивана игра слов); невозможно понять, почему «печаль» стала центральным понятием жизни, синонимом неудач, апатии и замкнутости. Чтобы увидеть корни того концентрированного чувства печали, которое в детстве пробуждал во мне Стамбул, нужно обратиться к истории города после падения Османской империи и взглянуть на то, как последствия этого падения отразились на внешнем виде Стамбула, и на то, как они сказались на его обитателях. Печаль Стамбула — это и настроение его музыки, и главное понятие его поэзии, и определенный взгляд на жизнь, и состояние души, и некая субстанция, без которой Стамбул не был бы Стамбулом, — все сразу. Поэтому город несет свою печаль с гордостью и достоинством (или, по крайней мере, делает такой вид); поэтому же это состояние духа, с одной стороны, осуждается, а с другой — одобряется.

Чтобы в полной мере осознать противоречивость понятия, стоящего за словом «хюзюн», вернемся к мнению тех мыслителей, которые не считали печаль чем-то достойным уважения или поэтическим и рассматривали ее как своего рода болезнь. Эль-Кинди[38] полагал, что печаль связана не только с чувством утраты, возникающим, например, после смерти близкого человека, но и с такими болезненными состояниями духа, как гнев, любовь, ненависть и подозрительность. Такого же широкого взгляда на сущность печали придерживался философ и медик Ибн Сина (Авиценна), который советовал врачу для правильного определения диагноза безнадежно влюбленного юноши при подсчете пульса просить больного произносить имя возлюбленной. Этот подход исламских мыслителей классического периода к понятию печали схож с мыслями оксфордского профессора Роберта Бертона, написавшего в начале XVII века странную, но занимательную книгу «Анатомия меланхолии». По сравнению с этим 1500-страничным фолиантом труд Ибн Сины «Фи'ль Хюзн» выглядит тонкой брошюрой. Бертон дает обширный, энциклопедический перечень причин этой напасти: от любви, неудач, дурных поступков и страха смерти до различных блюд и напитков, и предлагает столь же обширный список лекарств от нее: выступая одновременно как философ и как медик, он советует своим читателям искать утешения в здравых суждениях

и в труде, вырабатывать в себе стойкость к ударам судьбы, не забывать о нравственности, самодисциплине и воздерживаться от чревоугодия — здесь мы видим, что между взглядами авторов этих книг, принадлежавших к совершенно разным культурам, существует определенное сходство.

И хюзюн, и меланхолия ассоциируются с темнотой, с черным цветом (слово «меланхолия», появившееся еще во времена Аристотеля, означает «черная желчь»); и то и другое слово некогда употреблялись в весьма широком значении, в целом означая сильную душевную боль, как сегодня слово «депрессия». Ключевая же разница между значениями этих слов заключается вот в чем: Бертон называл себя меланхоликом с гордостью и полагал, что меланхолия может привести к счастливому одиночеству. Он говорил, что иногда меланхолию нужно принимать с радостью, поскольку она развивает воображение; является ли одиночество ее причиной или следствием — неважно, главное, что меланхолии без одиночества не бывает. Для Эль-Кинди же (который рассматривал печаль и с суфийской точки зрения, то есть как следствие невозможности приблизиться к Аллаху, что является нашей общей целью, и как болезнь), как и вообще для всей классической исламской философии, главную ценность представлял не отдельный человек, а джамаат, община верующих. Печаль оценивалась им с точки зрения интересов общины как чувство, способствующее возвращению человека в джамаат, но в конечном счете, противоречащее духу объединенности общей целью.

Я начал с рассказа о чувстве, наполняющем ребенка, глядящего в запотевшее окно, а сейчас мы переходим к тому главному, что отличает хюзюн от меланхолии: последняя — это переживание одного человека, а та печаль, о которой говорю я, — это гнетущее чувство, объединяющее миллионы людей, все население огромного города — Стамбула.

Прежде чем попытаться рассказать об этой стамбульской печали, не похожей ни на какую другую, напомню, что главная цель художника, рисующего пейзаж, — сделать так, чтобы его картина вызывала у зрителя те же чувства, которые сам пейзаж вызывает у художника. Эта идея была особенно распространена в середине XIX века среди последователей романтизма. Бодлер, говоря о картинах Делакруа, замечает, что более всего его привлекает в них атмосфера меланхолии. Подобно романтикам и, впоследствии, декадентам, он употребляет это слово в несомненно положительном значении. Бодлер записал свои мысли по поводу Делакруа в 1846 году; через шесть лет после этого друг Бодлера, писатель и критик Теофиль Готье, посетил

Стамбул. В своей книге «Константинополь», которая оказала сильное влияние на таких стамбульских писателей, как Яхья Кемаль или Ахмед Хамди Танпынар, он пишет, что некоторые виды города чрезвычайно меланхоличны, при этом также употребляя это слово в положительном смысле.

Но я сейчас хочу рассказать не о меланхолии Стамбула, а о той, в чем-то похожей на нее, печали, которую мы, стамбульцы, принимаем с гордостью и переживаем все вместе, сообща. Чтобы почувствовать ее, нужно суметь увидеть ее истоки в городских пейзажах и в моментах, выхваченных из потока городской жизни. Я говорю о рано опускающихся сумерках и об отцах семейств с сумками в руках, спешащих домой по окраинным улочкам, освещенным тусклыми фонарями. Я говорю о пожилых продавцах книг, которые после очередного экономического кризиса, дрожа от холода в своих лавках, целыми днями впустую ждут покупателей; о парикмахерах, жалующихся, что народ стал меньше бриться; о застывших у пустых пристаней старых босфорских пароходах и о матросах, с ведрами в руках моющих палубу, одним глазом поглядывая на стоящий в отдалении черно-белый телевизор и думая о том, что скоро они пойдут в каюту спать; о детях, играющих в футбол на мощенных брусчаткой узких улочках среди машин; о женщинах с платками на головах и с пластиковыми пакетами в руках, молча ждущих на остановке автобуса, который все не едет; о пустых лодочных сараях рядом со старыми ялы; о чайных, под завязку набитых безработными; о терпеливых сутенерах, разгуливающих летними вечерами по самой большой городской площади в надежде отловить пьяного туриста; о толпах людей, спешащих зимними вечерами на пароход; о женах, заждавшихся возвращения своих мужей и выглядывающих, раздвинув занавески, в вечернюю темноту за окном; о стариках в тюбетейках, торгующих во дворах мечетей религиозными брошюрами, четками и розовым маслом; о похожих как две капли воды подъездах десятков тысяч многоквартирных домов, чьи стены от грязи, ржавчины, копоти и пыли потеряли всякий цвет; о муниципальных зданиях, где каждая дощечка в полу скрипела от шагов еще в те времена, когда они были особняками пашей; о сломанных качелях в парках; о корабельных сиренах, ревущих в тумане; о полуразрушенных городских стенах, сохранившихся с еще византийских времен; о рынках, пустеющих по вечерам; о руинах бывших дервишеских обителей; о чайках, неподвижно сидящих под дождем на ржавых, обросших мидиями и водорослями бортах барж; о еле заметном дымке, поднимающемся из единственной трубы огромного столетнего особняка в самый холодный день зимы; о толпе

мужчин, ловящих рыбу с Галатского моста; о холоде в читальных залах библиотек; об уличных фотографах; о запахе дыхания, вырывающемся из кинотеатров, которые раньше были роскошными заведениями с позолоченными потолками, а теперь превратились в салоны порнофильмов, посещаемые мужчинами с виноватым выражением на лицах; о проспектах, на которых после заката не встретишь ни одной женщины; о толпах, собирающихся жаркими, но ветреными днями у дверей контролируемых муниципальными властями публичных домов; о молодых женщинах, выстраивающихся в очередь у дверей лавок, торгующих мясом по сниженным ценам; о перегоревших лампочках, зияющих черными дырами в буквах призывов, что по религиозным праздникам натягивают между минаретами; о там и сям наклеенных на стены потемневших и порванных рекламных плакатах; об усталых старых долмушах, которые, скрипя и охая, ползут по крутым склонам грязных городских улиц — в любом западном городе эти американские раритеты 1950-х годов попали бы в музей, а здесь продолжают трудиться; об автобусах, набитых пассажирами; о мечетях, у которых постоянно крадут свинцовые облицовочные плитки и водосточные трубы; о кладбищах, похожих на чуждые этому городу участки какого-то другого мира, и о растущих там кипарисах; о тусклых корабельных огнях, зажигающихся по вечерам на пароходах, идущих из Кадыкёя в Каракёй; о маленьких детях, пытающихся продать каждому встречному пакет бумажных салфеток; о башнях с часами, на которые никто никогда не смотрит; о школьниках, читающих на уроках истории рассказы о победах османских времен и получающих дома побои; о то и дело объявляемых запретах выходить из дома в связи с подсчетом избирателей, переписью населения или поиском террористов, когда люди сидят по своим квартирам и в страхе ждут «уполномоченных»; о втиснутых в самый дальний угол газеты письмах читателей, которые никто не читает: «У мечети в нашем квартале проваливается купол, а ей лет триста семьдесят, не меньше — куда смотрит правительство?»; о ступеньках подземных и надземных переходов в самых оживленных местах города, каждая из которых разбита по-своему; о человеке, сорок лет подряд на одном и том же месте торгующем открытками с видами Стамбула; о нищих, появляющихся, откуда ни возьмись, в самых неожиданных местах, и о нищих, которые изо дня в день стоят на одном и том же углу и произносят одни и те же жалобные речи; о тяжелом запахе мочи, вдруг ударяющем в нос на оживленных проспектах, на пароходах, в пассажах и подземных переходах; о юных девушках, читающих колонки сестрицы Гюзин в газете «Хюрриет»; о

вечерней заре, окрашивающей окна в Ускюдаре в красновато-оранжевый цвет; о ранних утренних часах, когда все спят, и только рыбаки выходят в море; о невесть почему зовущемся зоопарком участке парка Гюльхане, где в клетке сидят две козы и три утомленные жизнью кошки; о выступающих по дешевым ночным клубам второсортных певцах, подражающих американским и турецким поп-звездам, и о первоклассных певцах тоже; о бесконечных уроках английского языка, на которых школьники за шесть лет с грехом пополам заучивают только «yes» и «no»; о переселенцах, стоящих на пристани в Галате; о валяющихся на рынках зимними вечерами после окончания торговли овощах, фруктах, мусоре, обрывках бумаги, пластиковых пакетах, мешках, коробках и ящиках; о красивых женщинах, закутанных в платки, которые, смущаясь, торгуются с рыночными продавцами; о молодых матерях, бредущих по улицам с тремя детьми; о заливе Золотой Рог, видном с Галатского моста до самого Эюпа; о продавцах бубликов, в ожидании покупателей разгуливающих по набережной, погрузившись в созерцание окрестностей; о сливающихся в единый протяжный гул корабельных гудках, доносящихся с Босфора в 9.05 утра 10 ноября, когда весь город застывает, чтобы почтить память Ататюрка; об источниках, которые столетиями верой и правдой служили горожанам, а ныне остались без кранов и превратились в бесполезные груды мрамора, и ступеньки их скрылись под слоями асфальта; о доме на маленькой улочке, в котором в годы моего детства жили представители среднего класса — доктора, адвокаты, учителя, — слушавшие по вечерам вместе со своими семьями радио, а теперь квартиры этого дома заставлены вязальными и пуговичными машинами, и за ними, чтобы вовремя успеть выполнить заказ, ночи напролет работают молоденькие девушки — за самую низкую в городе зарплату; о том, что все здесь разрушенное, поломанное и обветшавшее; об аистах, которые в начале осени летят с Балкан, из Восточной и Южной Европы на юг и по пути пролетают над Босфором и островами, и все, задрав головы, смотрят на них; и о толпах курящих папиросы мужчин, возвращающихся домой после матчей национальной футбольной сборной, которые в годы моего детства неизменно кончались крупным поражением, — обо всем этом говорю я.

И если вы чувствуете эту печаль, если вы ощущаете ее присутствие в городских пейзажах, на улицах, в людях, то порой она становится почти видимой, куда бы вы ни посмотрели, словно легкая дымка, поднимающаяся над Босфором, когда зимним днем из-за облаков вдруг выглянет солнце.

Здесь становится понятно, что печаль, о которой я говорю,

совсем не похожа на меланхолию, свойственную одинокому индивидууму, но сближается с понятием печали, используемым Клодом Леви-Строссом[39] в книге «Печальные тропики». Конечно, Стамбул, лежащий на 41-й параллели, по своему климату и рельефу отличается от тропических городов, и здесь нет такой безысходной нищеты, но ненадежность жизни, отдаленность от центров западной цивилизации и «таинственная атмосфера», затрудняющая западному человеку понимание существующих здесь отношений между людьми, сближает понятия печали Стамбула и той печали *(tristesse),* о которой Леви-Стросс говорит применительно к тропическим городам. Слово «хюзюн», как и слово *tristesse,* обозначает не болезненное чувство, от которого страдает один человек, а культуру печали, атмосферу печали, в которой живут миллионы людей.

Главное же различие между словами и теми чувствами, которые они обозначают, заключается не в том, что Стамбул намного богаче, чем Дели или Сан-Паулу (если вы сравните жизнь бедных кварталов этих городов, то найдете довольно много сходства), а в том, что славные времена побед и расцвета османской культуры закончились совсем недавно, и их следы заметны в Стамбуле повсюду. Какими бы забытыми, заброшенными и затерянными среди бетонных коробок ни были эти свидетели былого — не только величественные большие мечети и исторические здания, но и встречающиеся на каждой боковой улочке, на каждом углу арки маленьких акведуков, источники и небольшие мечети, — они вселяют в сердца живущих рядом с ними миллионов людей тоску об ушедшем имперском величии.

Все это совсем не похоже на ситуацию в европейских городах, где исторические здания, сохранившиеся со времен величия рухнувших империй Запада, бережно охраняются как музейные ценности, а горожане с гордостью показывают их приезжим, — стамбульцы просто живут среди своих развалин. Некоторым западным писателям и путешественникам это кажется очаровательным. Но для обитателей города, тонко чувствующих его атмосферу, руины служат напоминанием о том, что былое величие, богатство и культура ушли в прошлое, оставив нам бедность и растерянность. Этими строениями, такими же заброшенными, грязными и пыльными, как и всё вокруг, невозможно гордиться, как невозможно было гордиться особняками, горевшими один за другим в годы моего детства.

Это ощущение похоже на недоумение Достоевского, который, будучи в 1867 году в Швейцарии, никак не мог понять, почему женевцы питают такую неумеренную любовь к своему городу. «И

какие здесь самодовольные хвастунишки! (…) Всё у них, каждая тумба своя — изящна и величественна», — с раздражением пишет в одном из своих писем недолюбливающий Запад патриот Достоевский. Женевцы так гордились своим историческим городом, что, даже объясняя дорогу, говорили что-нибудь вроде: «Когда вы минуете этот великолепный, изящный бронзовый фонтан…» Стамбулец в схожей ситуации сказал бы: «Сверните у пересохшего источника и идите по улице мимо сгоревшего дома», — при этом ему было бы стыдно перед иностранцем за то, что тот увидит на этих бедных улицах. Возьмем первый попавшийся пример из Ахмеда Расима, одного из лучших стамбульских писателей (я еще буду говорить о нем ниже). В рассказе «Бедиа и прекрасная Элени» мы находим такие строчки: «Когда пройдете мимо бани Ибрагима-паши, в начале улицы на правой стороне увидите смотрящий на эту развалюху (то есть на баню) ветхий дом».

Более жизнерадостно настроенный стамбулец, возможно, укажет в качестве ориентира, как это сейчас делают почти все, какую-нибудь бакалейную лавку или кофейню (этого в современном Стамбуле предостаточно). Потому что самый действенный способ избавиться от тоски по былому величию — совершенно не думать об исторических зданиях и не обращать никакого внимания на их архитектурные особенности. Так и поступают погрузившиеся в бедность и невежество стамбульцы. Потеряв всякое представление о значении слова «история», жители города растаскивают камни из городских стен, чтобы использовать их для собственных построек, или подновляют их с помощью бетона. Другой способ избавиться от воспоминаний — построить на месте развалин «современный европейский дом». Но беспамятство и уничтожение следов прошлого не проходят даром — в конечном счете они только усиливают печаль, дополняя ее ощущением бессмысленности и нищеты жизни. Печаль, истоки которой — в разрушенном и утраченном прошлом и в бедности, уготовала стамбульцам новые потери и бедность еще худшую.

Здесь становится понятно, в чем заключается разница между понятиями *hüzün* и *tristesse*. Печаль, о которой Леви-Стросс пишет в своей замечательной книге, — это печаль западного человека, наблюдающего за жизнью огромных перенаселенных городов, у чьих обитателей нет надежды на лучшее будущее. Но эта боль, очень человечная по своей сути, не имеет отношения к переживаниям местных жителей — она мучает пришельца с Запада, испытывающего чувство вины и сострадания и твердо решившего избавиться от предрассудков и клише. А хюзюн — это не ощущение человека, смотрящего со стороны, это ощущение

стамбульца, вытекающее из обстоятельств его собственной жизни. Это чувство в той или иной степени, варьирующееся от жалости к самому себе до угрюмой тоски, пронизывает и классическую османскую музыку, и современную турецкую поп-музыку, и появившуюся в 1980-е годы музыку в стиле арабеск. Приезжающие в Стамбул гости с Запада чаще всего не ощущают ни этой печали, ни даже меланхолии. Даже Жерар де Нерваль, которого меланхолия в конце концов довела до самоубийства, был, по его словам, приятно возбужден красками города, напряженностью его жизни, пышностью церемоний и даже писал, что слышал, как женщины смеялись на кладбище. Возможно, это объясняется тем, что Нерваль побывал в Стамбуле в те дни, когда разрушение и утраты еще не вполне наложили на город свой отпечаток и Османская империя еще крепко стояла на ногах, но скорее всего — тем, что Нерваль, сочиняя свое пространное «Путешествие на Восток», наполнял его стереотипным «восточным колоритом», чтобы забыть о своей собственной меланхолии.

Говоря об источниках стамбульской печали — бедности и чувстве поражения и утраты, — возвращаюсь к тому значению, в котором слово «хюзюн» употребляется в Коране. Но печаль для Стамбула — не «болезнь, от которой можно вылечиться», и не «беда, из которой нужно выбраться». Это выбор, сделанный по доброй воле. Здесь можно вспомнить Бертона, который писал: «Меланхолия — самое сладостное из удовольствий. Ни одно другое с ней сравниться не может». Но там, где у Бертона — ирония, насмешка над самим собой, у стамбульца — гордость и даже надменное самодовольство. И в турецкой поэзии республиканского периода печаль понимается как неизбежная судьба, как чувство, придающее глубину переживаниям и тем спасающее человеческую душу. В то же время это чувство похоже на запотевшее стекло между поэтом и жизнью, и печальный отсвет жизни для поэта притягательнее, чем она сама. Стамбульцев заставляют замыкаться в себе бедность и подавленность. Это отступление перед трудностями жизни, оправдываемое суфийским уважением к печали, подается как сознательный выбор, которым можно гордиться, выбор, следствием которого и стали неудачи, нерешительность и бедность. Таким образом, печаль становится причиной (не только следствием, но в первую очередь именно причиной) всех жизненных бед и потерь. Герои фильмов, виденных мною в детстве и юности, равно как и реальные люди, которых я в те годы знал или рассказы о которых слышал, вели себя так, как будто им вовсе не хочется успеха, денег, счастья с любимой

женщиной — и причиной этому была печаль, жившая, казалось, в их сердцах с самого рождения. Печаль не только парализует волю стамбульца, но и дает ему замечательное оправдание.

Неистовое стремление к успеху в духе бальзаковского Растиньяка, столь свойственное жителям современных городов, не имеет ничего общего со стамбульской печалью, гасящей любые попытки противостоять порядкам и ценностям общины и весьма способствующей возникновению желания довольствоваться малым, быть таким, как все, и скромным во всем. Печаль, заставляющая придавать большое значение сплоченности и взаимопомощи — а без них не выжить во времена нужды и бедности, — дает возможность поставить с ног на голову понимание жизни и истории города. Представлять унижение и бедность не как следствие определенных исторических событий, а как достойный выбор, сделанный предками еще до твоего рождения, — такой образ мыслей, конечно, заслуживает уважения, но ведет он в тупик. Итак, неизлечимость, непобедимость и неизбежность бедности, растерянности и черно-белой палитры жизни стамбульцы воспринимают не как несчастье, а как достоинство.

Такой образ мыслей прямо противоположен самодостаточности, рационализму и индивидуализму, о которых еще в конце XVI века писал Мишель Монтень, а два с половиной столетия спустя — Флобер. Монтень, даром что сам был меланхоликом, уверял, что печаль — чуждое ему чувство. Он полагал, что неуместно писать это слово с большой буквы, как некоторые пишут слова «Знание», «Добродетель» и «Совесть», и одобрял итальянцев за то, что слово *tristezza* у них ассоциируется со злом и безумием.

Для Монтеня, интеллектуала, живущего один на один со своими книгами, печаль (так же как и смерть) — напасть, которую человек может с помощью силы разума победить в одиночку. Стамбульцы же свою печаль переживают сообща. Все современные турецкие писатели, поэты и музыканты, затрагивающие в своем творчестве тему Стамбула, придавали печали большое значение, говорили о ней с гордостью и каким-то торжеством, и в конце концов она стала для них некой определяющей силой, превращающей город в единую общину. Печаль лишает воли и обрекает на поражение героев романа Ахмета Хамди Танпынара «Спокойствие», самого замечательного романа, когда-либо написанного о Стамбуле. Печаль делает невозможной счастливую любовь. В черно-белых фильмах, действие которых происходит в Стамбуле, самые трогательные и правдоподобные любовные истории превращаются в мелодраму

из-за печали, с самого рождения преследующей влюбленного юношу.

В тот момент, когда мы отождествляем себя с печальными героями этих черно-белых фильмов (или романа Танпынара), несчастными из-за своей замкнутости, нерешительности, пассивности и из-за того, что безропотно принимают условия, предлагаемые им историей и окружающей действительностью, — в этот момент виды Стамбула, какими бы «прекрасными», несравненными, живописными или знакомыми они ни были, подергиваются дымкой все той же печали. Когда я порой переключаю каналы телевизора и, случайно попав на один из таких фильмов, начинаю с середины смотреть его черно-белые уличные сцены, в голове у меня крутится одна мысль. Герой, глядя в окно деревянного дома, стоящего на маленькой улочке, рисует в мечтах образ любимой, выходящей замуж за другого, или бродит по мощенным брусчаткой улицам, или вдруг, забыв свою скромность и нетребовательность, начинает гордо и решительно разговаривать с богатым и могущественным фабрикантом, или смотрит на черно-белый Босфор, — а я тем временем думаю, что печален он не от того, что жизнь его исковеркана и горька, а любовь — несчастна. Нет, эта убивающая волю печаль просто живет здесь, на стамбульских улицах, и избежать ее невозможно. Стало быть, думаю я, для того, чтобы понять историю героя и почувствовать его печаль, достаточно просто смотреть на эти пейзажи, на эти маленькие улочки. Герои романа «Спокойствие» (который, несомненно, является образцом более высокого искусства, чем эти фильмы), когда их отношения заходят в тупик, неизменно или отправляются на прогулку по Босфору, или печально бродят по узким улочкам, созерцая развалины.

Перед стамбульскими поэтами и писателями, разделяющими со всеми жителями города их печаль и в то же время, как автор «Спокойствия», не мыслящими жизни без чтения и европейской культуры и желающими быть современными, стоит проблема еще более сложная и скорбная: найти в своей душе место и для чувства общности, которое дает хюзюн, и для одиночества, которому их научили западные книги — одиночества рационального, как у Монтеня, или сентиментального, как у Торо.[40] Образ Стамбула, созданный в результате некоторыми из этих писателей, стал неотъемлемой частью города и очень сильно повлиял на меня. Эту книгу я писал, пребывая во внутреннем диалоге (порой переходящем в спор) с четырьмя печальными стамбульскими писателями, творившими этот образ — плод их напряженных раздумий, случайных встреч, прочитанных книг и

долгих прогулок по городу.

11
Четыре одиноких писателя

В детстве я почти не был знаком с их произведениями, разве что читал некоторые стихотворения толстого Яхьи Кемаля, великого поэта, знаменитого на всю страну. На газетных полосах, посвященных истории, мне встречались статьи историка-популяризатора Решата Экрема Кочу, вначале привлекавшие мое внимание благодаря иллюстрациям, изображавшим различные виды пыток, применявшихся в Османской империи. В десять лет я уже знал имена всех четверых, потому что их книги были в библиотеке отца, но влияния на формирование моего представления о Стамбуле эти книги в те годы не оказали. Когда я родился, их авторы были еще в добром здравии и жили в получасе ходьбы от моего дома; к тому времени, когда мне исполнилось десять, в живых оставался только один. Ни с кем из них я не встречался.

Позже, когда я мысленно воссоздавал образ города моего детства, написанное ими о Стамбуле слилось в единое целое с черно-белыми картинами, жившими в моем сознании, и теперь я не могу представить себе Стамбул, мой Стамбул без их незримого присутствия. Однажды, когда мне было тридцать пять лет и я мечтал написать большой роман в духе «Улисса»,[41] действие которого происходило бы в Стамбуле, я любил представлять себе, как эти четверо печальных писателей бродили по улицам, по которым я сам гулял в детстве. Например, толстый поэт постоянно обедал в ресторане «Абдуллах Эфенди» в Бейоглу; одно время туда раз в неделю ходила моя бабушка, мамина мама, после чего неизменно сварливо жаловалась, что кормят там отвратительно. Я воображал себе, как знаменитый поэт сидит и обедает, и тут мимо ресторана проходит Решат Экрем Кочу, разыскивающий материал для своей «Энциклопедии Стамбула». Потом этот питающий симпатию к молодым красивым юношам историк и журналист останавливается в переулке, чтобы купить у миловидного мальчика газету, в которой напечатана статья романиста Танпынара. А тем временем крайне редко выходящий из дома мемуарист Абдульхак Шинаси Хисар, помешанный на чистоте невысокий человек в белых перчатках, отчитывает лавочника за то, что тот не завернул купленную им для кошки печень в чистую газету. Я представлял себе, как герои моих раздумий порой в одно и то же время проходят мимо одних и тех же домов, бредут под одним и тем же дождем по одним и тем же

крутым улочкам, и пути их иногда пересекаются.

Я раскладывал составленные знаменитым хорватским картографом Первитичем для страховых компаний карты Бейоглу, Таксима, Джихангира и Галаты, и улица за улицей, дом за домом прослеживал воображаемые пути моих героев, напрягая память, чтобы во всех деталях представить каждый цветочный магазин и питейный дом, каждую кофейню и лавку, в которые они могли заходить. Они могли ощущать одни и те же запахи продуктов в лавках, просматривать в кофейнях одни и те же газеты, растрепанные от постоянного чтения, покупать что-нибудь у одних и тех же уличных торговцев, видеть одни и те же наклеенные на стены афиши, без которых город для меня — не город, рекламу на боках автобусов или, например, бегущую строку из лампочек, сообщающую последние новости, которая была одно время установлена на крыше дома (ныне разрушенного) на площади Таксим. Когда я вспоминаю об этих четверых, я каждый раз думаю, что неповторимым и уникальным город делает не его топография, не здания и не людские представления о нем, возникающие по большей части случайно, а совокупность случайных встреч его обитателей, живущих, как я, пятьдесят лет на одних и тех же улицах, их воспоминаний, слов, цветов и образов, накопленных их памятью.

И тогда я думаю о том, что в детстве, может быть, мне доводилось случайно встречаться с этими грустными писателями.

Конечно же, я должен был повстречаться с самым из них мне близким, романистом Танпынаром по прозвищу Кыртыпиль («Недомерок»), во время наших с мамой первых прогулок по Бейоглу. Мы заходили в книжный магазин «Хашетт», в котором часто бывал и он. Он и жил в то время в доме напротив, в маленькой съемной комнатке. Дом в районе Аязпаша, принадлежавший семейству Онган, куда меня привезли сразу после рождения, поскольку наш собственный дом тогда перестраивался, был расположен рядом с «Парк-Отелем», где провел свои последние годы Яхья Кемаль, наставник и учитель Танпынара, который, конечно же, не мог его не навещать. Потом, когда мы переехали в Нишанташи, я мог видеть их обоих в кондитерской лавке при отеле, где мама часто покупала торты. И Абдульхак Шинаси Хисар, на чьи воспоминания я ссылался, рассказывая о Босфоре, и Решат Экрем Кочу частенько бывали в Бейоглу, делали здесь покупки, обедали и ужинали. Вполне может быть, что я встречался и с ними.

Я понимаю, что похож на безумного поклонника какой-нибудь знаменитой кинозвезды, выуживающего из ролей и рассказов о жизни предмета своего обожания разнообразные

подробности и находящего в них совпадения и пересечения с собственной жизнью. Но ведь именно эти четверо, о которых я еще буду упоминать на страницах этой книги, написали стихи, романы, рассказы, статьи, воспоминания и энциклопедии, подготовившие меня к пониманию духа города, в котором я живу. Их творческий подход к сложным взаимосвязям между прошлым и современностью (или, как любят говорить европейцы, между Востоком и Западом) научил меня совмещать в своем сердце любовь к книгам и современному искусству с принадлежностью к жизни и культуре своего города.

В свое время каждый из этих писателей был на какой-то срок ослеплен блеском западной, в основном французской, литературы и западного искусства. Поэт Яхья Кемаль, в юности проведший девять лет в Париже, под влиянием стихов Малларме и Верлена обратился к идее «чистой поэзии», в противовес которой позже пытался создать «национальную поэзию». Ахмед Хамди Танпынар, считавший Яхью Кемаля своим вторым отцом, также был поклонником этих поэтов и еще Поля Валери. И эти двое, и Абдульхак Шинаси Хисар страстно любили французских прозаиков, в первую очередь Андре Жида. У столь почитаемого Яхьей Кемалем Теофиля Готье Танпынар научился искусству описания пейзажа.

Следствием этого юношеского (в чем-то даже детского) увлечения французской литературой и в целом западным искусством стало то, что свои произведения они тоже стали писать на западный манер, и пути назад уже не было. Несомненно, они хотели писать так, как пишут французы. Но при этом в глубине души они понимали, что, если они будут писать, как европейцы, им не удастся быть настолько же оригинальными в своем творчестве. Тем не менее французская культура внушила им не только современные представления о литературе, но и стремление к достоверности, самобытности и подлинности в творчестве. Ощущаемый ими конфликт между желанием писать по-западному и необходимостью быть «настоящим» был особенно мучителен в первые годы их литературной деятельности.

У Готье и Малларме они переняли еще кое-что, а именно приверженность идеям «искусства ради искусства» и «чистой поэзии» — их они также хотели примирить со стремлением к достоверности и самобытности. Некоторые их современники, принадлежавшие к тому же поколению и с тем же восторгом читавшие французских писателей, но других, переняли у своих учителей не тягу к подлинности, а стремление «быть полезным» и поучать, что вело их или к дидактизму, или же к увлечению злободневными политическими вопросами. Пока эти писатели

вдохновлялись примерами Гюго и Золя, Кемаль, Танпынар и Хисар раздумывали, как творчески переосмыслить идеи Верлена, Малларме и Пруста. Одним из препятствий на этом пути был турецкий национальный патриотизм, возникший после падения Османской империи как реакция на угрозу превращения Турции в колонию Запада (впоследствии он стал идеологией Турецкой республики).

Желание из эстетических соображений держаться подальше от дидактизма и политики входило в противоречие с требованиями идеологии. Благодаря приобретенным во Франции эстетическим взглядам эти писатели понимали, что в Турции, будучи только «современными», они никогда не смогут обрести столь же мощный и правдивый голос, как Малларме или Пруст. И они нашли выход из положения, нашли тему столь же подлинную, сколь и поэтичную: падение Османской империи и исчезновение великой османской цивилизации, в которой они родились и выросли. Глубокое переживание непоправимого распада османской цивилизации позволило им, избежав опасности впадения в примитивную ностальгию, похвальбу великой историей или агрессивный национализм и изоляционизм, которыми заразились столь многие их современники, приобрести особый взгляд на прошлое, превращающий рассказ о нем в поэзию. Стамбул, город, несущий на себе отпечаток огромных потерь, был их городом; они поняли, что, только обратившись в своем творчестве к печали его развалин, смогут обрести свой собственный, подлинный голос.

В своей знаменитой статье «Философия композиции» Эдгар Аллан По говорит, что сочиняя своего «Ворона» он в первую очередь думал о том, как написать произведение, проникнутое чувством меланхолии. Холодная логика, перенятая По у Кольриджа, подсказала ему ответ: смерть — вот самая печальная тема. Затем он задал себе вопрос: когда же печаль, связанная с темой смерти, приобретает поэтическую окраску? И с практицизмом инженера дал ответ: тогда, когда смерть соприкасается с красотой. Поэтому, объясняет По, он и сделал центром своей поэмы образ прекрасной умершей девушки.

Четыре писателя, с которыми я, возможно, встречался в детстве, несомненно, не следовали сознательно логике композиции, описанной По, но чувствовали, что обрести свой подлинный голос смогут, только если обратятся к прошлому с печалью от осознания безвозвратности гибели навсегда утраченной культуры. Когда они говорят о былой красоте, о жизни старого Стамбула, они вспоминают и о том, что красота эта ныне лежит мертвой у обочины, а город полон развалин, и это

придает прошлому ореол достоинства и поэтичности. Подобный многосторонний подход делал этих писателей в глазах авторитарного государства в достаточной степени патриотами (в турецкой терминологии — националистами) и спасал от репрессий, которым подверглись некоторые их современники, также интересовавшиеся историей. Мы можем без комка в горле читать воспоминания Набокова о той прекрасной и богатой аристократической семье, в которой он жил в детстве, поскольку автор, пишущий свои воспоминания не на родном языке и находясь не на родном континенте, в самом начале со всей открытостью заявляет, что речь пойдет о мире, давно и безвозвратно исчезнувшем. Соответствовавшие бергсонианскому духу той эпохи[42] игры с памятью и временем, практикуемые и нашими печальными писателями, равно как и стамбульские развалины, рождают доставляющую эстетическое наслаждение мимолетную иллюзию, что прошлое все еще может жить в настоящем.

Эта иллюзия сначала жила в наших писателях как игра, а затем окрасилась размышлениями о боли, смерти и их связи с красотой. Но главной для них всегда была мысль о том, что красоты ушедшей цивилизации больше не существует.

А. Ш. Хисар, со смешанным чувством ностальгии и горечи повествуя о «босфорской цивилизации», вдруг прерывает свой рассказ и говорит, словно это только что пришло ему в голову: «Все цивилизации, как люди, обречены на смерть. И мы знаем, что не вернуть нам наших умерших друзей; не воскресить и цивилизацию, чье время прошло».

Четырех писателей, о которых я говорю, объединяет то, что они опоэтизировали сознание невозвратности потери и рожденную им печаль. Чтобы почувствовать эту печаль, не обязательно обращаться к прошлому — достаточно бросить взгляд на окружающую действительность и увидеть, что прошлое продолжает жить в стамбульских руинах.

После Первой мировой войны, когда поэт Я. Кемаль и прозаик А. Х. Танпынар, желая создать образ печального османско-турецкого Стамбула, гуляли по окраинным кварталам среди развалин и сравнивали свои впечатления с описаниями западных путешественников, население города едва превышало полмиллиона. В годы моего детства, в конце 1950-х, оно составляло около миллиона, а к началу 2000 года выросло примерно до десяти миллионов человек. Если не брать в расчет берег Босфора, Пера и старый город, то получается, что население Стамбула по сравнению с временами печальных писателей выросло в десять раз.

Тем не менее образ Стамбула, существующий в сознании большинства его обитателей, создан этими писателями. Во многом так вышло потому, что за пятьдесят лет у всех этих миллионов людей не сложилось отчетливого образа нового Стамбула, существующего за пределами древнего центра города. Жители отдаленных районов, где, как известно бесстрастной статистике, есть дети, которые, дожив до десяти лет, еще ни разу не видели Босфора, согласно данным опросов, не чувствуют себя стамбульцами. В этом городе, застывшем между традиционной и западной культурами, чье население состоит из ничтожного сверхбогатого меньшинства и миллионов, живущих в бедных окраинных районах, в городе, постоянно открытом для переселенцев и разделенном на общины и землячества, за последние сто пятьдесят лет никто не чувствовал себя вполне дома.

Четырех писателей, о которых я еще буду упоминать на страницах этой книги, в первые десятилетия республики часто называли ретроградами и критиковали за нежелание сочинять утопии о торжестве европеизации, за упорное копание в развалинах прошлого и слишком увлеченное описание жизни Османской империи.

А они-то всего лишь хотели, живя в Стамбуле, не потерять способность черпать вдохновение сразу из двух великих источников, у двух великих культур, которые журналисты грубо называют Востоком и Западом. Они разделяли чувство общности, свойственное Стамбулу, потому что глубоко чувствовали его печаль; но, исследуя красоту, которую это чувство придает городу, они смотрели на нее глазами европейцев. Противоречить требованиям государства и разного рода общественных организаций и групп, быть европейцем, когда тебе хочется оставаться человеком Востока, и вести себя как человек Востока, когда от тебя требуют быть европейцем, — такой способ они инстинктивно избрали для того, чтобы достичь спасительного одиночества.

Поэт Яхья Кемаль, его друг мемуарист Абдульхак Шинаси Хисар, написавший о нем книгу, ученик, а впоследствии близкий друг Яхьи Кемаля романист Ахмет Хамди Танпынар, журналист и историк Решат Экрем Кочу — все они прожили одинокую жизнь, остались холостяками и умерли в одиночестве. Все они, кроме Яхьи Кемаля, умирая, с горечью чувствовали, что оставляют свою работу незавершенной, что книги их остаются недописанными, а те, что уже вышли, не нашли своих читателей. Что же касается самого значительного и знаменитого поэта Стамбула Яхьи Кемаля, то он на протяжении всей своей жизни отказывался

издать хотя бы одну книгу.

12
Бабушка

Если бы мою бабушку спросили, каких убеждений она придерживается, то она, конечно, ответила бы, что поддерживает реформы, начатые Мустафой Кемалем Ататюрком. Но по правде говоря, ее, как и всех остальных стамбульцев, что Восток, что Запад интересовали в весьма малой степени. Она и из дому-то выходила очень редко. Как большинство людей, для которых самая важная часть города — это их дом, она не интересовалась ни памятниками архитектуры Стамбула, ни его историей, ни красотами — даром что по образованию была учительницей истории. После помолвки с моим дедом, еще не выйдя за него замуж, она совершила довольно смелый по тем временам (шел 1917 год) поступок: пошла с ним в ресторан. Судя по тому, что они сидели друг напротив друга и в этом заведении подавали алкогольные напитки, это был, скорее всего, ресторан-казино в Пера. Когда дедушка спросил, что она будет пить (имея в виду чай или лимонад), бабушка, возомнив, что ей предлагают алкоголь, дала весьма резкий отпор. «Да будет вам известно, что я не употребляю спиртное!» — сказала она.

Сорок лет спустя, выпив за праздничным столом кружечку пива и придя в веселое расположение духа, бабушка, бывало, в который уже раз пересказывала эту прекрасно знакомую всем историю и после долго смеялась. Если бабушка предавалась воспоминаниям в будний день, сидя в своем неизменном кресле, она, посмеявшись, могла и всплакнуть о муже — так рано ушедшем от нас «исключительном человеке», которого я видел только на фотографиях. Пока она плакала, я пытался вообразить себе бабушку в молодости, весело разгуливающую по улицам, но представить эту пышную, неторопливую ренуаровскую матрону в виде тоненькой, высокой и нервной женщины с полотна Модильяни у меня получалось с трудом.

После того как дедушка, сколотив состояние, неожиданно умер от лейкемии, бабушка стала главой нашей большой семьи. Повар Бекир, состоявший при ней чуть ли не всю свою жизнь и бывший с ней в приятельских (до определенной степени) отношениях, величал ее «патроном». «Как изволите, патрон!» — с легкой иронией говорил он иногда, утомившись от ее бесконечных приказов и попреков. По дому бабушка расхаживала со связкой ключей в руках, но власть ее пределами дома и ограничивалась. Отец и дядя потеряли фабрику, унаследованную

ими в молодости от деда, их широкомасштабные строительные проекты кончались крахом, а деньги, вложенные в ненадежные инвестиционные проекты, сгорали, — и бабушка, избегавшая выходить на улицу, только потихоньку распродавала оставшееся от деда имущество, дома, этажи и, поплакав немножко, просила сыновей в следующий раз быть поосторожнее.

Утренние часы бабушка проводила в постели, лежа под большим толстым одеялом, прислонившись к уложенным друг на друга огромным подушкам из птичьего пуха. Каждое утро повар Бекир приносил в ее спальню широкий поднос с завтраком: яйца всмятку, оливки, брынза и поджаренный хлеб (от бабушки я перенял привычку пить сладкий чай, держа во рту кусок твердой брынзы.) Серебряный поднос он аккуратно ставил на расшитую цветами подушку, положенную посредине одеяла. (Между подушкой и подносом стелилась газета, несколько портящая картину). После этого бабушка приступала к своему долгому завтраку, сопровождавшемуся чтением газеты; тем временем к ней приходили первые утренние посетители. Первым заходил дядя — он не мог уйти на работу, не поцеловав свою маму на прощание. Потом, проводив мужа на работу, заходила тетя. Незадолго до того, как пойти в школу, я тоже каждое утро, как двумя годами раньше мой брат, стал приходить к бабушке — учиться читать. Взяв в руки тетрадку, я садился рядом с кроватью, опершись на одеяло, и пытался постигнуть тайну букв. Позже, пойдя в школу, я обнаружил, что учиться чему-нибудь у других мне очень скучно, а вид чистой страницы вызывает желание не писать на ней, а изрисовать, да так, чтобы свободного места не осталось.

Посреди нашего небольшого урока в комнату заходил Бекир и каждый раз говорил одну и ту же фразу: «Чем мы будем их сегодня кормить?»

Этот вопрос задавался с превеликой серьезностью, как будто речь шла о том, чтобы накормить целую больницу или армейскую казарму. Бабушка с поваром начинали обсуждать, кто и из каких квартир придет на обед и на ужин и что для них приготовить, в поисках вдохновения не забывая заглянуть в большой альманах, полный самых разнообразных сведений, — в конце каждой страницы там помещалось «меню дня»; а я тем временем наблюдал за вороной, кружащей вокруг кипариса на заднем дворе.

Бекир, не терявший, несмотря на все свои дела и заботы, чувства юмора, дал каждому из бегающих с этажа на этаж внуков своей хозяйки по прозвищу. Меня он называл Вороной — как он объяснил мне многие годы спустя, потому, что я все время

смотрел на ворон, сидевших на соседней крыше, и еще потому, что я был очень худым. Брат за привязанность к своему плюшевому медведю получил прозвище Нянька, один из моих кузенов, у которого были довольно узкие глаза, стал Японцем, другой, отличавшийся упрямством — Козой,[43] а третий, родившийся недоношенным — Шестимесячным. Многие годы он обращался к нам не по именам, а по прозвищам, и в голосе его мне слышались нотки нежности.

На бабушкином столике стояло такое же трехстворчатое зеркало, как на мамином. Мне очень хотелось туда заглянуть и увидеть свои теряющиеся в бесконечности отражения, но дотрагиваться до него было запрещено. Дело в том, что бабушка, по полдня не вставшая с кровати, установила свое зеркало (она никогда не использовала его для того, чтобы делать макияж) таким образом, чтобы в нем можно было видеть весь длинный коридор, черный ход, прихожую и гостиную до самого дальнего окна. Глядя в зеркало, бабушка могла, не вставая с постели, быть в курсе всех происходящих в доме событий и ведущихся в уголках разговоров, знать, кто пришел и кто ушел и не дерутся ли друг с другом внуки. В доме все время было темно, поэтому, глядя на маленькое отражение в зеркале, бабушка не всегда могла разобрать, что именно происходит у какого-нибудь перламутрового столика. Тогда она изо всех сил взывала к Бекиру, который тут же прибегал и докладывал, кто и что делает.

После обеда бабушка читала газету, иногда вышивала на наволочках цветы, а чаще всего курила сигареты и играла в безик в компании соседок своего возраста. Иногда, помню, они играли и в покер. В кроваво-красном мешочке из мягкого бархата, из которого бабушка доставала настоящие игральные фишки, лежали еще и старые османские монеты — с дырочками, насечкой на ребрах и монограммами султанов. Я любил, примостившись в уголке, играть с ними.

Одна из женщин, сидевших за игральным столиком, когда-то состояла в султанском гареме. Когда после падения империи члены семьи султана (язык не поворачивается сказать «представители династии») были вынуждены покинуть Стамбул, гарем был распущен, и она вышла замуж за одного из коллег моего деда. Мы с братом любили передразнивать чрезмерно учтивые манеры этой женщины, обращавшейся к бабушке, своей подруге, «эфенди» и «ханым-эфенди», не забывая между делом налегать на масляные лепешки и тосты с сыром, подаваемые Бекиром с пылу с жару. Обе они были дамами полными, но это их не тревожило, поскольку в их времена полнота не считалась пороком. Бабушка выходила из дома раз в сто лет, но когда это

все-таки должно было случиться (например, если ее приглашали в гости), приготовления начинались за несколько дней, и последним этапом подготовки было затягивание корсета. Для этого с первого этажа призывалась жена швейцара, Камер-ханым, которая изо всех сил принималась тянуть корсетные шнурки, да так усердно, что бабушка то и дело вскрикивала: «Потише, милочка!» Эта долгая сцена происходила за ширмой, а я сидел рядом и, вздрагивая, внимал доносящимся из-за нее звукам. Завораживала меня и работа специалистки по маникюру и педикюру, приходившей за несколько дней до намеченного «выхода в свет» и часами колдовавшей над бабушкиными ногтями, расставив по всей комнате тазики с мыльной водой, щеточки и множество других загадочных приспособлений. Но меня больше всего занимали не они, а шарики из ваты, которые маникюрша вставляла между пухлых пальцев бабушкиных ног, пока красила ногти в огненно-красный цвет: это зрелище было одновременно и притягательным, и отвратительным.

Двадцать лет спустя, когда все мы разъехались по другим домам и районам, бабушка по-прежнему продолжала жить в доме семейства Памук. Каждый раз, когда я утром приходил к ней в гости, я заставал ее все в той же постели, возлежащей в полутьме в окружении сумочек, газет и подушек. В комнате стоял все тот же, ни на что не похожий аромат, смесь запахов мыла, одеколона, пыли и дерева. Среди вещей, с которыми бабушка никогда не расставалась, была и толстая тетрадь в кожаном переплете. Каждый день она что-нибудь записывала в эту странным образом походившую на книгу для ведения протоколов тетрадь: счета, расходы, планы, воспоминания, что было съедено за обедом, какая стоит погода. Возможно, потому, что когда-то бабушка изучала историю, она любила иногда с иронией вспомнить церемониальный язык османских времен, и этот «протокол» давал ей такую возможность. Другим следствием интереса к истории были имена ее внуков — каждый носил имя какого-нибудь победоносного султана времен расширения Османской империи. Всякий раз, входя в комнату, я целовал ей руку, и она давала мне деньги, которые я, ничуть не смущаясь, с радостью прятал в карман. После того как я во всех подробностях рассказывал, что поделывают мама, папа и брат, она иногда зачитывала мне кое-что из своей тетради.

«Приходил внук Орхан. Очень умный, милый мальчик, учится в университете на архитектора. Я дала ему десять лир. Если будет угодно Аллаху, когда-нибудь он добьется успеха, и тогда имя Памуков снова будут произносить с уважением, как во времена его деда».

Прочитав это, она с загадочной и ироничной улыбкой принималась смотреть на меня (очки делали взгляд ее пораженных катарактой глаз еще более странным), и я пытался ответить ей такой же улыбкой, гадая, что прячется за ее иронией: насмешка над собой или понимание того, какая, в сущности, нелепая штука — жизнь.

13
Школьные радости и школьная скука

Пойдя в школу, я узнал, во-первых, что некоторые люди глупы, а во-вторых, — что среди этих глупцов встречаются настоящие идиоты. Я был еще слишком маленьким, чтобы понимать, что у людей вежливых и благовоспитанных принято вести себя так, будто разделения людей на умных и глупых не существует (равно как и религиозных, расовых, классовых, имущественных и — называемых все время в последнюю очередь — культурных различий). Поэтому, стоило учительнице задать классу какой-нибудь вопрос, я тут же, дрожа от нетерпения, поднимал руку, чтобы всем стало понятно: я знаю ответ.

В последующие месяцы и годы это превратилось в привычку. И одноклассники, и учительница успели уже довольно-таки отчетливо осознать, что я — хороший и умный ученик, но я все равно продолжал тянуть руку, показывая, что у меня есть ответ на любой вопрос. Тогда учительница стала реже спрашивать меня, давая возможность ответить другим. Через некоторое время моя рука стала подниматься уже автоматически, вне зависимости от того, знал я ответ или нет. В своем стремлении произвести хорошее впечатление я был похож на человека, который, даже одеваясь просто, не забывает дополнить свой костюм каким-нибудь очень дорогим украшением или галстуком, чтобы было видно, что он богат; но мое поведение объяснялось и тем, что я чувствовал своего рода благоговение перед учительницей и хотел ей помочь.

В школе я с радостью признал авторитет и власть учительницы. Дома, в семейной сутолоке, довольно сложно было понять, кто здесь главный, за столом все говорили одновременно, перебивая друг друга. Семейная любовь и дружба как бы сами собой подразумевали необходимость общаться друг с другом, разговаривать, вместе обедать, вместе слушать радио. От отца ощущения власти и авторитета не исходило вовсе, поскольку дома он бывал мало, а то и совсем исчезал. Более того, он никогда не ругал нас с братом, даже не хмурил брови, если мы делали что-то не то. Впоследствии он иногда представлял нас друзьям как своих младших братьев, и у него было на это право. Так что единственным «авторитетом» для меня в семье была мама, но ее власть не была навязана мне извне, она проистекала из моей собственной потребности в ее любви и ласке. Поэтому власть учительницы над двадцатью пятью учениками нашего

класса вызывала у меня удивление и восхищение.

Возможно, я отчасти отождествлял учительницу с мамой, и именно поэтому мне постоянно хотелось заслужить ее одобрение. «Сложите руки и сидите тихо», — говорила учительница, и я, прижав руки к груди, так терпеливо и сидел весь урок. Но постепенно удовольствие от того, что я знаю ответы на все вопросы, решаю арифметические задачи быстрее всех и получаю самые хорошие оценки, начало блекнуть, и время на уроках стало течь медленно, порой просто невыносимо медленно.

Я отрывал взгляд от глупого толстого мальчика, пытающегося написать что-то на доске, или от девочки, смотревшей на всех учеников, учителей, школьных уборщиц и вообще на весь мир с одним и тем же благостным, доброжелательным и приветливым выражением на лице, и принимался глядеть в окно, на верхушку каштана, видневшуюся в просвете между домами. На ветку садилась ворона, и я принимался внимательно за ней наблюдать. Поскольку я смотрел на ворону снизу, мне было видно и плывущее над ней одинокое облачко, меняющее свои очертания: вот оно похоже на лисий нос, а вот уже на собачью голову. Мне хотелось, чтобы облачко так и плыло себе дальше в виде собаки, но немного спустя оно становилось похожим на одну из сахарниц, стоящих за вечно закрытыми стеклянными створками бабушкиного буфета, и тогда я чувствовал, как меня тянет домой. Стоило мне представить безмолвный, успокаивающий полумрак нашего дома, как из него вдруг появлялся отец, и мы все вместе отправлялись на воскресную автомобильную прогулку по Босфору. Тем временем в доме напротив открывалось окно, и служанка, высунувшись из него, встряхивала пыльную тряпку, а потом принималась рассеянно, точь-в-точь как я, смотреть вниз, на улицу, которой мне со своего места не было видно. Что, интересно, там происходит? С улицы доносился цокот лошадиных копыт по брусчатке и стук колес, потом слышался хриплый голос: «Старье берем!» Служанка провожала старьевщика взглядом и скрывалась в глубине квартиры, а рядом с закрытым окном появлялось новое облачко, плывущее с той же скоростью, что и предыдущее, но в другую сторону. Я смотрел на отражающееся в стекле облачко и думал, не возвратилось ли это моя лиса-собака-сахарница? Но тут я замечал, что ученики в классе тянут руки вверх, и тоже охотно и с уверенным видом поднимал руку, хотя и не слышал вопроса учительницы. Еще до того, как я начинал по ответам других учеников понимать, о чем был вопрос, в моем затуманенном мечтами сознании присутствовала непонятная уверенность в том, что я замечательно знаю ответ.

С унылыми классными комнатами, в которых мы долгие годы

сидели рядами, по два человека за партой, меня примиряло не только то, что здесь можно узнать что-нибудь новое или получить похвалу от учительницы, — гораздо интереснее была возможность лучше узнать своих одноклассников. Глядя на них, я с удивлением, восхищением, а иногда и с жалостью понимал, насколько они не похожи на меня. Был, например, один мальчик, который, когда его просили прочитать что-нибудь на уроках турецкого языка, все время перескакивал через строчки. Как он ни старался, он ничего не мог с этим поделать, что очень веселило весь класс. В начальной школе за одной партой со мной некоторое время сидела девочка с длинными рыжими волосами, которые она собирала в конский хвост. Ее сумка всегда была неряшливо набита надкусанными яблоками, бубликами, просыпанными кунжутными семечками, ручками и бантами, но меня восхищал запах лаванды, исходивший и от сумки, и от самой девочки, а еще ее способность смело называть вещи своими именами и, не смущаясь, говорить о чем угодно. За выходные я успевал по ней соскучиться. Другая девочка, очень маленького росточка, очаровывала меня своей хрупкостью и изяществом, а третья удивляла тем, что постоянно рассказывала, ничего не утаивая, обо всем, что происходило у нее дома. Почему эта девочка по-настоящему плачет, когда читает стихи об Ататюрке? Как может другая врать, прекрасно зная, что ей не поверят? Почему у третьей все такое чистенькое и аккуратное: сумка, тетрадка, передник, волосы, речь?

Глядя на проезжающие по улице машины, я непроизвольно видел в их фарах, бамперах и окнах черты непохожих друг на друга лиц; так и некоторых одноклассников я мысленно сравнивал с какими-нибудь животными. Например, думал я, этот остроносый мальчик похож на лисицу, тот здоровяк — на медведя (да его все так и называли), а его сосед с ершистыми волосами — на ежа… Помню, как девочка-еврейка по имени Мари рассказывала нам про иудейскую пасху, про то, как ее бабушка целыми днями даже не включала электричество. Другая девочка как-то сказала нам, что однажды вечером, стоя в своей комнате, она так быстро обернулась, что смогла заметить тень ангела, — эта жутковатая история никак не шла у меня из головы. Помню еще одну девочку, у которой были очень длинные ноги и которая носила очень длинные гольфы, — у нее всегда был такой вид, будто она вот-вот заплачет. Когда ее отец, министр, погиб в авиакатастрофе, в которой премьер-министр Аднан Мендерес не получил ни единой царапины, мне стало казаться, что она потому плакала, что знала об этом заранее. У многих учеников, как и у меня, были проблемы с зубами, некоторые носили на зубах

скобки. Поговаривали, что на верхнем этаже флигеля, в котором находилось лицейское общежитие и спортивный зал, рядом с санитарным пунктом находится и зубоврачебный кабинет; если учительница сильно сердилась, она могла пригрозить расшалившемуся ученику, что отправит его туда. За менее серьезные провинности учеников ставили в угол между дверью и стеной, на которой висела доска, спиной к классу. Разновидностью этого наказания было стояние на одной ноге, но оно почти не применялось, потому что тогда внимание всего класса сосредоточивалось не на уроке, а на том, сколько наказанный бедолага сможет простоять в таком положении. Впрочем, малолетние разбойники, даже стоя на одной ноге, продолжали проказничать: плевали в мусорную корзину или строили классу рожи, пока учительница не видит. Эти проделки меня и восхищали, и злили, потому что я завидовал этим храбрецам.

После я искренне поверил в дух ученического братства и взаимовыручки, но порой мне доставляло удовольствие смотреть, как учителя отчитывают, наказывают, унижают и бьют ленивых, проказливых, дерзких или глупых учеников. У нас в классе была одна чрезмерно общительная и активная девочка, которую привозил в школу шофер. Что бы ни попросила ее учительница, она все делала с величайшим удовольствием, например, выходила к доске и, жеманясь, пела по-английски «Jingle Bells». Но когда она не выполняла домашнюю работу, хорошие отношения с учительницей не спасали ее от нагоняя, и ее унижение не вызывало у меня никакого сочувствия. Каждый раз во время проверки домашнего задания двое-трое пришедших неподготовленными учеников делали вид, что задание-то они выполнили, да только никак не могут найти его в своей тетрадке. Учительница им, конечно, не верила, и я никак не мог понять, зачем они это делают. «Почему-то никак не находится», — лепетали они в страхе, пытаясь отсрочить наказание хоть на несколько секунд, но оплеуха, которую они получали в результате, была от этого только больнее, и сильнее болело ухваченное учительницей ухо. В наших учебниках истории говорилось об орудиях жестоких наказаний, принятых в школах османских времен и отмененных при Ататюрке после установления республики: о длинной палке, которой учитель мог бить учеников, не вставая с места, и о фалаке,[44] описываемой Ахметом Расимом (1865–1932) в его воспоминаниях о детстве и школьных годах. Но даже в нашей платной частной школе злые старые учителя османской еще закалки находили новые способы унижать и запугивать слабых: вместо палки и фалаки они

использовали некоторые современные, «прогрессивные» школьные приспособления, например, треугольные линейки французского производства, в края которых были вставлены тонкие и твердые полоски слюды.

В те тяжелые минуты, когда ученика, переполнившего чашу терпения учителя упорным невыполнением домашнего задания или проказами, выводили к доске, чтобы перед всем классом побить и унизить, мое сердце начинало биться быстрее, а мысли — путаться. Позже, когда мы подросли и от добрых, относившихся к нам по-матерински учительниц попали к утомленным жизнью, сердитым старым учителям физкультуры, музыки, религии, процедуры наказания стали совершаться еще чаще, и каждый раз я встречал их с радостью, потому что это было хоть какое-то развлечение посреди утомительно-скучного урока. Если ученик стоял, потупив взгляд, словно кошка, опрокинувшая стакан с молоком, если он признавал свою вину и убедительно просил прощения, наказание было легким. Но если он каялся недостаточно убедительно, если не давал какого-нибудь объяснения своему проступку — не мог выдумать или не хотел, предпочитая лжи наказание, если он, слушая выговор учителя, строил классу смешные рожи, если, неуклюже соврав, тут же принимался искренне клясться, что больше врать не будет, если, получив взбучку и еще не придя в себя, тут же делал новую ошибку, словно зверек, мечущийся в ловушке и все больше в ней запутывающийся, — такой ученик получал свое сполна. Эти сцены научили меня пониманию людей и жизни лучше любых философских книг и социологических журналов.

Порой, если наказывали девочку, которую я издали любил, — потому что она была аккуратная, симпатичная или трогательно-хрупкая, — я, глядя на ее покрасневшее лицо и наполненные слезами глаза, испытывал желание прийти на помощь. Если толстый светловолосый мальчик, изводивший меня на переменах, попадался на разговорах во время урока и получал пощечину, я смотрел на это с бессердечным удовольствием. Был в нашем классе один ученик, тощий и заносчивый, которого я считал безнадежным идиотом: его необъяснимое упрямство доводило учителей до белого каления. Мне было жалко смотреть, как по его щекам текут слезы, но в чем-то я понимал и учителя. Некоторым учителям, казалось, нравилось вызывать учеников к доске не для того, чтобы проверить их знания, а для того, чтобы унизить, выставив на посмешище их невежество; а некоторые ученики, похоже, были не прочь подвергаться унижениям, только бы не исправляться. Некоторые учителя приходили в бешенство, увидев тетрадку с обложкой неправильного цвета, другие могли

вдруг ни с того ни с сего влепить пощечину за тихий шепот, на который в другое время не обратили бы внимания; некоторые ученики, даже когда им задавали вопрос, ответ на который они знали, впадали в ступор, словно заяц, попавший в свет автомобильных фар, другие же (эти меня восхищали больше всего), если не знали ответа, принимались говорить о чем-то другом, им известном, простодушно надеясь, что это сойдет им с рук.

Я наблюдал эти страшные сцены, начинающиеся с брани или с разбрасывания тетрадок и учебников, меж тем как весь класс сидел в мертвом молчании, и благодарил небеса за то, что я был одним из тех счастливцев, которым не приходилось испытывать подобных унижений. Таких было примерно треть класса. В отличие от некоторых государственных школ, где в одном классе учатся дети из богатых и бедных семей, в нашей частной школе разделение на тех, кого унижают, и на любимчиков не имело никакого отношения к материальному положению учеников. Во время перемен, когда мы все становились просто детьми и все вместе бегали и играли, мы с радостью забывали про эту ненавистную мне незримую черту, разделяющую нас. Но стоило учителю взойти на кафедру, всем своим видом излучая уверенность в собственной власти, как эта черта вновь возникала. Глядя на унижения и побои, которым подвергались мои одноклассники, я задавался мучившим меня вопросом: как могут некоторые люди быть такими ленивыми, такими слабовольными, такими бесчувственными, такими безмозглыми, просто «такими»? Но ответа мне не давали ни комиксы (отрицательные персонажи в них всегда изображались с перекошенным ртом), ни мои собственные детские размышления, и вопрос забывался. Из всего этого я понял, впрочем, что заведение, называемое школой, не дает ответа на главные вопросы, а только помогает нам принять их как неизбежную реальность жизни. Поэтому до тех пор, пока не перешел в лицей, я усердно тянул руку, чтобы остаться по эту, более спокойную сторону черты.

И все же я догадывался, что главное, чему я научился в школе, — не только принимать бесспорные жизненные «истины», но и видеть их очарование. В первые школьные годы учительница по любому поводу прямо посреди урока часто заставляла нас спеть какую-нибудь песенку. Я не любил эти английские и французские песни, не понимал их слов, но мне нравилось, притворяясь, что пою, наблюдать за одноклассниками. (В переводе на турецкий они пели что-то вроде «Дядя сторож, дядя сторож, праздник пришел, свисти в свисток».) Низенький пухлый мальчик, полчаса назад ливший слезы из-за того, что снова забыл

дома тетрадку, теперь радостно пел, изо всех сил разевая рот. Девочка, то и дело заправлявшая свои длинные волосы за уши, снова принималась за свое, продолжая петь. И тот толстый хулиган, что лупил меня на переменах, и стоящий рядом гораздо более коварный и умный тип, который, несмотря на всю свою подлость, был достаточно осмотрителен, чтобы оставаться на моей, правильной стороне от незримой черты, — оба сейчас с ангельскими выражениями на лицах плавали в облаках музыки. Аккуратная девочка посреди песни еще раз проверяла, правильно ли лежат ее тетрадки и пенал; умная и прилежная девочка, которая, если я спрашивал ее, встанет ли она со мной в пару, когда нас строили в колонну по два, чтобы идти из сада на урок, всегда лишь молча протягивавшая мне руку в ответ, изо всех сил старалась петь как можно лучше; и даже жадный толстый мальчик, всегда прикрывавший на контрольных свой лист бумаги рукой, словно баюкая младенца, — и он сейчас, разводя руки в стороны, казался щедрым. Я смотрел, как увлеченно поет безнадежный тупица, каждый день получавший побои, как один негодяй дергает за волосы стоящую перед ним девочку, как другая девочка, та, что все время плачет, старательно поет и при этом посматривает в окно, — и тут замечал, что моя соседка, девочка с рыжим хвостиком, тоже за всем этим наблюдает. Наши взгляды встречались, и мы улыбались друг другу. Я не понимал слов песни, но, когда она доходила до места, где нужно было петь «ла-ла-ла» и все начинали петь громче, я с радостью присоединялся к общему хору, а потом бросал взгляд за окно и начинал мечтать о том, что сейчас, совсем уже скоро, прозвенит звонок, весь класс тут же с радостным гулом бросится к своим пальто и сумкам, и я пойду домой, неся в одной руке портфель, а другой держась за огромную ладонь швейцара, который — пусть до дома всего три минуты ходьбы — придет забрать нас с братом из школы. Я буду усталым от школьной суеты, но мысль о том, что скоро я увижу маму, заставит меня ускорить шаги.

14
Онещерпаз ьтавелп

Когда я научился читать и писать, в моем мире фантазий засияли созвездия букв. Раньше в этом мире существовали истории, созданные моим воображением или позаимствованные из картинок в книжках, теперь же в нем поселились образы, построенные только из букв и стоящих за ними звуков. Я непроизвольно читал все, что только попадалось мне на глаза: названия фирм на мусорных ящиках и фильмов на афишах, названия магазинов и ресторанов, заголовки новостей в газетах, рекламные объявления, всевозможные надписи на бортах грузовиков, на оберточной бумаге, на дорожных знаках, на пакетиках с корицей, на кухонной масленке, на коробке с мылом, на пачке бабушкиных сигарет и на упаковках с лекарствами. Иногда я повторял прочитанное вслух, и не важно было, что часто я даже не понимал, что означают эти слова, — как будто в каком-то участке моего мозга, где-то между зрительным центром и центром понимания, была установлена машинка, преобразующая буквы в слоги и звуки. Этот приборчик никогда не прекращал работу, даже когда я сам этого не сознавал, как радио, на которое в шумном кафе никто не обращает внимания.

По пути из школы домой, каким бы усталым я ни был, мои глаза сами собой находили буквы, и машинка в моей голове говорила: «Сохранность ваших денег и уверенность в будущем. Остановка по требованию. Апыкоглу — настоящие турецкие колбасы. Дом семейства Памук».

Дома мой взгляд приковывали заголовки в бабушкиной газете: «Кипр: независимость или смерть. Открылось первое в Турции балетное училище. Американец, поцеловавший на улице турецкую девушку, чудом избежал линчевания. На улицах города теперь запрещено крутить хула-хуп».

Иногда буквы выстраивались в таком странном порядке, что волшебным образом напоминали мне те времена, когда я только начинал учить алфавит. Это относилось, например, к одной надписи, буквы которой располагались на плитках тротуара рядом с резиденцией губернатора (она находилась в Нишанташи, в трех минутах ходьбы от нашего дома). Когда мы с мамой и братом шли из Нишанташи в сторону Таксима и Бейоглу, я прыгал по пустым плиткам, перескакивая через буквы, словно играл в классики, и читал эту надпись задом наперед: «ОНЕЩЕРПАЗ ЬТАВЕЛП».

Этот магический приказ первым делом пробуждал во мне желание немедленно плюнуть, но в двух шагах у дверей губернаторской резиденции стояли на посту полицейские, поэтому меня начинали одолевать тревожные раздумья: а что, если я зазеваюсь и не замечу, как из моего открытого рта сам собой вылетит плевок? Я догадывался, что плюют на мостовую, как правило, взрослые, вырастающие из тех тупых, бесхарактерных и нахальных детей, которые то и дело получают взбучку от учителей в школе. Нам действительно встречались люди не только плюющиеся, но даже и сморкающиеся на мостовую, потому что у них не было носового платка, но, по правде говоря, в те годы среди стамбульцев эта вредная привычка не была настолько распространена, чтобы писать на тротуарах подобные запреты. Позже, когда я читал про китайские плевательницы и про то, как много любителей плевать среди некоторых других народов, я спрашивал себя, почему же этот запрет, не очень-то нужный на стамбульских улицах, так глубоко впечатался в мою память. (До сих пор, когда речь заходит о Борисе Виане,[45] мне первым делом вспоминаются не лучшие его романы, а довольно скверная книжка под названием «Я приду плюнуть на ваши могилы».)

Может быть, надпись на тротуаре в Нишанташи так въелась в мою память потому, что как раз в то время, когда в моей голове появилась работающая сама по себе читательная машинка, мама начала настойчиво внушать нам с братом, что можно, а что нельзя делать за пределами дома, иными словами, как вести себя с чужими людьми. В те дни она часто, подозвав нас к себе, принималась давать всевозможные наставления, например, о том, что ни в коем случае нельзя покупать лакомства у грязных уличных торговцев, а придя в ресторан, нельзя заказывать котлеты, потому что фарш для них делается из самого плохого, жирного и несвежего мяса. Я слушал эти наставления, и они путались с тем, что читала между делом машинка в моей голове: «мы храним мясо в холодильнике». В другой раз мама напоминала нам о том, что на улице нужно держаться подальше от незнакомых людей, а машинка тем временем говорила: «Лицам до 18 вход воспрещен». «Становиться на подножку запрещено и опасно», — гласила надпись у задней двери трамвая, и этот официальный запрет замечательно укладывался в моей голове, потому что мама была с ним согласна и говорила, что нам даже и думать не пристало о том, чтобы кататься на подножке, не платя за проезд. Это относилось и к надписи на корме парохода: «Подходить к винтам запрещено и опасно». Голос мамы, говорящей мне, чтобы я не бросал мусор на землю, сливался в

моей голове с голосом государства: «Не мусорить!», но написанные на стене от руки, совсем не по-государственному корявые буквы, говорящие что-то о матери того, кто мусорит, сбивали меня с толку. Когда мама внушала нам, что мы никогда и никому, кроме бабушек, не должны целовать руку, в моей памяти всплывала надпись с банки анчоусов: «Приготовлено без прикосновения рук». Какая-то связь, возможно, существовала между надписями «Цветы не рвать» или «Не прикасаться» и часто повторяемыми мамой на улице словами: «Не показывай пальцем!» Но как я должен был понимать надпись «Из фонтана не пить», если в этом фонтане никогда не было воды? Зачем в парках, где не было ни единой травинки, одна голая земля, стояли таблички «По газонам не ходить»?

Чтобы лучше понять «цивилизаторскую миссию» этих табличек, наводняющих город предупреждениями, предостережениями и угрозами, обратимся к тому, что писали в газетах стамбульские журналисты, авторы постоянных колонок, и их предшественники, авторы так называемых «писем о городе».

15
Ахмет Расим и другие стамбульские журналисты

Дело было в конце 1880-х годов, в начале деспотичного тридцатитрехлетнего правления султана Абдул-Хамида. Один симпатичный двадцатипятилетний журналист невысокого роста с раннего утра сидел в редакции маленькой газетки «Саадет» («Счастье») на улице Бабыали.[46] Внезапно дверь его кабинета распахнулась, и внутрь вошел высокий человек в красной феске и в суконном армейском мундире с красными рукавами.

— Подойди сюда! — сказал он молодому журналисту, и тот, дрожа от страха, поднялся с места — Надевай феску и марш за мной!

Журналист и человек в военном мундире вышли на улицу и, сев в ожидавшую их карету, двинулись в путь. В полном молчании проехали по мосту. Посередине дороги журналист набрался храбрости спросить, куда его везут.

— К господину министру двора! Приказано доставить немедленно!

Приехали во дворец. Молодому журналисту велели сперва обождать в приемной, а затем провели в кабинет, где за столом сидел седобородый человек, просто кипящий от злости.

— А ну, подойди сюда! — заорал он и, гневно тыча пальцем в лежащий перед ним экземпляр «Саадета», вопросил — Что это такое?!

Журналист не успел еще разобрать, на что ему указывают, а человек за столом уже снова начал орать:

— Да за такие дела голову оторвать мало! Изменники! Неблагодарные твари!

Журналист, хоть и был перепуган до полусмерти, смог разглядеть, что гнев министра вызвало стихотворение одного покойного поэта, в котором повторялись строчки: «Неужели весна никогда не придет?»

— Эфенди… — попытался было вставить он, надеясь объяснить, в чем дело, но министр только еще пуще разгневался.

— Он еще разговаривать будет! Вон!

Через пятнадцать минут дрожащего журналиста снова вызвали в кабинет. Но стоило ему только открыть рот, чтобы попытаться объяснить, что стихи написал не он, как на него вновь обрушился поток оскорблений и угроз.

— Бесстыжие негодяи! Ублюдки! Подлецы! Гнусные псы! Виселица по вам плачет!

Молодой журналист, поняв, что сказать ему так ничего и не удастся, собравшись с духом, достал из кармана жилета свою печать и положил ее на стол. Министр, прочитав имя на печати, сразу понял, что вышла ошибка.

— Как тебя зовут?

— Ахмет Расим.

Описывая этот случай сорок лет спустя в книге «Журналист, поэт, писатель», в которую вошли воспоминания о его писательской жизни, Ахмет Расим говорит, что, осознав свою ошибку, министр назвал его «сынком», предложил сесть, а потом выдвинул ящик стола, и, жестом пригласив Расима подойти поближе, вручил ему пять лир. «Зла не держи. Да смотри помалкивай!» — с такими словами министр отпустил журналиста восвояси. Ахмет Расим рассказывает эту историю с присущим ему тонким юмором и неизменной жизнерадостностью.

Жизнерадостность, чувство юмора и любовь к своему ремеслу позволили Ахмету Расиму стать одним из самых замечательных писателей Стамбула. Печаль, преследовавшая А. Х. Танпынара, Яхью Кемаля и А. Ш. Хисара, в нем уравновешивалась и подавлялась неуемной энергией, оптимизмом и неизменным хорошим настроением. Несмотря на то что Ахмет Расим, как всякий писатель, влюбленный в Стамбул, интересовался его историей и писал о ней книги, он, благодаря тому, что умел держать в узде чувство печали и утраты, не пытался отыскать в прошлом «золотой век». Для него прошлое Стамбула не было священной сокровищницей, из которой можно черпать творческую силу для создания великих произведений в западном духе, — он любил наблюдать за повседневной жизнью города и его обитателей и следить за происходящими в ней изменениями, смотрел на Стамбул как на удивительную, чудесную страну, ждущую своего исследователя.

Подобно простым стамбульцам, погруженным в свои повседневные проблемы, Ахмет Расим не очень интересовался вопросом столкновения культур Востока и Запада или перехода Турции из одной цивилизации в другую. Европеизация интересовала его благодаря своим забавным перехлестам и тому, что она порождала самодовольных выскочек, над которыми можно было вдоволь поиронизировать. В юности, одолеваемый литературными амбициями, он писал посредственные романы и стихи, и это впоследствии сделало его очень чувствительным ко всякого рода фальши и претенциозности — их он высмеивал с тонким юмором, переходящим порой в цинизм. Когда мы читаем,

как Ахмет Расим потешается над странными интонациями, с которыми читали свои стихи претенциозные стамбульские поэты, подражавшие французским парнасцам[47] или декадентам, над тем, как они останавливали первого встречного, чтобы обрушить на него поток своих виршей, или над тем, с какой ловкостью они сводили любой разговор к обсуждению своей литературной карьеры или своего творчества, нам становится понятно, насколько решительно он противопоставлял себя новой культуре, создаваемой ретивыми поборниками европеизации, большинство из которых начинали, как и он, в редакциях на улице Бабыали.

Однако самое большое влияние на писательскую манеру Ахмета Расима оказало его основное занятие, которым он зарабатывал на жизнь. Он был журналистом, автором ежедневной колонки или, как тогда говорили на французский манер, фельетонистом. Политикой он не увлекался (разве что какое-то из ряда вон выходящее событие вызовет у него всплеск негодования или мимолетный интерес), да и в ту эпоху авторитаризма и цензуры на политические темы писать было и опасно, и бессмысленно (Расим любил рассказывать о том, как цензор порой вымарывал из его колонки столько «крамолы», что буквально ничего не оставалось), поэтому всю силу своего таланта он направил на описание родного города, за жизнью которого увлеченно наблюдал. («Если из-за политических запретов и ограничений вы не знаете, о чем писать, — пишите о муниципальных заботах и вообще о городской жизни, и без читателей не останетесь», — таков совет стамбульского журналиста, данный более чем сто лет назад.)

Вот так и получилось, что на протяжении полувека Ахмет Расим неустанно писал о Стамбуле: о различных типах пьяниц и уличных торговцах на окраинах, о бакалейных лавках и жуликах, о музыкантах и нищих, о красотах Босфора и питейных домах, о городских новостях, ценах и развлечениях, о лужайках, парках и базарах, о прелестях, свойственных каждому времени года, и о толпах на улицах, о том, как зимой дети играют в снежки и катаются на санках, об истории турецкой прессы, о всевозможных слухах и ресторанных меню. Он обожал классифицировать и раскладывать по полочкам явления жизни и обладал замечательной способностью выявлять характерные особенности, присущие тем или иным типам людей. С восторгом ботаника, попавшего в сказочно богатый всевозможными видами растений лес, Ахмет Расим наблюдал за ходом европеизации и причудливым течением истории, за тем, как в город прибывают все новые переселенцы, за разнообразными проявлениями городской жизни — и каждый день находил нечто новое,

странное или нелепое, о чем стоило написать. Молодым писателям он советовал всегда брать с собой на прогулку по городу записную книжку.

Самые лучшие из этих второпях написанных статей, опубликованных в 1895–1903 годах, Ахмет Расим объединил в книге под названием «Письма о городе». Он и себя с неизменной иронией называл «городским письмоводителем». Описывая насущные проблемы городского хозяйства и повседневную жизнь горожан, держа руку на пульсе улицы, он брал пример с французских писателей и журналистов, занимавшихся этим еще в 60-е годы XIX века. В 1867 году Намык Кемаль, поклонник Виктора Гюго (влияние на него оказали не столько пьесы и стихи Гюго, сколько их романтический и бунтарский дух), опубликовал в газете «Тасвир-и Эфкяр» серию статей под названием «Письма о Рамазане», в которых подробно описывал жизнь горожан в этот священный для мусульман месяц. Ознакомившись с этими статьями, читатели османской эпохи обнаружили, что письма, оказывается, могут писать не только чиновники и влюбленные и что в них могут содержаться не только угрозы или сердечные тайны, — с помощью писем можно разговаривать с целым городом, словно с любимым или близким человеком. «Письма» Намыка Кемаля стали примером для других писателей и журналистов, но еще важнее то, что стамбульцы, читавшие эти статьи, написанные с доверительной, дружеской интонацией, свойственной личным письмам, словно вступили с помощью газеты в переписку друг с другом, как будто все они приходились друг другу родственниками, знакомыми или любимыми. Это заставляло их испытывать чувство общности и единства. Кроме Ахмета Расима, среди последователей Намыка Кемаля был, например, журналист Али-эфенди по прозвищу Дальновидный Али-эфенди. (Прозвище он получил потому, что издавал газету под названием «Басирет»;[48] когда же из-за случайно допущенной им оплошности газета, пользовавшаяся покровительством двора, напечатала что-то не то и была закрыта, его стали величать Недальновидным Али-эфенди.) У этого Али-эфенди напрочь отсутствовало чувство юмора, но из всех журналистов, перемежавших в своих «письмах» о повседневной стамбульской жизни наставления упреками, он прославился как самый придирчивый. Если в статьях Ахмета Расима, очень любившего музыку и даже сочинявшего ее, нам чудятся все звуки городской жизни, то читая «письма» Дальновидного Али-эфенди, мы словно смотрим немой черно-белый фильм, действие которого происходит на стамбульских улицах в 70-е годы XIX века.

Их было очень много — журналистов и писателей, от Ахмета

Хашима до Бурхана Фелека, сочинявших свои письма о Стамбуле (даже если они их так и не называли) иногда чуть ли не на протяжении всего XX века. Каждый по-своему, они писали о стамбульских красках, запахах и звуках, одновременно внушая стамбульцам определенные взгляды на то, как подобает вести себя на улице, на площади и на мосту, в парке и в саду, в лавке и в увеселительном заведении, на борту корабля и в трамвае. Поскольку критиковать султана, государство, правительство, армию, полицию, религиозных деятелей и порой даже муниципальные власти не было никакой возможности, единственной мишенью копившегося в душе писателя раздражения оставались беззащитные и безликие горожане, спешащие по своим делам или просто разгуливающие по улицам Стамбула. Все, что мы знаем о жизни простых горожан в последние сто тридцать лет, о том, чем занимались, что ели, о чем говорили и спорили на городских улицах, мы знаем благодаря этому критическому зуду, заставлявшему авторов «писем о городе» постоянно в чем-нибудь их упрекать, иногда с гневом, иногда с жалостью, чаще же всего — с высокомерным пренебрежением.

Сегодня, через сорок лет после того, как я научился читать и писать, стоит мне взять в руки газету и взглянуть на колонку какого-нибудь автора, неважно, каких убеждений он придерживается, призывает ли он идти в Европу или, наоборот, возвратиться к традиционным ценностям — когда я читаю его упреки и наставления, в моих ушах звучит мамин голос: «НЕ ПОКАЗЫВАЙ ПАЛЬЦЕМ!» И я улыбаюсь.

16
Не ходите по улице с разинутым ртом

Сейчас я предложу вам отрывки (наставления, предостережения, сетования, перлы остроумия), наугад выбранные мной из обширнейшего наследия, оставленного и знаменитыми, и безвестными авторами «писем о городе», вписавшими в почти полуторавековую историю стамбульской журналистики самые занимательные страницы.

«Наши конные долмуши были созданы в подражание французским омнибусам, да только дороги у нас такие скверные, что от Бейазыта до Эдирнекапы они прыгают, словно куропатки, с камня на камень» (1894).

«После каждого дождя все городские площади заливает водой так, что не пройти. Сколько же можно? Кто-то ведь должен этим заняться, в конце концов? Так пусть займется, и поскорее» (1946).

«И так в наш город волна за волной прибывают всё новые переселенцы, а тут еще и плата за аренду лавок подскочила, и налоги повысили — и вот результат: на пароходах теперь проходу нет от бродячих торговцев. Чем только не торгуют! Бритвами, бубликами, голубцами, бумажными салфетками, тапочками, ложками, вилками, галантереей, игрушками, водой простой и газированной, а теперь еще и сластями, мухаллеби, жареной рыбьей требухой и шаурмой» (1949)

«Высказывалось предложение, что ради украшения города всем извозчикам следует одеваться в одинаковое платье. Как прекрасно было бы, если бы эта задумка осуществилась!» (1897)

«Одно из преимуществ военного положения — то, что теперь долмушам велено останавливаться только на специально обозначенных остановках. Только вспомните, какая раньше в этом деле царила анархия!» (1971)

«Отныне продавцы шербета должны ставить муниципалитет в известность о том, какие красители и фрукты они используют. Правильное решение!» (1927)

«Когда увидите на улице красивую женщину, не бросайте на нее злобных взглядов, точно сейчас ее убьете, и не глазейте на нее похотливо. Когда поравняетесь с ней, улыбнитесь по-доброму, отведите глаза и идите своей дорогой» (1974)

«Вдохновившись примером знаменитой парижской газеты „Матан“, опубликовшей статью о том, как следует ходить по

городским улицам, мы решили напомнить некоторым нашим не очень воспитанным согражданам одно простое правило: не ходите по улице с разинутым ртом» (1924).

«Будем надеяться, что и таксисты, и их клиенты будут добросовестно пользоваться счетчиками, установленными на всех такси по распоряжению военных властей, и не повторится история двадцатилетней давности, когда счетчики устанавливали в последний раз. Тогда, помнится, таксисты часто просили клиента заплатить „сколько он сможет“, а потом принимались торговаться, и заканчивалось все скандалом, а то и полицейским участком» (1983).

«То, что торговцы каленым горохом и конфетами позволяют детям платить не деньгами, а кусочками свинца, не только подталкивает детей к воровству, но и приводит к тому, что они растаскивают камни из источников, отрывают у них краны и сдирают свинцовое покрытие с крыш гробниц и мечетей» (1929).

«Громкоговорители, установленные на грузовиках, с которых торгуют картошкой, помидорами и газом в баллонах, а также ужасные вопли сидящих в этих грузовиказс продавцов превратили город в настоящий ад» (1992).

«Попытка очистить город от собак закончилась ничем. Если бы к делу подошли более продуманно, а не попытались решить проблему одним махом за пару дней, если бы всех собак удалось изловить и отправить на Хаирсызаду,[49] если бы на улицах не осталось ни одной стаи, — тогда, может быть, удалось бы полностью избавить город от этой напасти. А пока невозможно пройти по улице, не услышав „Рррр“» (1911).

«Ломовые извозчики продолжают безжалостно нагружать своих лошадей сверх всякой меры и бьют несчастных животных прямо посреди города» (1875).

«Сколько можно закрывать глаза на то, что безобразного вида телеги, под тем предлогом, что они дают средства для пропитания беднякам, вторгаются в самые прекрасные места нашего города и бессовестно портят его виды? Стамбул не заслужил такого отношения!» (1956)

«Посудите сами, какой степени достигло наше стремление всегда первыми сходить с парохода, да и вообще с любого транспортного средства. Не успевает еще пароход толком пришвартоваться к пристани Хайдарпаша, как некоторые пассажиры уже прыгают с бортов. Остановить их нет никакой возможности, сколько ни кричи, что, мол, „первый, кто сойдет — осел“» (1910).

«С тех пор как некоторые газеты, желая повысить тираж, стали проводить лотереи, в день розыгрыша перед дверями их

редакций собираются неприлично большие толпы и выстраиваются очереди» (1928).

«Золотой Рог уже больше не Золотой Рог, мы погубили его. Он превратился в грязный пруд, окруженный фабриками, мастерскими и скотобойнями, засоренный обломками судов и загаженный отходами, нечистотами и мазутом» (1968).

«До вашего покорного слуги доходят жалобы на то, что некоторые ночные сторожа, вместо того чтобы выполнять свою работу, мирно посапывают в кофейнях и что во многих кварталах иной раз за всю ночь ни разу не услышишь стука колотушки» (1879).

«Знаменитый французский писатель Виктор Гюго имел привычку, забравшись на второй этаж омнибуса, ездить по Парижу и наблюдать за жизнью его обитателей. Вчера мы последовали его примеру и, прокатившись по Стамбулу, выяснили вот что: очень многие ходят по улицам, не обращая ни на что внимания, то и дело сталкиваются друг с другом, бросают на землю трамвайные билеты, обертки от мороженого и кукурузные огрызки; пешеходы разгуливают по проезжей части, а машины заезжают на тротуар; и наконец, все горожане одеваются очень плохо — не от бедности, а из-за своей лени и невежества» (1952).

«С хаосом на дорогах мы сможем покончить, только если перестанем вести себя на улицах и площадях как нам вздумается и будем следовать правилам дорожного движения, как это делается на Западе. Другой вопрос, сколько найдется во всем Стамбуле человек, имеющих представление о том, что такое правила дорожного движения…» (1949)

«Огромные часы, висящие по обе стороны моста в Каракёе, подобно всем другим часам, установленным на улицах Стамбула, ходят, как им вздумается, и мучают горожан ложными надеждами: кто-то думает, что его пароход еще стоит у пристани, хотя он давно уже отчалил, а кто-то полагает, что пароход уже в пути, хотя он еще стоит у пристани» (1929).

«Пришла осень, начали лить дожди, и горожане раскрыли свои зонты. Замечательное изобретение! Но умеем ли мы ходить так, чтобы спицы зонтика не норовили то и дело попасть в глаз проходящим мимо, чтобы не сталкиваться друг с другом, словно электромобили в луна-парке, и не натыкаться на фонарные столбы и автобусные остановки, подобно дрейфующим минам, из-за того, что зонт загораживает нам обзор?» (1953)

«Как жаль, что из-за расплодившихся салонов порнофильмов, заполонивших улицы толп и отравивших воздух выхлопных газов уже нельзя выйти прогуляться по Бейоглу» (1981).

«Когда в каком-нибудь районе Стамбула вспыхивает эпидемия, муниципальные службы там и сям посыпают улицы известью; но ведь кучи грязи от этого никуда не исчезают» (1910).

«Как известно, местные власти обещали полностью очистить город от собак и ослов, а с помощью полиции — и от бродяг и попрошаек. Но целые шайки попрошаек по-прежнему бродят по улицам, являясь живым свидетельством того, что обещания эти не были выполнены» (1914).

«Вчера шел снег, но разве это достаточное основание для того, чтобы залезать в трамвай через заднюю дверь и демонстрировать неуважение к старшим? Мы с прискорбием наблюдали, как стамбульцы забывают правила поведения в городе — да и знали ли они их когда-нибудь?» (1927)

«Этим летом люди словно с ума посходили — каждый вечер по всему Стамбулу грохотали развеселые фейерверки. Выяснив, сколько денег ушло на это пустое развлечение, я задумался: что, если бы все эти средства были потрачены на образование детей из бедных семей нашего десятимиллионного города — ведь всем было бы лучше, даже людям, веселящимся на этих свадьбах. Разве я не прав?» (1997)

«В последнее время безвкусные здания в так называемом „западном“ стиле, от которого на Западе тошнит всех обладающих вкусом и сердцем людей, все сильнее и сильнее вгрызаются в Стамбул, словно моль, пожирающая прекрасную ткань. Если так пойдет и дальше, то весь наш город вслед за Бейоглу и Юксеккалдырымом превратится в нагромождение уродливых строений. И причину этого следует искать не столько в пожарах и в нашей теперешней бедности и бессилии, сколько в нашей тяге ко всему новому» (1922).

17
Как хорошо уметь рисовать

Вскоре после начала учебы в школе я обнаружил в себе большую любовь к рисованию. Слово «обнаружил» здесь, впрочем, не очень подходит, так как подразумевает, что я открыл (словно Колумб Америку) нечто уже существовавшее, просто ранее мною не замеченное. Если во мне и крылся некий художественный вкус или способности к живописи, то в мои первые школьные годы они еще не проявили себя, так что лучше я просто скажу, что полюбил рисовать, и уже после этого во мне развились те умения и особенности душевного склада, которые мы и называем «способностями». Вначале ничего подобного не было.

Даже если и было, особой роли это не играло. Главное было то, что рисование доставляло мне удовольствие и радость.

Однажды вечером, много лет спустя, я спросил у отца, как они с мамой догадались, что у меня есть способности к рисованию. «Ты нарисовал дерево, — ответил папа, — а потом пририсовал сидящую на ветке ворону. Мы с мамой это увидели и переглянулись — ворона-то твоя сидела на ветке точно так же, как сидят настоящие вороны».

Может быть, дело было не совсем так или даже совсем не так, неважно. Мне понравилась эта история, и я сразу в нее поверил. Очень может быть, что для своих семи лет я нарисовал дерево и ворону весьма неплохо. Интересно другое — почему папа, а вслед за ним и мама тут же уверовали в мои способности? Дело тут, видимо, в том, что мой отец с его неизменным оптимизмом и самоуверенностью искренне верил: всё, что бы ни сделали его сыновья, — прекрасно и удивительно. В то время, конечно, такие мысли не приходили мне в голову, и я, как и родители, поверил что во мне есть некая необычайная особенность, которую другие позже назовут талантом художника.

Когда я показывал свои рисунки взрослым, они принимались хвалить их, говорили ласковые слова и даже смотрели на меня с восхищенным изумлением, очень похожим на искреннее. В мои руки словно попал прибор, с помощью которого я мог заставить любить себя, целовать и хвалить и когда мне становилось скучно, я вспоминал об этом и начинал рисовать. Родители постоянно покупали мне бумагу, краски, карандаши, а я неустанно пускал их в дело. Чаще всего я показывал нарисованное папе. Он реагировал именно так, как мне хотелось: каждый раз разглядывал рисунок с удивлявшим даже меня восторгом и

изумлением, а потом высказывал свое мнение о нем. «Как здорово ты передал позу этого рыбака! Ему скучно, и поэтому море такое темное. А это должно быть, его сын? И птицы тоже ждут, когда он наловит рыбки. Как ловко ты все это выразил!»

Я тут же убегал в комнату и снова принимался рисовать. Собственно говоря, я собирался изобразить рядом с рыбаком его приятеля, а не сына, но по ошибке он получился слишком маленьким. Однако теперь я знал, что это не беда — все равно меня похвалят. Немного погодя, памятуя о приятных папиных словах, я показывал рисунок маме и говорил:

— Посмотри, что у меня получилось. Человек ловит рыбу, а рядом — его сын.

— Очень хорошо, милый, — отвечала мама. — А как там твое домашнее задание?

Однажды, когда я нарисовал что-то в школе, посмотреть на мой рисунок сбежался весь класс. Щербатый учитель даже повесил мой листок на стену. Я чувствовал себя так, будто из моих карманов сами по себе начали выскакивать шоколадки и игрушки. Стоило мне нарисовать что-нибудь этакое, и можно было благосклонно принимать восторги и похвалу, словно я был фокусником, достающим из пустой шляпы кролика или голубя.

А между тем мои способности благодаря постоянному упражнению потихоньку развивались и превращались в настоящее мастерство. Я внимательно разглядывал карикатуры в газетах и простые картинки в комиксах и школьных учебниках, подмечая, как на них изображены дома, деревья, люди. Я никогда не рисовал с натуры — источником вдохновения служили чужие рисунки. Чтобы рисунок мне запомнился, он должен был быть простым, как карикатура или картинка в учебнике. Картины, нарисованные масляными красками, а также фотографии меня не интересовали, потому что изображения на них были сложными, как сама реальная жизнь, если не сложнее, и я не понимал, как они сделаны. Я любил книжки-раскраски, и мы с мамой часто ходили в лавку Алааддина, чтобы купить еще одну. Однако я не раскрашивал картинки, а внимательно смотрел на них и перерисовывал. Срисованные дома, деревья, улицы запечатлевались в моей памяти.

Я любил рисовать деревья. Сначала изображал одно, одиноко стоящее дерево, быстро пририсовывал ему ветви и листья; потом рисовал проглядывающие сквозь них горы, за ними — еще две горы, побольше, и, наконец, вспоминая виденную мной японскую живопись, на самом дальнем плане помещал самую большую и величественную гору. Я уже набил руку, и горы рисовались легко, словно сами собой. Облака и птицы располагались так же, как на

одном из рисунков, хранящихся в моей памяти, но рисовал я их по-своему. И наконец, приступал к самой приятной части работы: на вершине самой высокой горы рисовал снежную шапку.

Потом брал рисунок со стола и с удовольствием рассматривал, что получилось, то справа, то слева, то приближая рисунок к глазам, то отдаляя его на расстояние вытянутой руки. Да, думал я, это красиво, и эту красоту нарисовал я. Не идеально, конечно, но все равно красиво, и это я, я сделал. Смотреть на эту картинку было так же интересно, как рисовать ее, так же интересно, как смотреть из окна на улицу, словно ее нарисовал кто-то другой.

Но иногда, глядя на свой рисунок со стороны, как будто бы чужими глазами, я замечал какой-нибудь недостаток. Бывало и так, что, охваченный творческим зудом, я хотел продлить минуты этого ни с чем не сравнимого удовольствия, пережить его снова, — и самым действенным средством в таких случаях было пририсовать еще одно облако, несколько птичек, прибавить дереву листьев в крону.

В последующие годы я стал думать, что такие маленькие добавления «портят» рисунок, но все равно не мог удержаться — так мне хотелось снова испытать это наслаждение. Иногда, если желание было совсем уж нестерпимым, я принимался за новый рисунок.

В чем же заключалось то удовольствие, которое я получал от рисования? Здесь ваш покорный слуга должен отвлечься от описания чувств маленького мальчика и попытаться объяснить их с точки зрения пятидесятилетнего писателя, который надеется таким образом лучше понять самого себя.

1. Конечно, я получал удовольствие от того, что могу за пару минут создать нечто удивительное, нечто такое, чем все вокруг будут восхищаться. Я знал, что, когда я покажу людям свой рисунок, его будут хвалить и говорить мне добрые, ласковые слова, — я предвкушал это еще в процессе работы. Это приятное ожидание со временем стало неотделимым от рисования, и в результате, еще только начиная водить ручкой по бумаге, я уже испытывал радость.

2. От постоянного рисования и внимательного разглядывания чужих рисунков мой взгляд стал цепким, а рука — уверенной. Когда я рисовал, скажем, дерево, она двигалась как будто сама по себе. Мне нравилось следить за тем, как ручка быстро движется по бумаге, вырисовывая линии, словно ею движет какая-то независимая от меня сила, словно в меня вселился кто-то другой. Мне хотелось быть таким, как он, — талантливым и привлекательным, и хотелось верить, что это у меня получится. А

между тем, пока я восхищался этим кем-то, другая часть моего сознания продолжала присматривать за тем, как рука вырисовывает изгибы дерева и уступы гор, — то, что я могу создать все это из ничего на чистом листе бумаги, рождало во мне уверенность в собственных силах. С одной стороны, мое сознание как бы перетекало в кончик моей ручки, и я не отдавал себе отчета в том, что рисую; с другой стороны, я мог сразу же оценивать уже нарисованное. Моменты, когда сознание давало оценку проделанной работе, тоже доставляли мне некоторое удовольствие, но настоящее наслаждение я испытывал, наблюдая за движениями руки маленького художника — моей собственной руки — и ощущая свою свободу и смелость. Я словно покидал пределы своего тела и, повстречавшись со своим вторым «я», занимавшим место первого, превращался в линии рисунка, катался на ручке по листу бумаги, как дети катаются по снегу на санках.

3. Я чувствовал, что это раздвоение сознания, это самостоятельное поведение моей руки чем-то похоже на мгновенное погружение в мой воображаемый мир. Однако в отличие от тех странных фантазий мои рисунки не нужно было скрывать, наоборот — я всем их показывал, ожидая похвалы, и, получив ее, испытывал чувство гордости. Рисовать — значило создавать новый мир, не испытывая при этом чувства вины.

4. Хотя рисуемые мною дома, деревья и облака были плодом моей фантазии, в них, однако, было нечто материальное и реальное, и это мне нравилось. Когда я рисовал дом, я чувствовал, что этот дом — мой. Я был хозяином всего, что рисовал. Возможность попадать внутрь нарисованных мной пейзажей и исследовать этот новый мир, который, судя по тому, что я мог показать его другим, обладал определенной степенью реальности, спасала меня от скуки повседневности.

5. Я любил бумагу, карандаши, тетради, коробки с красками, все принадлежности для рисования, их запах, само их существование. Я с искренней нежностью гладил чистые листы бумаги. Свои рисунки я бережно хранил, радуясь их осязаемости, «вещности».

6. Все эти маленькие радости вкупе с похвалами взрослых заставляли меня поверить в то, что я — необычный мальчик, не такой, как все. Я не любил этим хвастаться, но мне хотелось, чтобы все об этом знали. Подобно воображаемому миру, существовавшему в моей голове, рисование делало мою жизнь богаче и давало мне возможность осознанно покидать пыльный и полутемный реальный мир, причем мои близкие признавали мое право на это.

18
«Энциклопедия Стамбула»: коллекция интересных фактов и занимательных историй, собранная Решатом Экремом Кочу

В бабушкиной гостиной стоял пыльный, очень редко открывавшийся книжный шкаф. Там, среди томов «Энциклопедии жизни», пожелтевших романов для девиц и медицинских книг моего уехавшего в Америку дяди, я однажды обнаружил громадную, форматом с газетный лист, книгу под заглавием «От Османа Гази[50] до Ататюрка. Панорама шести веков истории Османской империи». Это случилось вскоре после того, как я научился читать. Книга мне очень понравилась: во-первых, подбором сюжетов, а во-вторых — обилием удивительных и странных иллюстраций. В дни, когда на нашем этаже устраивалась большая стирка или когда я под предлогом болезни, а то и без всякого предлога пропускал школьные занятия, я поднимался к бабушке и, положив эту книгу на дядин письменный стол, в который раз вчитывался в ее строки. Позже, когда мы стали жить на съемных квартирах, я время от времени перечитывал ее, приходя навестить бабушку в наш старый дом.

Кроме нарисованных от руки черно-белых иллюстраций, на которые я не мог насмотреться, эта книга нравилась мне тем, что история Османской империи, подававшаяся в наших школьных учебниках как совокупность войн, побед, поражений и мирных договоров, представала здесь в виде череды занимательных и странных событий, в которых принимали участие не менее странные люди, в виде галереи захватывающих, пугающих, а порой даже отвратительных картин. В этом смысле «Панорама шести веков» напоминала османские книги церемоний, описывающие процессии ремесленников, для увеселения султана проходящих перед ним и демонстрирующих разные занимательные диковины. Мы, современные читатели этого странного повествования, словно оказывались внутри одной из миниатюр, украшающих те книги, и, сидя рядом с султаном во дворце, известном сегодня как дворец Ибрагим-паши, смотрели из окна на проплывающие по площади Султан-Ахмет богатства империи и на шествующих перед нами людей, одетых в костюмы самых разнообразных профессий. После установления республики

мы убедили себя в том, что стали частью другой, более «разумной» и «научной» цивилизации, и с легким сердцем отказались от наследия Османской империи; тем интереснее нам издалека, из своего современного окна смотреть на ее странную, чуждую нам жизнь и неожиданно для себя открывать в ней нечто близкое, человеческое.

Вот так и я, с наслаждением разглядывая соответствующую черно-белую иллюстрацию, внимательно читал историю об акробате, который в XVIII веке, во время празднования по случаю обрезания сына султана Ахмеда III, принца Мустафы, перешел через Золотой Рог по натянутому между двумя корабельными мачтами канату. Я узнал, что «наши отцы» считали неподобающим хоронить тех, кто зарабатывает на жизнь убийством, там же, где и других людей, и поэтому устроили в Эюпе, в районе под названием Карйагды Байыры, специальное кладбище для палачей. Я прочитал о том, что в 1621 году, во времена правления Османа II, стояла такая суровая зима, что Золотой Рог замерз полностью, а Босфор — частично; я с большим интересом подолгу разглядывал иллюстрации, изображающие поставленные на санные полозья лодки и вмерзшие в лед корабли, — при этом мне и в голову не приходило, что эти иллюстрации, как и все остальные рисунки в книге, скорее являлись плодом фантазии художника, нежели показывали, как все было на самом деле. На другой иллюстрации (я не мог оторвать от нее глаз) были изображены двое знаменитых стамбульских сумасшедших, живших во времена Абдул-Хамида II. Один из них, по имени Осман, всюду разгуливал голышом (художник изобразил его прикрывшим «срамные места» рукой, словно он вдруг застеснялся смотрящих на него людей). Другая же, Мадам Упола, наоборот, напяливала, на себя все, что только могла. Автор книги сообщает, что стоило этим двоим увидеть друг друга, как они устраивали жестокую драку; чтобы этого не случилось, народ не позволял им переходить через Мост. (В то время не существовало мостов через Босфор и четырех нынешних мостов через Золотой Рог. На весь Стамбул приходился один-единственный деревянный мост, соединяющий Каракёй и Эминоню. Этот мост, построенный в 1845 году и с тех пор три раза перестраивавшийся, теперь называется Галатским, а в те времена стамбульцы именовали его просто «Мост».) Затем мой взгляд падал на картинку, изображающую человека с корзиной за плечами, привязанного за шею к дереву, и я читал историю о том, как сто лет назад некий Хюсейн-бей, городской ага (сегодня мы назвали бы его главой муниципалитета), приказал так наказать одного уличного торговца хлебом за жестокое обращение с

лошадью: привязав несчастное животное с навьюченной на спину тяжелой корзиной к дереву, этот торговец отправился в кофейню играть в карты.

Насколько соответствовали истине эти странные истории, часть которых, как сообщалось, была взята «из газет того времени»? Например, достоверно известно, что в XV веке визирю Кара Мехмет-паше по требованию восставших в Стамбуле сипахов[51] отрубили голову; возможно, отрубленную голову выдали мятежникам, чтобы они успокоились; возможно, они, как это свойственно некоторым людям в подобных ситуациях, выразили свою ненависть к покойному исльможе, попинав немного его голову ногами. Но могло ли быть так, чтобы сипахи принялись играть ею, словно мячом, на манер современных футболистов? Не очень-то задумываясь над такими вопросами, я переводил взгляд на следующую страницу и читал историю о жившей в XVI веке женщине по имени Эстер Кира, которая получала доходы от всех пошлин, взимаемых в Стамбуле, и, как говорили, также собирала взятки для Сафийе-султан;[52] во время очередного мятежа сипахи разорвали ее на куски, и куски эти гвоздями прибили к дверям домов тех, кто давал ей взятки. С некоторым трепетом смотрел я на черно-белый рисунок, изображавший прибитую к двери руку.

Решат Экрем Кочу, уделяя большое внимание такого рода страшным и причудливым подробностям, в особенности интересовался темой, весьма занимавшей иностранных путешественников, а именно применявшимися в Стамбуле разнообразными пытками и казнями. Я читал о специальном месте, обустроенном в Эминоню для проведения мучительной казни, называемой «крюк»: осужденного, связанного и раздетого донага, с помощью блоков поднимали вверх и разом насаживали на острый крюк. Один влюбленный янычар похитил у имама молодую жену, остриг ей волосы и, нарядив ее мальчиком, гулял с ней по городу; когда его поймали, то сначала переломали руки и ноги, а потом засунули в ствол мортиры, завалили промасленными тряпками, засыпали порохом и выстрелили в небо. Другой способ казни, названный в книге «наводящим ужас», заключался в том, что опять-таки раздетого осужденного привязывали лицом вниз к кресту, втыкали ему в плечи и ягодицы по свече и возили по городу в назидание всем прочим. Рисунок голого преступника вызывал у меня некоторое сексуальное возбуждение, и мне нравилось думать о прошлом Стамбула как о череде вселяющих смертный ужас пыток, казней и странных событий, изображенных на мрачных черно-белых рисунках.

Эта книга вышла из-под пера историка-популяризатора Решата Экрема Кочу, одного из четырех печальных одиноких писателей, упоминавшихся мною ранее. Вначале он, впрочем, не думал об издании книги, а писал статьи, публиковавшиеся в четырехстраничном приложении к газете «Джумхуриет» на последней странице, под рубрикой «Странные и удивительные факты из нашей истории». В 1954 году, когда «Джумхуриет» начала издавать материалы своих приложений в виде книг, в один из томов были объединены и статьи Кочу. Собственно говоря, эта смесь странных и занимательных рассказов, исторических фактов, сведений энциклопедического характера и черно-белых рисунков была не первой попыткой Решата Экрема Кочу познакомить читателей с историей Стамбула и заставить их полюбить ее. Первая попытка была предпринята десятилетием ранее, когда он приступил к работе над «Энциклопедией Стамбула», которую со справедливой гордостью называл «первой в мире энциклопедией, посвященной одному городу». Первый том энциклопедии вышел в 1944 году, а в 1951-м из-за нехватки денег автор был вынужден бросить свой труд на первой странице четвертого тома, все еще находясь на букве «Б».

Семь лет спустя он вновь приступил к изданию энциклопедии, и снова с буквы «А». На тот момент Кочу было уже пятьдесят три года, и из опасения, что его уникальная энциклопедия опять не будет дописана до конца, он решил ограничить ее объем пятнадцатью томами и попытался писать статьи более «популярным» языком. Теперь он был более уверен в себе, меньше стеснялся своих личных предпочтений и не видел препятствий для того, чтобы выражать на страницах энциклопедии свои собственные вкусы и пристрастия. Вторая «Энциклопедия Стамбула», которую Кочу начал публиковать в 1958 году и был вынужден снова бросить в 1973-м, на одиннадцатом томе, находясь еще только на букве «Г», стоит особняком среди всего, что было написано о Стамбуле в XX веке, — это одновременно и самое странное, и самое яркое, и, благодаря своей структуре, ткани текста и общей атмосфере, наиболее полно отражающее дух Стамбула сочинение.

Чтобы понять эту странную энциклопедию, ставшую культовой книгой для узкого круга стамбульцев, интересующихся своим городом и литературой, и столь любимую мною (мне очень нравится читать ее, наугад открыв любой из томов), нужно вначале познакомиться с личностью ее автора.

Решат Экрем Кочу был одним из тех особенных людей, чью душу ранила печаль Стамбула начала XX века, людей, создавших печальный, но незавершенный образ своего города. Печаль

предопределила ход всей его жизни, внутреннюю логику его произведений, восприятие мира и привела в конце концов к поражению; но, подобно некоторым другим писателям, в своих книгах и статьях Кочу специально не касался темы печали и не размышлял над ней. Поэтому утверждение о том, что его печаль была порождена историческим прошлым империи, жизнью его семьи и, конечно, в первую очередь Стамбулом, может поначалу показаться преувеличением. Сам Кочу считал, что печаль преследует его с самого рождения и что под ее влиянием сформировалась его личность, но ему и в голову не приходило, что причиной этого чувства, заставляющего замкнуться в себе и с самого начала признать свое поражение перед жизнью, мог быть Стамбул — напротив, Стамбул для него был, можно сказать, единственным утешением.

Решат Экрем Кочу родился в 1905 году в семье, члены которой по большей части были чиновниками и учителями. Его мать была дочерью паши, а отец долгое время работал журналистом. Ему пришлось пережить все, что пережили и другие печальные стамбульские писатели его поколения. В детстве он был свидетелем кончавшихся поражениями войн, приведших в конце концов к падению Османской империи и повергших Стамбул в состояние нищеты, из которой он потом не мог выбраться многие десятилетия. Впоследствии Кочу часто касался этих тем в своих статьях и книгах; писал он и о многом другом, виденном в детстве: о последних грандиозных пожарах Стамбула и о тушивших их пожарных, об уличных драках, питейных домах и жизни стамбульских кварталов. В некоторых статьях он упоминает о том, что часть его детских лет прошла в одном из босфорских ялы, впоследствии сгоревшем. Когда ему было двадцать лет, его отец приобрел деревянный особняк в Гёзтепе, в котором Кочу-младший провел много лет, наблюдая за тем, как его большая семья постепенно распадается. Как это бывало со всеми подобными семьями, подкравшаяся бедность и ссоры между родственниками привели к продаже особняка, после чего Решат Экрем так и остался жить в Гёзтепе, кочуя по съемным квартирам. Самым важным жизненным решением Кочу, очень хорошо демонстрирующим, насколько его печальная душа была обращена в прошлое, было решение заняться изучением истории и после окончания университета стать помощником своего любимого учителя, историка Ахмета Рефика, — и это в те времена, когда Османская империя только что пала, а центральным пунктом в идеологии новой Турецкой республики стало отвержение, преследование и предание забвению всего, что было связано с имперским прошлым, когда ко всему османскому

стало принято относиться с пренебрежением и подозрением.

Ахмет Рефик, учитель Кочу, родившийся в Стамбуле в 1880 году, был старше своего ученика на двадцать пять лет. Он был автором серии книг под общим названием «Жизнь османского общества в минувшие столетия»; так же как впоследствии энциклопедия Кочу, этот труд публиковался отдельными изданиями и в конце концов принес Ахмету Рефику славу первого современного стамбульского историка-популяризатора. Помимо преподавания в университете он в поисках интересных сведений разгребал пыльные османские архивы, находившиеся в полном беспорядке, рылся в старинных библиотеках, разыскивая занимательные и странные истории в рукописях османских хронистов, а потом, быстро обработав найденное (у него, как и у Кочу, были незаурядные литературные способности — он был известен как автор стихов и текстов песен), тут же писал статьи для газет и популярные книги. Кочу многое перенял у Ахмета Рефика: превратился в страстного библиофила, рыщущего по книжным магазинам, научился объединять в едином сплаве историю и литературу, искать в архивах интересные и странные истории и публиковать их в газетах и журналах, приобрел стремление к тому, чтобы превращать историю в легкое, занимательное чтение, и пристрастился к долгим беседам с друзьями в питейных заведениях. Когда в 1933 году Ахмет Рефик в ходе «реформы высших учебных заведений» (во время которой был уволен и мой дедушка, мамин отец, преподававший на юридическом факультете) был изгнан из университета, это стало для Кочу серьезным ударом. Ахмет Рефик потерял свое место вследствие того, что одно время был близок к оппозиционной Ататюрку Партии свободы и согласия, но в большей степени из-за своего чрезмерного интереса к османской истории и культуре. Вслед за ним из университета был вынужден уйти и Кочу.

Следующие пять лет Кочу с горечью наблюдал, как его учитель, попавший в опалу у государства и Ататюрка, боролся с безденежьем, страдал от одиночества и забвения, распродавал по частям свою библиотеку, чтобы иметь возможность покупать лекарства, и в конце концов умер в нищете. К моменту смерти Ахмета Рефика большая часть из написанных им девяноста книг исчезла из продажи (сорок лет спустя то же самое произойдет и с книгами Кочу).

В очень печальной статье, посвященной своему покойному учителю, Кочу с горечью пишет о том, что в последние годы жизни Ахмет Рефик был забыт как писатель, и с искренним волнением обращается к воспоминаниям своего детства. Начинает он с рассказа о том, что книги Ахмета Рефика впервые

попали к нему в руки, когда ему было одиннадцать лет и он жил на берегу Босфора, «в те беззаботные дни моего детства, которые так внезапно кончились, словно я был вытащен из моря на берег, как те рыбки в блестящей чешуе, которых я ловил на удочку с причала у нашего ялы». Из этой статьи видно, насколько тесно чувство печали (в том числе печаль об Османской империи и Стамбуле) было связано у Кочу с воспоминаниями о счастливом, затерянном в прошлом детстве, прошедшем в тех самых ялы и особняках, которые превращались в пепелища в годы моего собственного детства. Но печаль Кочу объясняется не только бедностью страны, недостатком читательского интереса и влиянием города, в котором он жил. Была еще одна причина: он был гомосексуалистом, поэтому в Стамбуле первой половины XX века ему приходилось непросто.

Если вы обратите внимание на темы его популярных романов, ощутите напряженность и чувственность их атмосферы, перелистаете «Энциклопедию Стамбула», то вы поймете, что Кочу еще в 1950-е годы выражал свои необычные сексуальные пристрастия и вкусы со смелостью, которой вы не найдете ни у одного из его современников. Начиная с самых первых томов своей энциклопедии, и чем дальше, тем больше, он при первой же возможности начинает восхищенно описывать красоту молодых мужчин и юношей. Вот, например, Мириалем Ахмет-ага, один из пажей султана Сулеймана Законодателя, юный герой, «дракон в человеческом образе», руки которого были толщиной с ветви чинары… А вот брадобрей Джафер, упоминаемый поэтом XVI века Эвлией Челеби в поэме «Шехренгиз», посвященной восхвалению красоты стамбульских ремесленников — это дает Кочу повод назвать его «юношей, о чьей красоте слагались легенды». В другой статье рассказывалось о герое одной стамбульской сказки, «прекрасном старьевщике Йетим-Ахмете», «красивом юноше пятнадцати-шестнадцати лет». «Он ходил босой, в шароварах, заплатанных в сорока местах, в рубашке, сквозь дыры которой проглядывало голое тело, — но прекрасная его внешность была словно глоток воды, его брови осеняли лоб печатью красоты, волосы были словно журавлиные перья, кожа золотисто-смуглая, взгляд и речь полны кокетства, и был он статным, как юное деревце». Кочу, следивший за тем, чтобы послушные художники исправно рисовали всех этих воображаемых босоногих героев, в первых томах энциклопедии скрывается за литературной традицией и игрой, следуя поэтам дивана, смело восхвалявшим мужскую красоту. В статье «Янычары-новобранцы» он описывает отношения между попадающими в корпус янычаров безусыми юнцами и берущими их под свое крыло «свирепыми и удалыми

воинами». В статье «Дживан» он замечает, что «красота, которую воспевают поэты дивана, — это мужская красота», после чего с удовольствием начинает разбирать этимологию употребляемого этими поэтами слова «дживан», означающего «прекрасный юноша». В первых томах энциклопедии Кочу осторожно и мастерски вплетает подобные описания в текст, используя их для иллюстрации сведений из области истории, литературы или культуры, однако впоследствии начинает позволять себе вдаваться в описания красоты юношей и их ног буквально по любому поводу. В статье «Матрос Добрилович» мы читаем об одном «очень симпатичном» хорвате, служившем на торговом судне компании «Хайрийе». 18 декабря 1864 года, когда его корабль швартовался у пристани в Кабаташе, его нога попала между бортом и причалом (это один из сильнейших страхов, преследующих любого стамбульца). Когда оторванная нога вместе с надетым на ней сапогом упала в море, юноша-хорват сказал только: «Я потерял свой сапог». Истории о прекрасных юношах и босоногих мальчиках, которые мы находим в первых томах, Кочу добывал, изучая османскую историю, поэмы и популярные легенды, сидя в никем не посещаемых библиотеках и роясь в забытых рукописях, поэтических сборниках-диванах, странных книгах, оставленных османской и стамбульской культурой, гадательных книгах, «тайных книгах» и, самое главное, в подшивках газет XIX века (именно там он нашел историю о красавце хорвате).

Однако затем, когда постаревший Кочу с горечью и гневом осознал, что не сможет свести свою энциклопедию к пятнадцати томам и она обречена остаться незаконченной, письменные источники стали для него уже не так важны. Он стал под разными предлогами вставлять в энциклопедию статьи о всевозможных юношах, мальчиках (особенно его интересовали продавцы газет), о симпатичных и чистеньких школьниках, продающих по праздникам значки Турецкого авиационного общества, с которыми ему приходилось когда-то встречаться и, опять-таки под разными предлогами, знакомиться на стамбульских улицах и мостах, в питейных домах, кофейнях, ресторанах и казино. Например, в девятом томе, публикация которого началась на десятом году издания энциклопедии (Кочу было шестьдесят три года), на странице 4767 мы находим статью об «удивительно ловком мальчике-акробате четырнадцати-пятнадцати лет, с которым автор познакомился около 1955 или 1956 года». Кочу вспоминает, как увидел его однажды ночью на сцене летнего театра «Энд» в Гёзтепе: «Он был одет в белые тапочки, белые штаны и белую трикотажную рубашку со звездой и полумесяцем

на груди; приступая же к демонстрации своего искусства, он разделся до коротких белых шорт. У него было симпатичное лицо, а своей воспитанностью и благородством манер он сразу показал, что не уступает в этом смысле своим собратьям по ремеслу из западных стран». Далее мы узнаем, что автору было грустно наблюдать, как после окончания представления мальчик обходит зрителей с подносом, но что он не очень расстроился из-за того, что юный акробат, снискавший аплодисменты публики, денег собрал совсем немного; Кочу был обрадован тем, что мальчик не стал вести себя назойливо и не приставал к зрителям. Вместо этого юный акробат раздал некоторым из них свои визитные карточки. Так и произошло знакомство пятидесятиоднолетнего писателя и четырнадцатилетнего акробата. Кочу с грустью рассказывает, что, хотя после этого знакомства он некоторое время переписывался с мальчиком и его семьей, за те двенадцать лет, что прошли между разговором в кинотеатре и написанием статьи, он потерял его из виду, перестал получать ответы на свои письма и поэтому не знает, что произошло с чудо-акробатом с тех пор.

В 1960-е годы, когда «Энциклопедия Стамбула» еще продолжала выходить том за томом, любопытные и терпеливые читатели воспринимали ее уже скорее не как научный труд, сводящий в единое целое все сведения о Стамбуле, а как подобие журнала, печатающего интересные, занимательные, странные и экзотические истории о городе, перемежающиеся рассказами о некоторых событиях повседневной жизни. Помню, в те годы в некоторых стамбульских домах я видел тома энциклопедии на тех же полках, где хранились еженедельные журналы. Однако Кочу пользовался значительно меньшей известностью, чем журналисты, печатавшиеся в них. Да и невозможно представить себе, чтобы в Стамбуле 60-х годов XX века получили признание выраженные в энциклопедии пристрастия, желания и горести этого одинокого жителя современного города. В подготовке первого издания и первых томов второго издания принимали участие многие университетские профессора и писатели, питавшие такую же, как и Кочу, любовь к Стамбулу, то поколение писателей, которое, видя разрушение и исчезновение старого Стамбула под натиском европеизации и пожаров, хотело как-то этому противостоять. Благодаря их усилиям первые тома были написаны «научно» и «серьезно». Но чем дальше, тем меньше авторов участвовало в подготовке энциклопедии, вследствие чего Кочу получил возможность уделять больше места тому, что волновало и интересовало в первую очередь его самого — и вот именно эти последние тома нравятся мне больше всего.

Перелистывая их, я словно отправляюсь на воображаемую прогулку по настоящему и прошлому города.

Порой я сам ощущаю ту обращенную в прошлое любовь и печаль, которые стояли за этим грандиозным предприятием, превратившимся для Решата Экрема Кочу в дело всей его жизни, и гадаю, не лежат ли их истоки не столько в падении Османской империи и упадке Стамбула, сколько в неких темных моментах его детства, проведенного в ялы и деревянных особняках. Нашего энциклопедиста можно уподобить человеку, который вследствие крушения надежд отказался от любви и общения с людьми и, повинуясь внутреннему чувству, начал что-либо собирать и копить, превратившись таким образом в истинного коллекционера. Однако в отличие от классических коллекционеров, привязанных к материальным объектам, Кочу собирал не вещи, а самого разного рода любопытные и странные факты из истории Стамбула. Когда западный коллекционер приступает к созданию своей коллекции, он действует, повинуясь велению сердца и совершенно не задумываясь о том, какое будущее ее ждет, попадет ли она в музей или нет; так и Кочу начинал собирать материалы, подробности и воспоминания различных людей, связанные с историей города, не потому, что планировал в будущем издавать энциклопедию, а просто потому, что это было ему интересно.

Когда же он понял, что его коллекция может достигнуть необъятных размеров, он, словно коллекционер, обдумывающий создание музея, пришел к очень плодотворной идее: создать на основе всех этих занимательных сведений энциклопедию Стамбула. С этого момента, думается мне, в его отношении к своей коллекции появился некоторый «вещистский» оттенок. Профессор Семави Эйидже, специалист по истории византийского и османского искусства, познакомившийся с Кочу еще в 1944 году и немало писавший для его энциклопедии, в статьях, посвященных покойному другу, вспоминает о его огромной библиотеке, о бумажных конвертах с «материалами», которые Кочу годами перевозил с квартиры на квартиру, о газетных вырезках и коллекции фотографий и рисунков, о тетрадях и папках (ныне потерянных), заполненных выписками, сделанными за долгие годы терпеливого чтения стамбульских газет XIX века. В нашей с ним личной беседе профессор Эйидже рассказал мне и о собранной Кочу обширной коллекции странных и загадочных фактов, касающихся стамбульской преступности.

Когда Кочу в конце жизни с горечью осознал, что его энциклопедия так и не будет завершена, он однажды, в момент гнева и раздражения, сказал своему другу Эйидже, что когда-

нибудь вынесет в сад и сожжет все свое собрание фактов, все материалы, связанные с историей Стамбула, всю коллекцию, на создание которой ушла целая жизнь. Эта история заставляет вспомнить один из романов Брюса Чатвина,[53] некоторое время работавшего в аукционной компании «Сотбис». Герой этого романа, Утц, в приступе ярости, свойственной только истинным коллекционерам, разбивает свою коллекцию фарфора. Кочу так и не поддался искушению, однако в этом уже и не было необходимости: издание энциклопедии сначала сильно замедлилось, а затем, в 1973 году, и вовсе остановилось. Двумя годами ранее Кочу поссорился со своим богатым партнером, критиковавшим его за то, что он, исходя из своих личных пристрастий, вставляет в энциклопедию длинные и ненужные статьи. После этого Кочу был вынужден покинуть офис на улице Бабыали, при этом всю свою коллекцию, черновики, газетные вырезки и фотографии он увез с собой, в свою квартиру вГёзтепе. Последние годы жизни он, как и любой истинный коллекционер, не имеющий возможности создать музей, провел в одиночестве в своей квартире, заваленной горами бумаг и фотографий. Деревянный особняк, построенный его отцом, был продан после смерти сестры Кочу, но он не покинул свой квартал. Единственным близким ему в последние годы жизни человеком был бездомный мальчик Мехмет, с которым он познакомился случайно, как некогда с теми уличными мальчишками, о которых писал в своей энциклопедии. Кочу взял Мехмета под свою опеку, усыновил и впоследствии сделал главой издательства.

Конечно, в свое время у него были и другие друзья — около сорока человек, на протяжении тридцати лет писавшие статьи для энциклопедии, не получая за это никакого гонорара, — историки, писатели, литературоведы. Среди этих объединенных любовью к Стамбулу людей были писатели старшего поколения, например, Сермет Мухтар Алус, писавший воспоминания и юмористические романы о жизни стамбульских кварталов и особняков XIX века, в которых рассказывал о характерных типажах того времени и о проделках пашей, и Осман Нури Эргин, автор очень подробной истории стамбульского муниципалитета и знаменитого путеводителя по городу, напечатанного в 1934 году, известный также тем, что преподнесенная им в дар городу библиотека стала основой Стамбульской муниципальной библиотеки. Эти старые писатели умерли еще в те годы, когда публиковались первые тома энциклопедии. Представители более младшего поколения мало-помалу отдалялись от Кочу, по словам Эйидже, «из-за его капризов», и поэтому в неизменно сопровождавших подготовку энциклопедии разговорах и

последующих совместных походах в питейные заведения с течением времени стало принимать участие все меньше и меньше людей. Кочу была свойственна неуживчивость одинокого коллекционера, причины которой не составило бы труда найти психологу вроде Мелани Кляйн,[54] убедительно доказавшей, что проблемы людей, привязанных к вещам не меньше, а то и больше, чем к другим людям, имеют корни в их детстве.

В 1950—70-е годы по вечерам авторы энциклопедии, как правило, собирались в офисе издательства, а затем, вдоволь наговорившись, все вместе шли в питейный дом в Сиркеджи. В круг этих знаменитых писателей своего времени не допускались женщины — они, словно средневековые поэты, жили в мире, центром которого был мужчина; они были последними наследниками средневековой литературы дивана, связанной с ней традиции разговора и особой османской мужской культуры. На каждой странице энциклопедии ощущается влияние этой культуры: ее стереотипного образа женщины, ее интереса к любви исключительно как к теме литературных произведений, свойственного ей опасливого и подозрительного взгляда на отношения между полами, ассоциирующиеся с понятиями греха, грязи, обмана, измены, падения, стыда и вины. За тридцать лет издания энциклопедии женщины не приглашались к написанию статей (за немногими единичными исключениями). Одна из причин этого заключалась в том, что разработка тематики будущих статей и распределение тем между авторами происходили во время встреч в книжных лавках, в офисе издательства или во время следующих за ними посиделок в мужской компании. Позже ежевечерние разговоры в питейных заведениях стали настолько неотъемлемой частью процесса подготовки энциклопедии, что Кочу даже посвятил им особую статью. Перечисляя в ней писателей, оказавших влияние на литераторов его круга, он вспоминает и поэтов османских времен, проводивших все вечера в питейном доме. Затем (как и во многих других статьях, он не смог удержаться от того, чтобы под каким-нибудь предлогом не перевести разговор на описание красивых юношей) Кочу с удовольствием начинает рассказывать о мальчиках, подававших посетителям вино, о том, как они были одеты, как вежливо себя вели и как изящно двигались. После этого Кочу с большим уважением вспоминает писателя, по его мнению, больше всех других знавшего толк в подобных вечерних посиделках — уже известного нам Ахмета Расима.

Ахмет Расим любил Стамбул искренне, без всякого позерства и аффектации, умел после короткой прогулки по улицам удивительно живо воссоздавать картины уличной жизни, обладал

способностью писать воспоминания так, что мы воспринимаем их не как историю личной жизни, а как рассказ о странных и занимательных событиях, оставшихся в прошлом всего города, и развил в себе привычку запоминать и раскладывать по полочкам непрестанно меняющиеся городские обычаи, нравы, традиции, моды и увлечения; благодаря этому он повлиял на Кочу не меньше, чем его любимый учитель Ахмет Рефик, на протяжении всей жизни энциклопедиста остававшийся для него образцом.

Рассказам о любовных похождениях в старом Стамбуле Ахмет Расим умел придать привкус интриги, злодейства, экзотики и романтики. Влияние этих рассказов заметно не только в большинстве статей энциклопедии, но и в «основанных на исторических документах» статьях, которые Кочу, как и Расим, сериями публиковал в газетах. (Самые яркие примеры — «Как в Стамбуле добивались любви» и «Питейные дома старого Стамбула и выступавшие в них танцовщики, переодетые женщинами».) В 1960-е годы, когда публиковалась энциклопедия, законы, защищающие авторские права, были в Турции весьма несовершенными, поэтому Кочу мог свободно позволить себе делать обильные заимствования из работ своего предшественника. Он вырезал или переписывал его статьи, складывал вырезки и выписки в сумки, папки и конверты, а потом, годы спустя, использовал без зазрения совести — возможно, потому, что считал их уже своей собственностью (простим ему это заблуждение, свойственное многим коллекционерам).

Сорок лет, разделяющие даты рождения Расима (1865) и Кочу (1905), вместили в себя множество произошедших в Стамбуле событий: появление первых газет, правление Абдул-Хамида, ознаменованное усиленной европеизацией и политическими репрессиями, открытие университетов, возникновение оппозиционного движения младотурок и их печатных изданий, преклонение перед западной литературой, первые турецкие романы, волны переселенцев и пожары. Но главное, что отличает друг от друга этих двух великих и странных писателей, — это их отношение к заимствованной у Запада философии литературного творчества. Ахмет Расим, в юности писавший романы и стихи в западном духе, очень рано потерпел в этом деле неудачу, после чего стал считать следование западным образцам пустым и неоправданным подражательством, столь же нелепым, как попытка торговать улитками в мусульманском квартале. Более того, он находил слишком западными и «чуждыми» идеи творческой оригинальности, бессмертной славы и преклонения перед людьми искусства; сам он придерживался более веселой и

скромной, почти дервишеской философии: он просто зарабатывал на хлеб своими статьями, которые писал так, как ему хотелось, черпая вдохновение в бесконечном водовороте стамбульской жизни, не особенно себя утруждая и не заставляя себя страдать во имя «бессмертного искусства». Что же касается Кочу, то он никак не мог избавиться от идеи литературного «величия» и от «научного» западного представления о литературе как о системе жанров. Эти взгляды ему было нелегко примирить со своими любимыми темами, с пристальным интересом ко всему необычному и ненормальному, ко всему странному, прячущемуся в темных углах. Отчасти это объяснялось тем, что, живя в Стамбуле, он не был в достаточной мере знаком с теми произведениями западной литературы, в которых разрабатывались темы «романтического» существования на обочине жизни. Но даже если бы он и был знаком с этой маргинальной литературой, это бы ему не помогло. Та культура, внутри которой он существовал, культура, несшая на себе отпечаток османских времен, подразумевала, что писатель, преподаватель, издатель не должен прятаться в андеграунде, изучая, что творится в темных углах, а наоборот — должен быть в центре общественной жизни, вступать в диалог с другими деятелями культуры и с властью, поучать и направлять. Кочу, собственно, об этом и мечтал — сначала хотел стать университетским профессором, потом, когда его выгнали из университета, задумал создать грандиозную энциклопедию. Между университетом и энциклопедией есть определенное сходство, заключающееся в накоплении и классификации знаний и в некой власти, которую они благодаря этому приобретают; но Кочу они были нужны еще и для того, чтобы придать своему интересу к «странностям» ореол официальности и научности.

Между тем у писателей османских времен, чувствовавших ту же любовь к городу и к красивым юношам, что и Кочу, вовсе не было необходимости прибегать к подобной защите. Авторы поэм-шехренгизов (в XVII и XVIII веках это был очень распространенный жанр османской литературы), подобно Кочу, восхваляя красоты Стамбула, уделяли немало место и его прекрасным юношам, которых называли словом *махбуп* — «возлюбленный». Более того, они не прятали стыдливо строки, посвященные юношам, среди описаний величественных зданий и других достопримечательностей города. Напротив, эти писатели, у которых Кочу многое позаимствовал при составлении энциклопедии, приступая к полушутливому, полусерьезному восхвалению мужской красоты, прибегали к особой литературной форме: Кочу называл их «дервишескими стихами». Если мы

перелистаем «Книгу путешествий» Эвлии Челеби[55] (даже в том сокращенном и отцензурированном варианте, который стал издаваться после создания Турецкой республики), то увидим, что даже этот самый «классический» представитель османской литературы, рассказывая о каком-нибудь городе — его домах, мечетях, климате, водоснабжении — и связанных с ним занимательных историях, неизменно упоминает и о красоте живущих в городе юношей, *махбупов*. Но в XX веке, когда модернизирующееся и европеизирующееся государство стало насаждать централизацию, единообразие, дисциплину и всеобщий контроль, стамбульские писатели потеряли возможность открыто выражать свои странные вкусы, навязчивые идеи и «сексуальные пристрастия, несовместимые с семейной моралью среднего класса». Осознавая это, Кочу и приступил к созданию энциклопедии.

Это было смелое предприятие, и я испытываю к нему искреннее уважение, но в представлении Кочу о том, что такое энциклопедия, несомненно, было нечто очень наивное и детское. В книге «Панорама шести веков истории Османской империи», написанной после прекращения издания первой «Энциклопедии Стамбула», он говорит о переведенной в XV веке на турецкий язык с арабского «Книге об удивительных тварях» Зекерии из Казвина как о «своего рода энциклопедии». В порыве патриотизма Кочу пытается доказать, что османы дошли до создания подобия энциклопедии в стародавние времена, своим умом, без всякого западного влияния, — это показывает, что Кочу понимал энциклопедию просто как антологию всякого рода сведений, организованную по алфавитному принципу. Ему, похоже, не приходило в голову, что между фактами и «историями» существует разница, что в энциклопедии они должны быть определенным образом, исходя из своей важности, упорядочены и встроены в некую иерархию, логика которой определяется самой сущностью цивилизации, и поэтому некоторые статьи в энциклопедии должны быть длиннее, другие — короче, а третьи, следуя все той же логике, лучше вообще опустить. Не приходило ему в голову и то, что не энциклопедист должен служить истории, а история — энциклопедисту. В этом смысле Кочу похож на «бессильного историка» из работы Ницше «О пользе и вреде истории для жизни», который, уделяя чрезмерное внимание историческим подробностям, превращает описание истории города в рассказ об истории своего собственного эго.

Одна из причин этого бессилия заключалась в том, что Кочу испытывал сентиментальную привязанность к историям, которые он на протяжении многих лет брал из жизни, отыскивал в газетах,

библиотеках и документах османских времен. Такая же сентиментальность свойственна любому истинному коллекционеру, оценивающему собранные им сокровища не по рыночным меркам, а исходя из своих собственных сантиментов. Однако счастливый коллекционер (обычно это «западный» мужчина), что бы им ни двигало — глубоко личные мотивы или желание следовать логично продуманному плану, — это тот, кто может, подводя итог усилиям всей своей жизни, привести в порядок и систематизировать свою коллекцию (словно энциклопедию), установить между всеми ее составляющими логические связи и представить ее так, чтобы эти связи были очевидны, — то есть создать музей. Но во времена Кочу в Стамбуле не было ни единого музея, выросшего из частной коллекции (кажется, нет в городе такого музея и по сей день). И если мы рассматриваем большие музеи с многовековой историей и энциклопедии как институты, собирающие, классифицирующие и демонстрирующие предметы материальной культуры или знания и придающие им, таким образом, значение и упорядоченность, то «Энциклопедию Стамбула» уместно было бы уподобить не музею, а тем собраниям диковинок, что предшествовали появлению музеев, — кунсткамерам, столь любимым в XVI–XVIII веках европейскими принцами и людьми искусства. Когда мы перелистываем страницы энциклопедии Кочу, мы словно попадаем в такую кунсткамеру и рассматриваем лежащие за стеклом морские раковины, кости диковинных животных и образцы минералов — с любопытством и в то же время улыбаясь наивности составителей этой экспозиции.

У любителей книг, принадлежащих к моему поколению, «Энциклопедия Стамбула» вызывала именно такую снисходительную улыбку — во многом, конечно, потому, что мы считали свое поколение, живущее на полвека позже, чем поколение Кочу, значительно более «европеизированным» и «современным», и улыбка возникала на наших губах сама собой при мысли о том, что это странное сочинение имеет смелость называться энциклопедией; и еще потому, что у нас вызывал сочувственное понимание наивный оптимизм Кочу, взявшегося одним махом перенести на турецкую почву жанр, на создание которого у европейской цивилизации ушла не одна сотня лет. Но за всем этим была и радость обладания книгой, замечательно отражающей не поддающуюся никакой классификации и упорядочению странность, пестроту и анархию Стамбула эпохи перехода от османского прошлого к современности. Да и помимо всего прочего — это же одиннадцать огромных томов, давно исчезнувших с книжных прилавков! Мечта!

Иногда мне встречаются люди, которым по какой-нибудь надобности приходилось читать все эти одиннадцать томов: один из них, мой друг, историк искусства, работает над исследованием, посвященным разрушенным стамбульским дервишеским обителям, другой изучает никому не ведомые стамбульские бани. При встрече мы, улыбнувшись друг другу одной и той же печальной улыбкой, чувствуем неодолимое желание немного поговорить об «Энциклопедии Стамбула». Я спрашиваю у своего друга-ученого, читал ли он о том, что у входа в мужские отделения бань сидели старьевщики, чинившие прохудившуюся обувь и одежду пришедших помыться людей? Мой друг в ответ спрашивает, помню ли я, какое объяснение дает опубликованная в том же томе статья «Слива, выросшая на гробнице Эйуб-султан» тому, что один из сортов сливы, растущий в Стамбуле, называется «тюрбе»?[56] Перелистав лежащий на столе том, я задаю новый вопрос: кто такой моряк Ферхад? (Ответ: это храбрый матрос, который одним летним днем 1958 года, прыгнув в море, спас семнадцатилетнего юношу, свалившегося за борт парохода, следовавшего из Стамбула к Принцевым островам.) Потом мы с улыбкой вспоминаем выражение, особенно часто встречающееся в последних томах: «Перед написанием статьи о какой-либо улице необходимо проверить нынешнее ее состояние». Затем речь заходит об Албанце Джафере, одном из гангстеров Бейоглу, убившем в 1961 году охранника своего жестокого конкурента (эта история описана в статье «Убийство в Долапдере»), или о «Кофейне доминошников», в которой когда-то собирались любители этой игры, в основном представители греческой, еврейской и армянской диаспор. Тут я начинаю вспоминать о том, как в детстве мы играли в домино всей семьей, о том, как когда-то в Нишанташи и Бейоглу в лавках, торговавших игрушками, табачными изделиями и канцелярскими товарами, продавались и кости для игры в домино, и тут меня накрывает волна тоски по прошлому. А иногда мы принимаемся обсуждать статью про «эстетично обрезанного» комиссионера по прозвищу «Человек в подштанниках», «переезжавшего из города в город со своими пятью дочерьми и очень хорошо известного торговцам из Анатолии», или говорим про отель «Империал» в Бейоглу, столь любимый иностранными туристами в XIX веке, или вспоминаем статью «Лавки», в которой подробно рассказывается, как и почему менялись названия стамбульских лавочек и магазинов.

В какой-то момент разговора по нашим улыбкам становится понятно, что, беседуя об «Энциклопедии Стамбула», мы при этом с волнением и любовью думаем о Решате Экреме Кочу. Через

некоторое время, когда печаль начинает чувствоваться все сильнее, мы осознаём, что на самом деле главная тема разговора — именно неудача предпринятой Кочу попытки понять путаницу стамбульской жизни, используя западные приемы классификации и пояснения. Одной из причин этой неудачи была непохожесть Стамбула на западные города, запутанность, анархия и многослойная странность его жизни, его беспорядочность, противостоящая привычной классификации. И мы жалуемся на эту странность, непохожесть и «инакость», но в какой-то момент до нас вдруг доходит, что это вовсе не жалоба, а похвальба, и что те, кто любят энциклопедию Кочу, любят ее во многом благодаря тому, что она дает им возможность ощутить своеобразный стамбульский патриотизм.

Размышляя о том, что причиной незавершенности и «неудачи» энциклопедии стала неспособность ее автора в достаточной мере овладеть западными приемами познания и классификации, а также то, что он вообще не был в достаточной степени «западным человеком», мы, не признаваясь себе в странной гордости странностью Стамбула, напоминаем себе, что именно за «неудачу» мы и любим нашего печального писателя. Причиной, обрекавшей «Энциклопедию Стамбула» и другие произведения четырех печальных писателей на неудачу и незавершенность, было то, что их авторам так и не удалось стать европейцами. А им этого хотелось — настолько, что они порвали с османской традицией, смогли увидеть город «другими глазами» и отважно ступили на путь, с которого нет возврата, на путь, уведший их от Востока, но так и не доведший до Запада. Самые глубокие и прекрасные места произведений Кочу и трех других печальных писателей — именно те, где особенно сильно чувствуется их затерянность между двумя мирами. Цена этого выбора — одиночество, награда за него — обретение своего собственного голоса.

В первые годы после смерти Кочу, в середине 1970-х, каждый раз, отправляясь в Капалычаршы,[57] я заходил на книжный рынок рядом с мечетью Бейазыт и видел там последние непереплетенные тома «Энциклопедии Стамбула», которые Кочу издавал в последние годы жизни за свой счет, среди пожелтевших, поблекших и разбухших от влаги уцененных книг. Тома энциклопедии, которую я начал читать, отыскав некогда в бабушкином книжном шкафу, теперь продавались на вес, по цене макулатуры, и при этом, говорили мне знакомые продавцы, желающих их купить все равно не находилось.

19
Отуречивание Константинополя: взятие или падение?

В детстве я, как и большинство живущих в Стамбуле турок, не очень-то интересовался византийской историей. Слово «Византия» ассоциировалось, у меня с бородатыми православными священниками в страшных черных рясах, акведуками, старыми церквами из красного кирпича и Айя-Софией. Все это было настолько древним, что, казалось, не заслуживало ни малейшего внимания. Даже эпоха тех османов, что завоевали и уничтожили Византию, казалась мне затерявшейся где-то далеко-далеко в прошлом — теперь в Стамбул пришла «новая цивилизация», и мы были ее первым поколением. У тех странных османов, о которых рассказывал Решат Экрем Кочу, были, по крайней мере, знакомые имена; что же касается византийцев, то они после взятия Стамбула куда-то делись. Впрочем, их прапраправнуки держали в Бейоглу галантерейные, обувные и кондитерские лавки. Одним из самых любимых развлечений моего детства были походы с мамой в Бейоглу за покупками и неизменное посещение самых разнообразных греческих лавочек. Это были семейные предприятия, в которых иногда работали и отец, и мать, и дочери, — когда мы с мамой заходили, например, в галантерейную лавку и мама заказывала ткань для занавесок или бархат для чехлов на подушки, они принимались с пулеметной скоростью переговариваться между собой по-гречески. Позже, вернувшись домой, я начинал передразнивать странное бормотание и оживленные жесты девушек-продавщиц. Реакция моих близких на это передразнивание, пренебрежительный тон, в котором писали о греках газеты, раздраженное: «Говорите по-турецки!», иногда бросаемое грекам покупателями, — все это наводило меня на мысль, что греки, подобно живущим в трущобах беднякам, не были «уважаемыми» гражданами. Должно быть, думал я, это оттого, что султан Мехмет Завоеватель отобрал у них Стамбул. В 1953 году, через год после моего рождения, отмечалась пятисотлетняя годовщина взятия Стамбула («великого чуда», как его иногда называют), но среди всего связанного с празднованием меня позже заинтересовала только выпущенная в ознаменование юбилея серия марок. На этих марках были представлены все священные образы, связанные в нашем

представлении со взятием Стамбула: корабли, появляющиеся из ночного мрака, портрет Мехмета Завоевателя кисти Беллини[58] и крепость Румелихисары.

По тому, как люди называют некоторые события, можно понять, где мы находимся — на Западе или на Востоке. 29 мая 1453 года для Западного мира произошло падение Константинополя, а для Восточного — взятие Стамбула. Когда моя жена, учившаяся в Колумбийском университете Нью-Йорка, однажды употребила в одной своей работе слово «взятие», профессор-американец обвинил ее в национализме. На самом же деле она употребила это слово просто потому, что так ее научили в турецком лицее; ее мать была русского происхождения, так что она отчасти даже симпатизировала православным грекам. Для нее это событие не было ни «взятием», ни «падением» — она чувствовала себя как военнопленный, оказавшийся посреди двух миров, не оставляющих человеку другого выбора, кроме как быть мусульманином или христианином.

Причинами того, что в XX веке стамбульцы начали праздновать день взятия Стамбула, были европеизация и рост турецкого национализма. В начале прошлого столетия лишь половина населения Стамбула исповедовала ислам, и большую часть немусульманского населения составляли греки-фанариоты, потомки византийцев. В годы моего детства и юности в Турции существовало сильное националистическое движение, представители которого были уверены, что любой, кто употребляет слово «Константинополь», мечтает о том, что придет день, когда в город вернутся старые хозяева, отнимут его у турок после пятисотлетней оккупации, выгонят нас или превратят в граждан второго сорта. Для них идея «взятия» была ключевой. А между тем во времена Османской империи многие турки спокойно называли свой город Константинополем.

Те же турки, что придавали большое значение движению Турции в сторону западной цивилизации, не очень любили затрагивать тему взятия Стамбула. В 1953 году, несмотря на все приготовления, начавшиеся еще за несколько лет до пятисотлетней годовщины, президент Джеляль Байяр и премьер-министр Аднан Мендерес в последний момент отказались от участия в праздничных церемониях, опасаясь вызвать раздражение своих западных друзей и Греции. Только что началась «холодная война», и Турция, член НАТО, не хотела лишний раз напоминать миру о взятии Стамбула. Но не прошло и трех лет, как толпы негласно подстрекаемых правительством националистов, выйдя из-под контроля, устроили в Стамбуле погром домов и магазинов, принадлежавших грекам и

представителям других национальных меньшинств. Беспорядки, во время которых толпа разрушала церкви и убивала священников, заставляют вспомнить описания грабежей и жестокостей в книгах западных историков, пишущих о падении Константинополя. После возникновения национальных государств правительства Турции и Греции стали относиться к оставшимся на их территории меньшинствам как к заложникам в политической игре, и в результате за последние пятьдесят лет Стамбул покинуло больше греков, чем за пятьсот лет, прошедших после 1453 года.

В 1955 году, когда английские войска покидали Кипр, а Греция готовилась взять остров целиком под свой контроль, в греческом городе Салоники агент турецких спецслужб бросил гранату в дом, где родился Ататюрк. После того как спецвыпуск стамбульских газет разнес это известие (в сильно преувеличенном виде) по всему городу, на площади Таксим собралась агрессивно настроенная толпа. Сначала погромщики направили свою ярость на лавки в Бейоглу, в которые я ходил с мамой, а потом до самого утра продолжали грабить и жечь по всему Стамбулу.

Самые страшные события происходили в тех районах города, где жило много греков: в Ортакёе, Балыклы, Саматье, Фенере… Банды погромщиков разоряли и поджигали скромные бакалейные и молочные лавки, врывались в дома и насиловали греческих и армянских женщин. Можно сказать, что по своей свирепости они не уступали солдатам Мехмета Завоевателя, грабившим Стамбул после его взятия. Беспорядки, наполнившие город ужасом и превратившие его в настоящий ад, превосходящий все представления христиан-европейцев о восточной жестокости, продолжались два дня. Позже выяснилось, что их организаторы, поощряемые властями, говорили погромщикам, что те не понесут никакого наказания за свои действия.

Любому немусульманину, рискнувшему показаться на улице в ту ночь, грозило линчевание. Наутро Истикляль и другие улицы Бейоглу были усеяны вещами, которые грабители не смогли унести с собой из разгромленных лавок, но с наслаждением разломали и разорвали на куски. Всюду валялись груды тканей всех видов и расцветок, ковры, одежда, перевернутые холодильники, только-только начинавшие тогда появляться в Турции, радиоприемники, стиральные машины, разбитые фарфоровые сервизы, разорванные игрушки (в то время самые лучшие игрушечные магазины находились в Бейоглу), кухонные приборы, осколки люстр и модных в те годы аквариумов… Там и сям виднелись сломанные велосипеды, перевернутые или

сожженные машины, разбитые фортепиано и вытащенные из витрин закутанные в ткани манекены с оторванными руками, безучастно смотрящие в небо. Рядом стояли танки, слишком поздно прибывшие для усмирения беспорядков.

Об этих событиях у нас в семье вспоминали долгие годы, поэтому в моей памяти сохранились все их подробности, словно я видел все своими глазами. Пока христиане приводили в порядок свои дома и лавки, мои родственники обменивались собственными впечатлениями о ночных событиях, вспоминая, как дядя и бабушка в панике бегали от окна к окну и смотрели, как на улице перед нашим домом собирается агрессивно настроенная толпа, как погромщики носятся туда-сюда, разбивая витрины и проклиная греков, христиан, богачей. В те дни лавочник Алааддин под влиянием растущего турецкого национализма стал продавать в своей лавке маленькие турецкие флажки; за несколько дней до беспорядков мой брат попросил купить ему такой флажок и прицепил его внутри дядиного «доджа», который поэтому остался цел и невредим, — погромщики не только не перевернули его, но даже не выбили стекла.

20
Религия

До десяти лет в моей голове существовал очень четкий образ Бога. Когда я думал об Аллахе, моему мысленному взору представлялась закутанная в белый чаршаф[59] фигура очень старой и очень почтенной женщины с неопределенными чертами лица.[60] Она, хотя и была похожа на человека, выглядела не так, как другие обитатели моего воображаемого мира или кто-либо, кого я мог бы встретить на улице, — потому что всегда стояла немного вполоборота и опустив голову. Когда Она появлялась в моей голове, вызывая любопытство и почтение, все прочие образы уходили на второй план, а Ее образ, описав несколько элегантных кругов, как это бывает в рекламных роликах, становился немного резче и начинал подниматься вверх, к облакам, туда, где Она обитала. Складки Ее белых одежд, полностью скрывавших фигуру, так что не видно было ни ног, ни рук, прорисовывались так же четко, как на статуях, изображения которых я видел в книгах по истории. Каждый раз, когда Она появлялась перед моим мысленным взором, я ощущал, что это очень могущественное высшее существо, и испытывал к Ней большое почтение, но не очень-то боялся — не потому, что считал себя безгрешным и невинным младенцем, а потому, что чувствовал: этому далекому и важному существу нет дела до моих глупых фантазий и маленьких провинностей. Я никогда не обращался к Ней за помощью и ни о чем не просил, потому что знал: такие, как я, Ей неинтересны — Она заботится только о бедных.

В нашем доме этим существом интересовались только служанки и повара. Я смутно догадывался о том, что Она, по крайней мере теоретически, должна присматривать не только за прислугой, но и за всеми другими обитателями нашего дома, — да только мы, счастливцы, не нуждались в Ее помощи. Она заботилась о несчастных бедняках, которые не могли дать своим детям даже образование, об уличных нищих, непрестанно поминающих Ее имя, и о простодушных, добрых людях, попавших в беду. Поэтому-то, когда по радио передавали известия о снежной буре, отрезавшей от мира глухие деревушки, или о бедняках, оставшихся после землетрясения без крыши над головой, мама всегда говорила: «Помоги им Аллах!» В этих словах чувствовалась не столько настоящая просьба о помощи, сколько мимолетное чувство вины, испытываемое нами, состоятельными людьми, в такие моменты.

Собственно говоря, будучи людьми логически мыслящими, мы понимали, что это мягкосердечное создание, эта закутанная в белые одежды пожилая женщина не пожелает прислушаться к нашим просьбам. В конце концов, мы ничего для Нее не делали. А между тем повара и служанки, жившие в нашем доме, равно как и все знакомые нам бедняки хватались за любую возможность приблизиться к Ней и ежегодно по целому месяцу постились ради Нее. Наша Эсма-ханым в свободные от хлопот по дому минуты удалялась в свою комнату, и, расстелив на полу молитвенный коврик, совершала намаз; в минуты радости, грусти, страха или гнева, а иногда просто открывая или закрывая дверь, делая что-то в первый или в последний раз, и по многим другим поводам она вспоминала Ее имя, и при этом шептала еще какие-то слова.

Пока прочная связь между бедными и Аллахом выражалась лишь в надежде на Ее помощь, она не очень тревожила меня и моих родных. Можно даже сказать, что мысль о том, что они надеются на кого-то другого, а не на нас, что кто-то другой должен помочь им «тащить их тяжкую ношу», приносила нам облегчение; однако порой нас начинало беспокоить подозрение, что однажды может прийти день, когда эти непохожие на нас люди смогут использовать Ее силу против нас.

Я помню, что похожая тревога охватывала меня, когда я, больше из любопытства, чем от скуки, внимательно наблюдал за тем, как наша пожилая служанка совершает намаз. Я подглядывал за ней, стоя за дверью, и в таком ракурсе Эсма-ханым выглядела точь-в-точь как Аллах, какой Она представлялась моему воображению: стоящей с опущенной головой и немного вполоборота. Я следил за тем, как Эсма-ханым истово кладет поклоны, встает, снова прижимает лоб к молельному коврику и вдруг замедляет свои движения, и мне казалось, что она умоляет о чем-то, смиренно признавая свое бессилие. В этот момент, сам не понимая почему, я начинал ощущать какой-то неопределенный гнев и беспокойство. Эсма-ханым совершала намаз, только когда дома никого не было и ей не нужно было выполнять какую-нибудь работу; заполняющая темную комнату тишина, прерываемая иногда лишь шепотом молитвы, заставляла меня нервничать. Мой взгляд останавливался на мухе, медленно ползущей по оконному стеклу. Муха срывалась и, упав на спину, начинала предпринимать попытки перевернуться, жужжание ее полупрозрачных крылышек сплеталось с шепотом Эсмы-ханым… Тут мои нервы не выдерживали, и я принимался дергать служанку за платок.

По своему предыдущему опыту я знал, что мое вмешательство «испортит» намаз. Чтобы этого не случилось,

Эсма-ханым, призвав на помощь все свое терпение, продолжала молиться, как будто ничего не замечала. Но мне чудилось в этом какое-то притворство или игра — ведь теперь она только делала вид, что молится. В то же время ее упорная решимость во что бы то ни стало продолжать свое занятие выводила меня из себя. Начиналась своего рода борьба: кто кого переупрямит. Когда Она становилась между мной и этой пожилой женщиной, которая души во мне не чаяла, то и дело брала меня на руки, чтобы приласкать, а когда на улице незнакомые люди спрашивали, кто этот милый мальчик, отвечала, что я — ее внук, я начинал ощущать то же беспокойство, какое внушали всем моим родственникам слишком религиозные люди. Я не мог не уважать ее решимость довести намаз до конца, но при мысли о том, насколько сильно она привязана к некоему другому, потустороннему существу, мне становилось не по себе. Подобно любому представителю секуляризированной турецкой буржуазии, я боялся не Ее, а гнева тех, кто слишком сильно в Нее верит.

Бывало, во время намаза Эсму-ханым звала из другой комнаты моя мама или звонил телефон, подходить к которому было ее обязанностью. В такие моменты меня охватывало желание побежать к маме и сказать ей, что Эсма-ханым совершает намаз. Порой по доброте душевной я так и делал, но иногда, обуреваемый ревностью, все тем же странным беспокойством и желанием сделать что-нибудь дурное, оставался стоять на месте и ждал, что будет дальше. Мне хотелось выяснить отношения с тем потусторонним миром, в который она погружалась во время молитвы и из которого иногда возвращалась, раздраженно бормоча, и понять, кто для нее важнее: Аллах или мы.

«Если будешь тянуть меня за платок во время намаза, твои руки превратятся в камень!» — стращала меня Эсма-ханым. Но я все равно тянул, и ничего не происходило. Тем не менее, подобно моим родственникам, которые, хотя и не верили «во все это», все же на всякий случай не забывали об осторожности, я в какой-то момент сдерживал себя — до сих пор мои руки в камень не превратились, но кто знает… Я был похож на всех прочих членов моего осмотрительного семейства, которые, если им случалось выказать свое равнодушное или ироничное отношение к религии, предпочитали тут же перевести разговор на другую тему, обходили молчанием богобоязненность верующих людей (поскольку не понимали ее) и старались не заострять внимание на связи между религиозностью и бедностью.

Мне всегда казалось, что все эти люди то и дело повторяют Ее имя именно потому, что бедны. А слыша, с какой смесью удивления и пренебрежения в голосе, словно о человеке, только

что приехавшем из глухой деревни, мои домашние говорят, что такой-то, мол, религиозен и даже совершает намаз пять раз в день, я приходил и к противоположному выводу: возможно, эти люди бедны как раз потому, что так верят в Нее.

Мои представления об Аллахе не развились далее образа почтенной женщины в белых одеждах, и наши отношения остались на стадии полуосознанных осторожных опасений, о которых я предпочитал никому не говорить. Так получилось из-за того, что никто из моих близких не научил меня ничему, связанному с религией, — возможно, потому, что сами они имели весьма смутное представление об этих материях. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из них совершал намаз, соблюдал пост или бормотал молитвы. В этом смысле мои родственники походили на французских буржуа, давно отошедших от религии, но боящихся окончательно порвать с ней.

Эта образовавшаяся на месте веры пустота, эта леность души может показаться беспринципностью, цинизмом или безбожием, но во времена энтузиазма, сопровождавшего создание светской республики по плану Ататюрка, отдаление от религии демонстрировало стремление быть современным и европеизированным, в этом был отблеск своего рода идеализма, которым можно было гордиться — на людях. Но в семейной жизни место религии осталось таким же пустым, как те поросшие папоротником и усыпанные обломками печальные прогалины, на которых раньше стояли деревянные особняки, ставшие жертвой бессердечных поджигателей.

В нашем доме заполнять эту пустоту (и удовлетворять мое любопытство: если религия не имеет значения, зачем тогда в городе понастроили столько мечетей?) предоставлялось верующей и следующей религиозным обычаям прислуге. Из присловий, готовых у них на каждый случай («дотронешься — окаменеешь», «Аллах его дара речи лишил», «прилетел ангел и забрал его на небеса», «не вставай с левой ноги»), было нетрудно заключить, что религия — это не что иное, как набор суеверий или «слепая вера». Тряпочки, привязываемые на гробницы шейхов, свечки, зажигаемые у склепа святого Софу-бабы, «знахарские средства», которые заболевшие служанки варили себе на кухне, потому что не могли пойти к доктору, традиции многовековой истории дервишеских орденов, проникшие в нашу придерживающуюся республиканских убеждений, европеизированную семью в виде пословиц, поговорок, присказок, — все это превращало жизнь в подобие игры в классики, чьи правила запрещают наступать на определенные квадратики, а через другие предписывают перепрыгивать. Даже

сейчас, проходя по коридорам, улицам или площадям, я вдруг вспоминаю, что нельзя наступать на линии между плитками или на черные квадратики, и принимаюсь передвигаться подпрыгивающей походкой.

Многочисленные поверья и запреты, занявшие место религии, иногда путались у меня в голове с мамиными наставлениями вроде «не показывай пальцем». Порой мама говорила мне: «Не открывай окно, сквозняк будет», — и я долгое время был убежден, что она имеет в виду некоего святого Сквозняка (вроде святого Софу-бабы), дух которого лучше не тревожить.

Вместо того чтобы понимать религию как голос Аллаха, обращающегося к миру и к нашей совести через священные книги и пророков, мы низвели ее до набора странных, а иногда и забавных правил, которым низшие классы следуют просто в силу тягот своей жизни. В таком виде нам было легче допустить религию в свою повседневную жизнь. Ни моя бабушка, ни дяди, ни тети, ни папа с мамой никогда не соблюдали пост и единого дня, но тем не менее в Рамазан ждали захода солнца с тем же нетерпением, что и постящиеся. Если Рамазан наступал зимой, когда вечерняя темнота заставала мою бабушку и ее гостей за игрой в безик или покер, ифтар[61] превращался в чаепитие между партиями. Когда близилось время захода солнца, эти веселые пожилые женщины, обычно что-то жевавшие за игрой, прекращали это делать. Рядом со столом, за которым шла игра, с большой тщательностью накрывался еще один стол, какой можно было бы увидеть в особняке какого-нибудь благочестивого богача, — уставленный пирожками, оливками, бутербродами с сыром и колбасой и вазочками с вареньем. Когда мелодия флейты по радио извещала о приближении ифтара, бабушкины гостьи начинали в нетерпении спрашивать друг у друга, сколько еще осталось времени, как будто они с самого утра ничего не ели, а когда раздавался выстрел из пушки, означающий, что можно приступать к трапезе, они, дав сначала повару возможность поесть на кухне, сами начинали с жадностью поглощать угощения. Даже и по сей день, стоит мне услышать по радио мелодию флейты, как мой рот наполняется слюной.

Впервые побывав в мечети, я убедился, что мои представления относительно религии вообще и ислама в частности соответствовали действительности. Это был, так сказать, неофициальный визит: однажды после обеда, когда дома никого не было, Эсма-ханым отправилась в мечеть Тешвикийе (не из большой любви к богослужению, а скорее потому, что соскучилась в четырех стенах) и взяла меня с собой. В мечети было около тридцати человек: прислуга состоятельных

обитателей Нишанташи, повара, швейцары и владельцы небольших лавочек. Сидя на коврах и перешептываясь в ожидании намаза, они производили впечатление людей, собравшихся здесь не столько для того, чтобы помолиться вместе, сколько затем, чтобы пообщаться в дружеской атмосфере и обменяться последними сплетнями. Помню, пока они совершали намаз, я бродил между ними, играл во что-то, бегая по укромным уголкам мечети, и при этом никто из молящихся не остановил и не отругал меня, а многие даже ласково улыбались, как улыбались мне все взрослые, когда я был маленьким. Я еще раз убедился в том, что религия — удел бедняков, но пришел к выводу, что несмотря на газетные карикатуры и образ мыслей моих родственников, религиозные люди вполне безобидны.

Но какими бы простодушными и невинными ни были верующие, их предрассудки тормозили движение по великому пути модернизации, европеизации и прогресса — я понимал это, поскольку пренебрежительный тон, которым обычно говорили об этих людях в нашем доме, порой сменялся тоном властно-гневным. Мы были наделены властью управлять этими «невежами» не только потому, что владели собственностью, но и потому, что были европеизированными и «позитивно мыслящими» людьми. Мы должны были решительно пресекать чрезмерное увлечение этих людей своими странными суевериями — этого требовали не только наши личные интересы, но и интересы родины. Когда бабушке случалось обнаружить, например, что электрик, вызванный для исправления какой-то поломки, прервал работу и ушел совершать намаз, она отпускала весьма язвительные замечания, и я своим детским умом понимал, что сарказм ее вызван не столько остановкой пустячного ремонта, сколько вообще всеми этими нелепыми традициями и обычаями, не дающими нашей стране идти вперед.

Когда я читал в газетах статьи, написанные верными последователями Ататюрка, рассматривал карикатуры, изображающие закутанных в черные одежды женщин и бородатых реакционеров с четками в руках, или участвовал в школьных церемониях памяти Мустафы Кубилая,[62] у меня появлялось чувство, что эти милые суеверия бедняков могут однажды достичь устрашающих масштабов и нанести вред нам, отечеству и государству, которое, как всем нам казалось, принадлежит скорее нам, чем им, — и тогда я утверждался во мнении, что мы по праву являемся правящим классом. И еще в такие моменты я под влиянием атмосферы нашего дома, населенного любителями математики и инженерного дела, думал, что это право дано нам не потому, что мы владеем собственностью, а именно потому, что

мы — европеизированные, современно мыслящие люди. Поэтому я с пренебрежением относился к семьям, которые, будучи не беднее нас, не были столь европеизированы. Однако в последующие годы, когда в Турции произошла некоторая демократизация, в Стамбул стали перебираться и «показывать себя в обществе» богачи из провинции, нисколько не затронутые ни секуляризацией, ни влиянием западной культуры и бывшие при этом побогаче нас; в нашей семье, значительно обедневшей после коммерческих неудач отца и дяди, появление этих выскочек вызывало гнев и разочарование в справедливости мира: ведь если мы имеем право на эти ускользающие из наших рук деньги, собственность, привилегии и комфорт благодаря тому, что мы европеизированы, то как тогда объяснить богатство этих, по выражению некоторых леваков, «деревенщин», чей духовный горизонт не шире, чем у шоферов и поваров? (В те времена я еще ничего не знал ни о Джелаледдине Руми,[63] ни о тонкостях суфийской философии, ни о великой персидской культуре.) Европеизированные стамбульские буржуа все последние сорок лет поддерживали военные перевороты и вмешательство армии в политику не потому, что боялись левых радикалов (в Турции никогда не было достаточно сильного левого движения), а именно из-за страха перед тем, что однажды низшие классы могут объединиться с богачами из провинции и под знаменами религии выступить против их образа жизни. Впрочем, если я начну рассуждать о военных переворотах и политическом исламе, медленно, но верно вытесняющем религию, с которой он имеет гораздо меньше общего, чем принято считать, боюсь, я нарушу тайную гармонию этой книги.

Для меня главное в религии — чувство вины. В детстве я чувствовал себя виноватым из-за того, что не испытывал особенного страха перед почтенной женщиной в белых одеждах, являвшейся порой моему воображению, и недостаточно верил в Нее. Ощущал я вину и из-за того, что отделял себя от тех, кто в Нее верит. Но точно так же, как это было с моим воображаемым миром, к которому меня так неодолимо влекло и в который я так легко ускользал, я, повинуясь какому-то детскому инстинкту, всем сердцем отдавался этому беспокойному чувству — оно должно было развить мою душу и сделать мою жизнь более яркой и осознанной. Из-за этого беспокойства я часто чувствовал себя несчастным, но позже, когда вспоминал о прошлом, оно позволяло мне смотреть на оставшуюся позади жизнь с некоторым уважением. Что же касается другого, счастливого Орхана, которого я так часто представлял себе живущим в другом доме где-то в Стамбуле, то его подобные вопросы нисколько не

тревожили. Когда я уставал думать о религии и ощущать чувство вины, то мечтал о том, чтобы встретиться с ним, зная, что уж он-то не будет тратить время на такую ерунду, а лучше пойдет в кино.

И все же бывали в мои детские годы моменты, когда я склонял голову перед требованиями религии. В последнем классе начальной школы у нас была одна учительница — сейчас я вспоминаю ее как довольно неприятного и чрезмерно строгого человека, но в то время мне очень хотелось ей нравиться, и если она мне улыбалась, я был вне себя от счастья, а если хмурилась, то безмерно огорчался, — которая увлеченно рассказывала нам о «мудрых предписаниях нашей религии». В изложении этой седовласой женщины с вечной кислой миной на лице религия представала не совокупностью пугавших меня вопросов веры, убеждений и смирения, а набором рационально-утилитарных правил. По ее мнению, пророк Мухаммед придавал такое значение посту не только потому, что он укрепляет волю, но и потому, что поститься полезно для здоровья, — западные женщины, заботящиеся о своей красоте, многие столетия спустя открыли, какое большое значение имеет диета. Намаз представал своего рода гимнастикой, способствующей улучшению кровообращения и общему укреплению тела, — в наши дни миллионы японцев время от времени по сигналу свистка прерывают свою работу в офисах и на заводах, чтобы в течение пяти минут позаниматься физическими упражнениями, а у нас для этого есть намаз. Такой утилитаристский взгляд на ислам подпитывал стремление к вере и самопожертвованию, которое я, малолетний позитивист, тайно, в глубине души испытывал, и однажды во время Рамазана решил, что тоже буду соблюдать пост.

Я принял это решение под влиянием слов учительницы и для того, чтобы ей понравиться, но ей об этом не сообщил. Когда я рассказал о своем намерении маме, она немного удивилась, и в ее удивлении я почувствовал радость, смешанную с легкой тревогой. Вовсе не будучи религиозной, она при этом больше, чем кто-либо из нас, была склонна верить «на всякий случай» — и все же была уверена, что пост соблюдают только отсталые люди. С братом и папой я на эту тему предпочел не говорить. Стремление к вере, жившее в моей душе, превратилось в некую постыдную тайну еще до моего первого поста. Я знал, что позитивистские доводы в защиту религии, позаимствованные у пожилой учительницы, не выдержат столкновения с подозрительностью и насмешками моих родственников, очень чувствительных к вопросам классовых различий. Поэтому я соблюдал пост украдкой, ни перед кем этим

не хвастаясь и не ожидая одобрения. Возможно, маме стоило бы сказать мне, что религия не требует поста от одиннадцатилетнего ребенка, но она вместо этого просто постаралась накормить меня повкуснее вечером, дала мне мое любимое печенье и бутерброды с анчоусами. Она была рада видеть страх Божий в своем маленьком сыне, но в то же время я видел в ее глазах тревогу — не говорит ли это о том, что у меня есть склонность к саморазрушительным душевным мукам?

Двойственное отношение моей семьи к религии ярче всего проявлялось во время Курбан-байрама. Как полагается всем состоятельным мусульманам, мы покупали барана и привязывали его к колышку на нашем маленьком заднем дворе; утром в праздник к нам приходил мясник и резал барана, принося таким образом жертву Аллаху. Я, в отличие от некоторых жалостливых героев комиксов, не очень любил овец, поэтому блеяние барашка, доживающего свои последние часы, не заставляло мое сердце обливаться кровью. Более того, меня радовала мысль о том, что скоро мы избавимся от этого уродливого, тупого и вонючего существа. После того, как барашек прощался с жизнью, мы раздавали его мясо бедным, а сами приступали к праздничной трапезе, уплетая совсем другое мясо, купленное в лавке (потому что мясо только что зарезанного барашка дурно пахло), и запивая его пивом, которое ислам запрещает; эта картина лишний раз напоминала мне о том, что духовная жизнь моих родственников не была омрачена, как у меня, постоянным беспокойством и чувством вины. Суть жертвоприношения заключается в том, чтобы доказать свою преданность Богу, принеся в жертву животное *вместо* ребенка, и тем самым избавиться от чувства вины; мы же поступали прямо наоборот: *вместо* мяса жертвенного животного ели купленное в лавке мясо понежнее, и от этого чувство вины должно было бы становиться только сильнее.

Однако я жил в доме, где и более серьезные духовные вопросы было принято обходить молчанием. Пустота духовной жизни многих богатых стамбульских семей становилась особенно заметной не из-за пренебрежительного отношения к религии, а именно из-за этого молчания. О математике, школьных успехах, футболе и развлечениях в таких семьях говорят открыто, но, когда дело доходит до основополагающих жизненных вопросов, как-то любовь, нежность, религия, смысл жизни, ревность, ненависть, — каждый задается ими в растерянном и горьком одиночестве, а если, исстрадавшись, хочет кому-нибудь поведать о своих переживаниях, то не может сказать ни слова, а только в замешательстве машет руками, словно глухонемой. Потом включает радио, закуривает и молча погружается в свой

внутренний мир. Такого рода молчанием был окружен и мой пост. Была зима, дни стояли короткие, и я не испытывал особых мук голода, но все же, приступая вечером к еде, чувствовал радость и душевное спокойствие (хотя приготовленные для меня мамой кушанья, сдобренные майонезом, анчоусы и икра не очень-то походили на традиционную вечернюю трапезу во время Рамазана; правоверные обычно едят что-нибудь вроде оливок и колбасы). Радовало меня не столько сознание того, что я сделал что-то для Аллаха, а сколько то, что я успешно прошел через испытание, которому подверг себя сам, по доброй воле. Тем вечером, с удовольствием набив живот поплотнее, я побежал по промозглой улице в кинотеатр «Конак» и, забыв все на свете, предался просмотру голливудского фильма. После этого мне никогда больше и в голову не приходило соблюдать пост.

Однако этот мой неумелый религиозный опыт нисколько не отвадил меня от привычки задаваться вопросами вероисповедального и метафизического характера. Если, думал я, Аллах — настолько всеведущее существо, как принято думать, то Она должна понять, почему мне никак не удается поверить в Нее, и простить меня. Если я не буду превращать свое неверие в открытый вызов Ей, если не буду сознательно выступать против Нее, Она должна понять меня и учесть как смягчающее обстоятельство мои душевные терзания и мое чувство вины из-за того, что я в Нее не верю. Да и в конце концов, зачем Ей обращать внимание на такого маленького мальчика, как я?

Я боялся не Аллаха, а гнева тех, кто в Нее верит, направленного на таких, как я. Кроме того, я боялся глупости этих людей, в чьих, с позволения сказать, умах не было ни малейшего отблеска божественной мудрости. Многие годы меня не покидал страх, что однажды мне придется поплатиться за то, что я не такой, как «они», и этот страх оказал на меня гораздо большее влияние, чем пропитанные левыми идеями теоретические книги, которые я читал в юности. Позже я удивился, обнаружив, что многие европеизированные стамбульцы, отошедшие от религии, не ощущают по этому поводу ни малейшего чувства вины. Мне нравится думать, что все эти люди, никогда не выполняющие предписаний религии и относящиеся к вере представителей низших классов с тем же высокомерным пренебрежением, с каким эстетствующие снобы относятся к художественным вкусам «черни», в какой-то момент своей жизни (например, попав в автомобильную аварию или лежа в больнице) достигнут тайного взаимопонимания с Аллахом.

Помню, в средней школе у меня был приятель, такого взаимопонимания явно не достигший, — он поражал меня своей

смелостью в подобных вопросах, которые мы с ним довольно наивно обсуждали на переменах. Этот маленький богохульник, сын сказочно богатого подрядчика, жил в роскошном доме на вершине одного из холмов над Босфором, окруженном огромным садом, по которому он разъезжал, восседая на породистом скакуне (и даже был представителем Турции на международных состязаниях по конным видам спорта). Однажды, увидев во время нашего философского спора, что я в страхе от его смелых суждений потерял дар речи, он вдруг поднял глаза к небу и сказал: «Если Аллах есть, то пусть он меня тут же убьет!» И с поразившей меня уверенностью добавил: «Ну что, как видишь, я все еще жив!» Это вызвало у меня очередной приступ чувства вины: я хотел быть таким же храбрым, как он, и в глубине души подозревал, что он прав, — но при этом мне (не вполне осознанно) нравилось смятение в моей голове.

Чувство вины, истоки которого следует искать скорее не в отдалении от Аллаха, а в оторванности от общинного духа города, я переживал как свою личную беду. После того как мне исполнилось двенадцать, мои интересы, равно как и чувство вины, спустились с метафизических высот и перешли в область отношений между полами, и беспокойство, которое внушала мне религия, утихло. И все же я до сих пор вздрагиваю, если в людской толпе, на пароходе или на мосту вижу пожилую женщину в белом чаршафе.

21
Богатые

В середине 1960-х годов мама каждое воскресенье покупала газету «Акшам». Это была газета не из тех, что каждый день приносили нам в дом по подписке, — чтобы купить ее, нужно было специально сходить к газетному киоску. Папа, знавший, что маму в этой газете интересовала в первую очередь колонка под заглавием «А вы об этом слышали?», в которой некая особа, прячущаяся за псевдонимом Гюль-Пери,[64] делилась последними сплетнями и слухами из жизни высшего общества, не упускал случая отпустить по этому поводу шутку-другую. Папины шутки и насмешки давали мне понять, что интерес к сплетням из жизни высшего общества — не самое достойное человеческое качество. Во-первых, потому, что скрывающиеся за псевдонимами сочинители подобных колонок из зависти к людям «нашего круга» (или того круга, который нам все еще хотелось считать «нашим») по большей части насмехаются над ними и выдумывают небылицы; во-вторых, какими бы вымышленными ни были эти истории, образ жизни богатых, имевших неосторожность попасть в подобные колонки, уж точно не может служить образцом для подражания. Тем не менее папа тоже читал все собранные Гюль-Пери сплетни и принимал их за чистую монету.

«Бедняжка Фейзийе Маденджи! В ее дом в Бебеке проникли воры, но что они похитили, неизвестно. Сможет ли полиция разгадать эту загадку?

Айсель Мадра прошлым летом ни разу не искупалась в море — из-за того что ей вырезали гланды. Этим летом она предается развлечениям на острове Куручешме, но, как нам известно, порой немного нервничает. Почему? Ах, лучше не спрашивайте…

Муаззез Ипар отправилась в Рим. Мы еще никогда не видели, чтобы мысль о предстоящем путешествии делала эту элегантную представительницу высшего света такой счастливой. В чем здесь дело, уж не в том ли господине, который едет вместе с ней?

Семирамис Сарыай, проводившая летние месяцы на острове Бюйюкада, возвращается на свою виллу на Капри. Оттуда, конечно, гораздо ближе до Парижа, где должно состояться несколько выставок ее картин. Очередь за выставкой скульптур?

Высшее общество Стамбула кто-то сглазил! Многих людей, чьи имена упоминались в этой колонке, преследуют разнообразные недуги, заставляющие их ложиться на операционный стол. Последний пример — Харика Гюрсой,

которую мы недавно видели беззаботно веселящейся на вечеринке в доме покойного Рушена Эшрефа…»

«У Харики, должно быть, тоже вырезали гланды», — говорила после мама.

«Она бы лучше сначала избавилась от бородавок на лице», — с равнодушным бессердечием отвечал папа.

Прислушиваясь к таким разговорам, я понимал, что со всеми героями этой колонки, иногда называемыми по именам, а иногда нет, мои родители знакомы и что мама все-таки завидует их образу жизни, потому что они богаче нас. Мамино раздражение по поводу их богатства иногда сквозило в тоне, которым она говорила, что такой-то «угодил в газеты». В этой фразе было и недоверие к стамбульским газетам, часто дающим ложную информацию, и глубокое, чисто стамбульское убеждение в том, что богатые люди не должны привлекать к себе чрезмерного внимания.

В этом убеждении мама была не одинока: я помню, что в годы моего детства и юности многие представители стамбульской буржуазии полунамеками (и гораздо реже открыто) говорили, что богатые люди не должны выставлять напоказ свое богатство и политическое влияние, если таковое имеется. Мнение, очень характерное для стамбульских богачей тех лет; однако оно объяснялось не тем, что в их кругу было принято гордиться своей скромностью и неприверженностью к «протестантской» этике труда и накопительства. Причина была проста — страх перед государством. На протяжении многих веков османское государство в лице султанов рассматривало чрезмерно разбогатевших подданных (как правило, это были обладающие политическим влиянием паши) как угрозу своей власти и при первой возможности стремилось расправиться с ними, а их имущество конфисковать. Что же касается евреев, разбогатевших в последние столетия существования империи до такой степени, что выдавали займы государству, и армян с греками, занимавшихся мелкой торговлей и ремесленничеством, то они очень хорошо помнили введенный в годы Второй мировой войны жестокий налог на собственность, лишивший их денежных накоплений и заставивший продать фабрики, и страшные события 6–7 сентября 1955, когда были разгромлены их лавки.

Поэтому поведение приезжавших в Стамбул из Анатолии латифундистов или провинциальных промышленников во втором поколении, хвастливо выставлявших свое богатство напоказ, среди коренных стамбульских богачей считалось излишне

смелым и легкомысленным. Неудивительно, что в стамбульских семьях, трепещущих перед государством или не сумевших, как мы, удержать свое богатство более чем на протяжении жизни одного поколения, этих людей было принято называть выскочками и всячески высмеивать. Одним из таких провинциалов был Сакып Сабанджи, богач во втором поколении, переехавший в Стамбул из Аданы, ныне глава второй по богатству семьи Турции. Каким только насмешкам он не подвергался за свое легкомыслие, странные взгляды и экстравагантное поведение! (За глаза, конечно. Да и газеты, боясь потерять рекламу принадлежащей Сабанджи компании, избегали писать о нем в шутливом тоне.) Тем не менее именно благодаря своей провинциальной смелости и склонности выставлять богатство напоказ он, следуя примеру Фрика,[65] смог превратить свой дом в лучший частный музей Стамбула.

Другой причиной, по которой стамбульские богачи времен моего детства предпочитали прятать свое состояние и не использовать его для собрания коллекций и создания музеев, было вполне справедливое опасение, что люди могут подумать, будто их богатство нажито нечестным путем. Поскольку государство в лице чиновников проявляло навязчивое любопытство к промышленному производству, значительный капитал невозможно было сколотить, не сотрудничая так или иначе с политиками. Так что можно было с полным основанием предполагать, что в биографии любого, даже самого законопослушного богатого человека есть темные пятна. После того, как оставленные дедушкой деньги закончились, мой отец был вынужден долгие годы работать в компании Вехби Коча (еще одного турецкого миллионера). Дома он пародировал провинциальный акцент своего босса и отпускал веселые шуточки относительно умственных способностей его сына, не унаследовавшего сообразительности отца. Но этим папа не ограничивался — будучи в плохом настроении, он не раз говорил, что Сабанджи не был бы так богат, если бы во время Второй мировой войны не нажился на голоде и очередях за хлебом.

В годы моего детства и юности на стамбульских магнатов было принято смотреть не как на людей, полагающихся только на самих себя, разбогатевших благодаря своим предпринимательским способностям или продуманным торговым операциям и теперь продолжающих развивать свой успех теми же методами, что принесли им успех, а как на ловкачей, которые когда-то сумели с помощью подкупленных чиновников ухватиться за выгодную возможность, набили мошну, а теперь стараются утаить и уберечь свое богатство (в 1990-е годы это стало уже не

так актуально), а главное — представить дело так, будто богатство это принадлежит им по праву. Поскольку для того, чтобы разбогатеть, им не пришлось прилагать интеллектуальных усилий, они не очень-то интересовались книгами — да что там, даже в шахматы играть не любили. Разительное отличие от времен Османской империи, когда человек, выучившись и приобретя знания, мог высоко подняться по государственной лестнице и стать богатым пашой! Представление о том, что с помощью образования можно возвыситься, ушло в прошлое вместе с империей, суфийским мистицизмом, дервишескими обителями и умением читать старые, написанные арабскими буквами книги, — вместе со всей этой утонченной культурой, которая после установления республики и реформы алфавита должна была сама по себе отмереть и уступить место культуре европейской.

Единственное, что могли сделать эти трепещущие (и не зря) перед государством, робкие, не обремененные особенным интеллектом новые стамбульские богачи для того, чтобы придать своему состоянию (которое в большинстве случаев им не удавалось в целости и сохранности передать детям) видимость законно приобретенного и чувствовать себя более-менее спокойно, — это выставить себя людьми куда более европеизированными, чем на самом деле. Именно поэтому они не жалели денег на произведенные в Европе костюмы, предметы домашнего обихода и всевозможные технические новинки, от соковыжималок до электробритв. Продемонстрировав друг другу эти приобретения, они чувствовали себя счастливыми. До каких странностей могло довести людей стремление казаться европейцами, видно на примере представителей некоторых старых стамбульских семей, которым удалось вновь разбогатеть: несмотря на то что у них уже не было никаких причин бояться государства, они могли вдруг ни с того ни с сего (как это случилось с одним хорошим знакомым моей тети, знаменитым журналистом и владельцем газеты) в одночасье распродать все свои компании, дома и имущество и переселиться в какой-нибудь ничем не примечательный район Лондона, чтобы до конца жизни глядеть в окно на стену соседнего здания или смотреть английские телепрограммы, не очень понимая, о чем в них говорится, но пребывая, тем не менее, в уверенности, что это лучше, чем жить в Стамбуле в доме с видом на Босфор. Другие примеры заставляют вспомнить русских дворян и «Анну Каренину»: многие знакомые мне семьи выписывали из Европы гувернанток, чтобы те учили детей иностранным языкам, а кончалось все тем, что хозяин дома сбегал с этой гувернанткой.

Поскольку в Османской империи не было наследственной аристократии, после установления республики «неаристократическое» происхождение само по себе не могло служить доказательством благонадежности, и стамбульским богачам пришлось доказывать, что они — «не такие», «другие», «правильные». Для того чтобы понять, что богатый человек, проявляющий интерес к следам материальной культуры империи, — не обязательно враг европеизации, потребовалось не одно десятилетие, и только в восьмидесятые годы богачи начали собирать антикварные вещи османской эпохи — увы, к тому времени эти раритеты успели по большей части кануть в небытие вместе со сгоревшими особняками. Поскольку сами мы были людьми богатыми (или все еще считались таковыми), мои родственники любили в семейном кругу обсудить в шутливом тоне жизнь того или иного стамбульского богача, его манеры и привычки, а самое главное — то, какими путями он добыл свое богатство. (Моя любимая история — о человеке, который в годы Первой мировой войны привел в Стамбул целое судно, груженное сахаром, разбогател за одну ночь и до конца своей жизни проедал сколоченное тогда состояние.) Благодаря этим историям богатые в моих глазах никогда не были окружены ореолом таинственности, и все-таки каждый раз, когда я сталкиваюсь с одним из них (будь то какой-нибудь далекий родственник, знакомый, мамин или папин друг детства, наш сосед по Нишанташи или кто-нибудь из тех, о ком намеками пишут в колонке «А вы это слышали?»), меня охватывает любопытство: каково это — вести жизнь, в которой нет места культуре, и постоянно испытывать чувство непрочности и пустоты бытия, возникающее, когда у тебя есть много денег, но ты не знаешь, что с ними делать?

Например, у папы был один знакомый юности, весьма элегантный дядюшка, унаследовавший от своего отца, паши и одного из визирей последних лет Османской империи, такое громадное состояние, что ему «не пришлось работать ни единого дня в своей жизни» (что в те годы служило доказательством настоящего богатства, но я никак не мог понять, с одобрением или с осуждением говорились эти слова). Большую часть дня он ничего не делал, разве что читал газету, сидя в своей квартире в Нишанташи, или смотрел в окно на проходящих по улице людей; после обеда он, не торопясь, облачался в костюм, заказанный в Париже или Милане, брился, вдумчиво причесывал усы и совершал свое единственное за день деяние: отправлялся в отель «Хилтон», где два часа подряд сидел в холле или в кафетерии, попивая чай. «Видишь ли, только там я чувствую себя, как в

Европе», — сказал он как-то моему папе с серьезным и печальным видом, словно делясь важной тайной, и таким тоном, будто просил разделить с ним его глубокую душевную боль. Представительницей того же поколения была одна мамина подруга — очень богатая и очень толстая женщина, при встрече говорившая каждому: «Как поживаешь, мартышка?» — даром что сама была весьма похожа на обезьяну. Всю свою жизнь она отказывала тем, кто хотел на ней жениться, потому что они были недостаточно европеизированными и утонченными, и увивалась за мужчинами благородными и состоятельными, которые, однако, никак не хотели жениться на ней, потому что она была недостаточно красива. Когда дело близилось к пятидесяти, она вышла замуж за полицейского, по ее словам, «очень благовоспитанного человека, настоящего джентльмена», однако вскоре этот брак распался, после чего до конца своих дней она советовала всем знакомым девушкам выходить только за богатых мужчин своего круга.

Представителям последнего поколения османских богачей, детям пашей, более-менее усвоившим и традиционную, и европейскую культуру, не удалось превратить унаследованную от родителей собственность в капитал и стать частью стремительно богатеющей стамбульской финансовой и промышленной буржуазии. Причина этого заключалась в том, что они считали ниже своего достоинства не то что заключать сделки, а даже выпить чашку чая за одним столом с «этими неотесанными мужланами». Может быть, их, привыкших к обману и жульничеству в деловой сфере, отталкивала привычка следующих общинной этике провинциалов вести дела в атмосфере «подлинной и искренней дружбы». При этом они, как правило, не замечали, как их самих надувают юристы, нанятые, чтобы охранять их собственность и собирать арендную плату с жильцов принадлежащих им зданий. Мы иногда бывали в гостях у кого-нибудь из этих старых богачей, и, глядя на них, я понимал, что они предпочитают общество своих собак и кошек обществу людей, — тем больше я ценил ласковое внимание, уделяемое ими мне. Они жили в особняках или в ялы на Босфоре, которые впоследствии стали стоить огромных денег (те, что не сгорели), в окружении вещей, которые через десять — пятнадцать лет начнут появляться в антикварной лавке Раффи Портакала: подставок для книг, диванов, инкрустированных перламутром столиков, писанных маслом картин, дощечек, покрытых каллиграфической арабской вязью, старинных ружей, мечей дедовских времен, орденов, полученных предками, огромных часов и тому подобного. Немало было у них и другой собственности, но при

этом они жили скромно, едва ли не бедно, и эта скромность была мне очень по душе. У каждого из них были свои странности, свидетельствующие о сложностях в отношениях с реальной жизнью, идущей своим чередом за стенами особняков и ялы. Помню, как один изможденный старичок с палочкой, усадив папу в уголке, показывал ему свою коллекцию часов и оружия с таким видом, будто демонстрировал набор порнографических картинок. Одна пожилая тетушка советовала нам по пути к причалу обойти грозящую обвалиться стену точно в тех же выражениях, что и пятью годами ранее; другая говорила только шепотом, чтобы не услышала прислуга; третья, в очередной раз задав маме несколько в высшей степени нетактичных вопросов, принималась выяснять, из каких мест был родом мой дедушка, папин папа. Один наш толстый родственник, имевший обыкновение не торопясь водить своих гостей из комнаты в комнату, словно проводя экскурсию по музею, каждый раз рассказывал нам о каком-то мелком коррупционном скандале семилетней давности, как будто только этим утром прочитал о нем в «Джумхурийет» и поражен масштабами охватившего город бесстыдного взяточничества. Мама выслушивала все эти истории и отвечала на расспросы о здоровье домашних, краем глаза поглядывая на нас с братом — хорошо ли мы себя ведем. А мне в какой-то момент вдруг становилось понятно, что мы этим «богачам» совсем не так интересны, как они хотят показать, что они не считают нас себе ровней, и меня охватывало желание как можно скорее уйти из этого особняка и вернуться домой. Обычно это случалось, если кто-нибудь из хозяев неправильно произносил папино имя или выяснялось, что он думает, будто наш дедушка был мелким провинциальным землевладельцем, или — я часто сталкивался с подобным поведением живущих замкнутой жизнью богачей былых времен — какая-нибудь житейская мелочь (поданный к столу колотый сахар вместо сахарного песка, неподобающий цвет носков у девушки-служанки или прошедший слишком близко от ялы катер) вызывала у этих старичков и старушек такую вспышку гнева, что они совсем забывали про нас и никак не могли успокоиться. Их сыновья и внуки, с которыми я, как ожидалось, должен был играть, были «трудными детьми». С ними то и дело происходили неприятные истории: то подерутся в местной кофейне с рыбаками, то побьют священника в своей французской школе… Впоследствии многие из них, если их не успевали вовремя сдать в психиатрическую больницу где-нибудь в Швейцарии, кончали жизнь самоубийством.

Неуживчивый характер и ревнивое отношение богатых к своей собственности приводили к бурным семейным распрям,

нередко заканчивавшимся в суде, — в этом я видел определенное сходство между ними и нами, обитателями дома семейства Памук. Иногда тяжущиеся родственники, обитающие в одном огромном особняке, продолжали как ни в чем не бывало по вечерам весело ужинать за одним столом, точь-в-точь, как мой папа, дядя и тети. Но порой обида была так нестерпима, что они, продолжая жить в одном доме, годами не разговаривали друг с другом. Не в силах больше видеть своего ненавистного родича, они делили особняк пополам уродливой гипсовой стенкой, проходящей через самый большой, просторный зал с прекрасным видом на Босфор; тонкая стенка скрывала их друг от друга, но кашель и шарканье ног сквозь нее были слышны замечательно. При этом особняк они делили не так, чтобы жить в нем было удобно им самим, а так, чтобы причинить как можно больше неудобств противной стороне. Были даже случаи обращения в суд с целью под тем или иным предлогом запретить родственникам ходить по дорожке, ведущей к садовой калитке.

Впоследствии, видя, как такие же имущественные конфликты раздирают уже семьи нового поколения, я пришел к выводу, что ненависть к родственникам — специфическая черта стамбульских богачей. Один человек, разбогатевший, как и мой дед, в первые годы республики, приобрел у паши времен Абдул-Хамида участок земли неподалеку от нашей улицы — проспекта Тешвикийе. Двое его сыновей поделили участок между собой, после чего один из них, младший, построил на своей половине дом, находившийся, в соответствии с правилами, утвержденными муниципалитетом, на некотором расстоянии от тротуара. Через несколько лет старший брат построил дом на своей половине, тоже не нарушив правил, но все-таки на три метра ближе к тротуару — чтобы испортить младшему брату вид из окон. Тот ответил адекватно, соорудив стену высотой с пятиэтажный дом, — как было известно всему Нишанташи, исключительно для того, чтобы загородить вид из боковых окон дома старшего брата.

Подобные ссоры — редкое явление в семьях, перебравшихся в Стамбул из провинции. Пытаясь освоиться и прижиться на новом месте, их члены, напротив, по мере сил стараются помогать друг другу. В 1960-е годы, когда вместе с бурным ростом населения Стамбула рванули вверх и цены на городскую землю, потомственные стамбульцы, сумевшие сохранить в своей собственности земельные участки, внезапно обнаружили, что разбогатели. И конечно же, первое, что они сделали для того, чтобы доказать всем, что они не какие-нибудь нувориши, — принялись ожесточенно делить имущество со своими родственниками. В Стамбуле жили два брата, владевшие

бесплодными, голыми холмами за Бакыркёем. Когда город начал расти, они вдруг оказались невообразимо, несметно богаты. Возможно, поэтому в начале 1960-х годов младший брат взял и убил старшего, выстрелив в него из револьвера. Газеты, впрочем, намекали, что причиной убийства были любовные отношения между старшим братом и женой младшего. Меня это преступление особенно интересовало, поскольку сын убийцы, рыжий, бледный, зеленоглазый мальчик, учился со мной в одном классе начальной школы. Газеты несколько дней подряд посвящали первые страницы разбору всех подробностей убийства, гадая, что же за ним стояло — имущественные разногласия или ревность, а этот мальчик продолжал ходить в школу, все время в одной и той же баварской курточке и шортах, и весь день тихо плакал, утирая слезы платком. С тех пор прошло сорок лет, но каждый раз, когда я проезжаю через район, выросший на тех холмах (теперь там живет 250 тысяч человек), или слышу его название, совпадающее с фамилией моего одноклассника в баварской курточке, я снова вспоминаю, как горько и не напоказ он плакал и какими красными при этом были его глаза.

В семьях богатых судовладельцев — выходцев с побережья Черного моря — не было принято решать свои разногласия в суде. Они предпочитали более решительный способ — оружие. Начав с флотилий небольших парусных лодок, эти семьи вскоре принялись соперничать между собой из-за государственных подрядов. Причем это соперничество происходило отнюдь не в духе западных представлений о конкуренции — они организовывали вооруженные банды, стараясь запугать друг друга. Иногда, устав от перестрелок и убийств, они поступали точь-в-точь как средневековые монархи: выдавали дочерей замуж за сыновей конкурентов и женили своих сыновей на их дочерях. Перемирия, впрочем, были кратковременными, и вскоре бравые судовладельцы вновь принимались истреблять друг друга, к большому огорчению несчастных девушек, для которых теперь и те, и другие были родственниками. От парусных лодок они со временем перешли к баржам, потом к небольшим грузовым судам, и пошло-поехало. Дошло до того, что один судовладелец породнился с президентом, выдав дочь за его сына, а другие благодаря своим роскошным вечеринкам и приемам с икрой и шампанским стали завсегдатаями маминой любимой колонки «А вы об этом слышали?».

Маму с папой приглашали на эти приемы, свадьбы и балы, иногда им составляли компанию дядя со своей женой и бабушка. Вернувшись, они приносили сделанные там моментальные фотографии и на несколько дней ставили их на буфет.

Разглядывая их, я узнавал некоторых знакомых нашей семьи, бывавших у нас в гостях, нескольких знаменитых миллионеров, известных мне по фотографиям в газетах, и прикормленных ими политиков. Потом, слушая, как мама разговаривает по телефону со своей сестрой, чаще нее ходившей на подобные приемы, я пытался представить себе атмосферу свадьбы. Начиная с 1990-х годов у представителей высшего света стало хорошим тоном приглашать на свадьбы телевидение, прессу и фотомоделей и устраивать роскошные фейерверки, оповещающие о событии весь город, но в те времена богатые, собираясь вместе, стремились не столько продемонстрировать всем прочим свое богатство, сколько на какое-то время забыть о своих страхах и тревогах. Когда взрослые брали меня с собой на свадьбы и приемы, мне бывало немного не по себе, но я все же чувствовал радость от того, что нахожусь в окружении богатых людей. Эту радость я видел и в сияющих маминых глазах, когда после долгих сборов мы наконец выходили из дома, но объяснялась она не предвкушением приятного времяпрепровождения, угощения и развлечений — нет, это была радость от предстоящего общения с богатыми и от осознания того, что ты, по той или иной причине, считаешься одним из них.

Входя в ярко освещенный зал или, если дело было летом, прогуливаясь в саду среди великолепно сервированных столов, роскошных шатров, цветов, суетящихся слуг и официантов, я чувствовал, что богатым нравится находиться в обществе себе подобных, что у них от одного вида друг друга улучшается настроение. Все они вглядывались в окружающих, как моя мама, пытаясь выяснить, «кто еще здесь есть», и очень радовались, видя, что находятся именно среди тех, кого надеялись здесь встретить. Большинство из них приобрело капиталы не благодаря уму, способностям или трудолюбию, а в результате счастливого стечения обстоятельств или какого-нибудь мошенничества, о котором им хотелось бы забыть. Они понимали, что их будущее зависит не от них самих, а от того, насколько сохранны будут их сбережения. Находясь в обществе людей, получивших, как и они сами, высокое положение в обществе исключительно благодаря деньгам, они чувствовали себя увереннее и спокойнее.

Как правило, через некоторое время после прихода в гости я вдруг начинал ощущать себя здесь лишним, чужим. Мое настроение падало, когда мне на глаза попадалась какая-нибудь дорогая вещица, которой не было у нас дома, например электрическая мясорезка, а если я замечал, как мило папа с мамой общаются с людьми, которых дома с презрительной усмешкой называли не иначе как жуликами и мошенниками, я

совсем расстраивался. Через некоторое время я догадывался, что ни мама, искренне радующаяся общению с этими людьми, ни папа, возможно, флиртующий сейчас с одной из своих тайных любовниц, не забыли обо всех этих темных историях и слухах, просто решили на время притвориться, будто ничего о них не знают. Разве не так же поступали и все другие богатые? Может быть, само звание богача предполагает постоянное притворство? Например, многие из них на приемах принимались жаловаться на то, как ужасно их кормили во время последнего полета на самолете, как будто это был вопрос необыкновенной важности, как будто в своей повседневной жизни они не питались чаще всего как попало, самой обыкновенной пищей. Подобно деньгам, которые они клали («уводили», по выражению моих родителей) на счета в швейцарских банках, свою душу они тоже с необычайной легкостью прятали куда-то далеко-далеко, в надежное и труднодоступное место. Порой я думаю, что это послужило мне дурным примером в жизни.

Впрочем, однажды папа обронил замечание, давшее мне понять, что иногда эти люди все-таки доставали свою душу из сейфа. Мне было тогда двадцать лет; в разговоре с отцом я принялся яростно нападать на стамбульских богачей, обличая их глупость, бездуховность и стремление показать себя большими европейцами, чем они есть на самом деле. Почему, вопрошал я, они не собирают художественные коллекции и не открывают музеи, почему они ничем не увлекаются и не интересуются, почему живут так трусливо и заурядно? После общих замечаний я перешел к язвительным обвинениям в адрес конкретных людей: наших знакомых, маминых и папиных друзей детства, родителей некоторых моих приятелей… Тут папа осторожно прервал мою тираду (возможно, как я потом думал, он, испугавшись, что такие взгляды обрекут меня на несчастную жизнь, захотел меня об этом предупредить) и сказал, что женщина, о которой я говорю (это была одна наша очень красивая знакомая) на самом деле — «очень добрая и отзывчивая девушка», и я бы сам понял это, если бы мне довелось узнать ее поближе.

22
Корабли, плывущие по Босфору, пожары, бедность, переезды и другие напасти

Постоянные крушения коммерческих проектов моего отца и дяди, ссоры между родителями и конфликты между нашей маленькой семьей и большим семейством во главе с бабушкой потихоньку приучали меня к мысли о том, что в жизни, несмотря на все ее удовольствия, которых с каждым днем мне открывалось все больше (рисование, секс, дружба, сон, любовь, еда, игры, фильмы и так далее), и таящиеся в ней бесконечные возможности для радости, есть место и непредсказуемым, внезапным бедам и катастрофам — большим и маленьким, серьезным и не очень. В годы моего детства по радио после новостей и прогноза погоды иногда передавали «предупреждение морякам», которое внимательно слушали не только моряки, но и весь город, — очень серьезным голосом диктор зачитывал координаты обнаруженных при выходе из Босфора в Черное море плавучих мин. Теперь я знал, что так же неожиданно, как корабль может столкнуться с миной, с человеком может случиться беда.

В любой момент могло произойти что угодно. Могли в очередной раз поссориться родители, на верхнем этаже мог вспыхнуть конфликт из-за собственности, брат, выйдя из себя, мог решить преподать мне урок, который я запомню на всю жизнь. Отец, придя домой, мог как бы между прочим сообщить, что продал квартиру, в которой мы живем, и нам нужно переезжать, или что на его имущество наложен арест, или что он отправляется в дальнюю поездку.

В те годы мы часто переезжали с квартиры на квартиру. По мере приближения переезда в доме нарастало напряжение. Маме нужно было проследить за тем, чтобы все было собрано вовремя, а каждая миска и тарелка — завернута в отдельную газету, поэтому она не могла следить за нами с братом так же внимательно, как обычно, и мы были вольны бегать по всему дому и играть, как нам заблагорассудится. Потом носильщики начинали передвигать и один за другим уносить буфеты, шкафы и столы, которые мы привыкли считать неподвижной и неотъемлемой частью пейзажа квартиры. При мысли о том, что сейчас мы покинем дом, где жили несколько лет, меня охватывала печаль. Единственным утешением было то, что под

сдвинутым с места буфетом могли вдруг обнаружиться давным-давно потерянный карандаш, шарик или дорогая мне игрушечная машинка. Возможно, квартиры, в которых мы жили в те годы, были лишены удобств и душевной атмосферы нашего родового гнезда, но я вовсе не был огорчен тем, что мы его покинули, потому что из окон наших новых домов в Джихангире и Бешикташе открывался замечательный вид на Босфор. Наше постепенное обеднение, таким образом, не очень меня тревожило.

Для противодействия жизненным невзгодам у меня наготове всегда был целый набор мер. Я разработал систему «правильных» действий, которые нужно было непременно осуществлять в сочетании друг с другом и в определенной последовательности (например, не наступать на линии между плитками и никогда не закрывать до конца некоторые двери). Еще можно было уйти в мир воображения и встретиться там с другим Орханом, заняться рисованием, напроситься на беду самостоятельно, затеяв ссору с братом, или начать считать корабли, проходящие по Босфору.

Считать корабли я начал давным-давно, еще совсем маленьким: румынские нефтяные танкеры, советские военные крейсера и метеорологические корабли, приходящие из Трабзона[66] небольшие парусные суда, болгарские пассажирские пароходы, турецкие корабли, отплывающие в Черное море, роскошные итальянские трансатлантические лайнеры, угольные баржи, сухогрузы из Варны, некрашеные, неухоженные и проржавевшие грузовые суда и темные, сомнительного вида корабли, пришедшие неизвестно откуда и невесть под каким флагом. Однако я считал далеко не все, что плавало по Босфору: я, как и отец, оставлял без внимания моторные катера, перевозящие с берега на берег чиновников и возвращающихся с базара женщин с авоськами в руках, и пароходы городских линий, торопящиеся из одного конца города в другой с задумчивыми и печальными пассажирами на борту, курящими папиросы и пьющими чай. Эти хорошо знакомые корабли, словно домашняя мебель, давно стали частью моего мира, поэтому в расчет не принимались.

Я считал корабли с какой-то тревогой, а иногда и с грустью в душе, порой охваченный напряженным волнением, а чаще всего даже не замечая того, что считаю. При этом я чувствовал, что с помощью подсчетов привношу в свою жизнь некую упорядоченность. Когда в минуты злобы и тоски я бежал от самого себя, от школы, от жизни, чтобы часами бродить по стамбульским улицам, я переставал считать корабли. В такие моменты я тосковал по несчастьям, пожарам, по другой жизни, другому Орхану.

Может быть, суть этого наваждения станет вам понятнее, если я расскажу, при каких обстоятельствах я начал свои подсчеты. В то время, в начале 1960-х годов, мы жили в Джихангире, в построенном дедушкой доме. Из окон нашей маленькой квартиры открывался вид на море. Я тогда ходил в последний класс начальной школы, стало быть, мне было одиннадцать лет. Один раз в месяц я заводил будильник с нарисованным на нем колокольчиком, так чтобы он прозвенел за несколько часов до восхода солнца. Просыпаться в ночном безмолвии было очень холодно, потому что огонь в печке на ночь гасили; сам я зажечь его не мог и поэтому перебирался в другую комнату, обычно пустовавшую, хотя иногда там ночевала служанка. Я забирался на стоящую в этой комнате кровать, открывал учебник турецкого и начинал торопливо повторять стихотворение, которое мне нужно было выучить к школе:

О флаг, о славный флаг,
Реющий в небесах!

Каждый, кому волей-неволей случалось учить какой-нибудь текст, молитву или стихотворение, знает: чтобы слова лучше отложились в памяти, нужно постараться отвлечься от того, что видят глаза, и тогда нашему умственному взору являются образы, позволяющие облегчить процесс запоминания. Глаза же тем временем, освободившись от контроля сознания, принимаются оглядывать мир будто сами по себе. И вот темным зимним утром я сидел на кровати, дрожал от холода и пытался выучить стихотворение, устремив отсутствующий взгляд в окно, на сумрачный Босфор, виднеющийся за крышами четырех- и пятиэтажных зданий, трубами ветхих деревянных домов, которым в ближайшие десять лет предстояло всем подчистую сгореть, и минаретами мечети Джихангир.

В этот ранний час пароходы городских линий еще не ходили, и Босфор, не освещенный прожекторами, был погружен в полную темноту. Иногда ее немного рассеивали фонари стоящих на азиатском берегу подъемных кранов пристани Хайдарпаша, прожектора бесшумно проплывающего грузового судна, еле заметный лунный свет или фары случайной моторной лодки, и тогда становились заметны обросшие мидиями и водорослями огромные ржавые баржи, одинокая рыбачья лодка и призрачно-белая Девичья башня, но большую часть времени тьма над Босфором была непроглядной. Даже когда задолго до рассвета дома и поросшие кипарисами кладбища на холмах азиатской стороны начинали потихоньку освещаться, Босфор оставался

черным, и казалось, что таким он останется навсегда.

Пока мозг был занят своей таинственной игрой, повторяя и запоминая строчки стихотворения, мои глаза иногда принимались следить за каким-нибудь медленно движущимся по Босфору объектом — кораблем необычных очертаний или спозаранку отправившимся на промысел рыболовецким судном. Несмотря на то что мое сознание не обращало никакого внимания на эти объекты, глаза автоматически продолжали за ними следить и успокаивались только тогда, когда понимали, что перед ними нечто знакомое: да, говорил я сам себе, это грузовое судно, а это — рыболовецкая шхуна с выключенным фонарем, вот пассажирский катер, перевозящий с азиатского берега на европейский первых пассажиров, а вот старый сухогруз, идущий в какой-нибудь далекий советский порт…

Одним таким утром, когда я, съежившись от холода под одеялом, учил стихотворение, мои глаза вдруг увидели нечто такое, чего раньше им никогда видеть не доводилось. Очень хорошо помню, как я застыл в изумлении, позабыв про зажатую в руке книгу. Из ночной темноты выдвигалась и вырастала над морем таинственная громада, настоящий левиафан, наползающий, казалось, прямо на ближайший к морю холм (с которого я за ним и наблюдал). Словно вышедший из моих страшных снов призрак — советский военный корабль! Огромная плавучая крепость, вырастающая, будто в сказке, из ночного тумана! Моторы корабля были приглушены, и он плыл беззвучно, но столько в нем было мощи, что дрожали оконные рамы и деревянный пол, в темноте на кухне позвякивали небрежно повешенные печные щипцы, кастрюли и кофейники, а в отапливаемых комнатах, где спали родители и брат, дребезжали стекла. Легонько сотрясалась брусчатка переулка, ведущего к морю, и стоящие у дверей мусорные ведра тоже дребезжали, словно в нашем мирно спящем квартале случилось небольшое землетрясение. Так значит, правдой было то, о чем перешептывались стамбульцы: после полуночи по Босфору неслышно проходили русские военные корабли.

На какое-то мгновение мной овладело тревожное чувство ответственности. Весь город спал, и лишь я один видел этот огромный советский крейсер, направляющийся неведомо куда, чтобы натворить неизвестно каких бед. Я должен был предупредить весь Стамбул, весь мир! Это было похоже на истории из детских журналов, в которых отважные мальчишки, вовремя подняв тревогу, спасали город, охваченный сном, от наводнения, пожара или нападения вражеской армии. Но я никак не мог заставить себя вылезти из-под теплого одеяла.

Я был вне себя от беспокойства, и тут выход все-таки нашелся: собрав все внимание, которое мой мозг был готов направить на заучивание стихотворения, я вгляделся в советский военный корабль и «посчитал» его. Что я хочу этим сказать? Подобно американским шпионам, которые, как поговаривали, фотографировали каждый коммунистический корабль, проходящий через Босфор, из окон дома, расположенного на одном из стамбульских холмов (еще один очень похожий на правду стамбульский миф времен холодной войны), я зафиксировал крейсер во всех подробностях, только не на фотографической пленке, а в памяти. В своем воображении я сопоставил данные об этом корабле с данными о других кораблях, босфорских течениях и чуть ли не о скорости вращения Земли, то есть «посчитал» этого великана и таким образом превратил его в обычное, будничное явление жизни. Мне было очень хорошо известно, что к несчастьям и бедствиям может привести только неучтенное, незамеченное и неописанное. С тех пор я начал считать корабли — не только советские, а вообще все, достойные внимания. Так я пытался победить свое беспокойство, установить контроль над мировым равновесием и обеспечить собственное благополучие. Правы были школьные учителя, неустанно твердившие нам с первого класса до последнего, что наш прекрасный Босфор — ключ к господству над миром, важнейший геополитический пункт, которым стремятся овладеть все нации планеты, и в первую очередь русские.

Всю свою жизнь я жил на стамбульских холмах, и мои окна неизменно выходили на Босфор, пусть даже порой обзор немного загораживали дома, купола мечетей и вершины других холмов. Возможность видеть Босфор, даже издалека, имеет для стамбульцев, очевидно, своего рода духовную значимость, поэтому окна, выходящие на него, становятся в наших квартирах чем-то вроде михраба[67] в мечети или алтаря в церкви. Диваны, кресла, стулья за обеденным столом в гостиных расставляют так, чтобы, сидя на них, можно было смотреть в сторону этих окон. Другим результатом страсти к созерцанию Босфора стало то, что путешественнику, прибывающему в Стамбул на корабле со стороны Мраморного моря, город представляется нагромождением домов, безжалостно пытающихся перекрыть друг другу вид и жадно глядящих на корабль и на воды, по которым он плывет, миллионами распахнутых окон.

Привычка считать проходящие по Босфору корабли может показаться странной, но она свойственна далеко не мне одному. Начав разговаривать на эту тему со своими знакомыми, я выяснил, что у многих стамбульцев самых разных возрастов есть

такое же обыкновение и что едва ли не большинство из нас, занимаясь своими повседневными делами, порой выглядывают из окна или с балкона, чтобы посмотреть, не движется ли на нас по Босфору какое-нибудь несчастье, и считают корабли. Например, один наш дальний родственник, живший в Бешикташе (где одно время жили и мы) в доме, стоящем на холме, заносил данные обо всех увиденных им кораблях в специальную тетрадку с такой тщательностью, что можно было подумать, будто ему платят за это деньги. В лицее у меня был одноклассник, уверявший, что любое подозрительное судно (старое, ржавое и потрепанное или плывущее непонятно под каким флагом) несомненно тайком везет из Советского Союза или оружие для повстанцев в такой-то и такой-то стране, или нефть, чтобы устроить хаос на мировых рынках.

Конечно, привычка смотреть в окно и считать корабли в дотелевизионную эпоху была замечательным способом отвлечься и убить время. В конце концов, на прекрасные босфорские пейзажи можно смотреть часами. Однако для меня, как и для многих моих знакомых, за этой привычкой кроется глубоко укоренившийся в душах обитателей Стамбула страх. Наблюдая, как города Османской империи, в которых некогда концентрировались все богатства Ближнего Востока, в результате войн с европейскими странами и Россией беднеют и мало-помалу превращаются в тоскливые руины, стамбульцы становились все более замкнутыми и националистически настроенными людьми, с большой настороженностью относящимися ко всему новому и чуждому, идущему извне, издалека, с Запада. По этой же причине стамбульцы уже полтора века не могут избавиться от страха, что в любой момент в наш город может прийти какая-нибудь новая беда.

Иногда я думаю, что именно желание возобновить подсчет кораблей подталкивало меня как можно быстрее вернуться в Стамбул из Нью-Йорка. Порой мне в голову приходит мысль, что если я не буду считать корабли, то быстрее поддамся окутывающему город чувству печали и утраты. Возможно, человеку моего поколения, прожившему в Стамбуле всю жизнь, избежать печали невозможно. Тем важнее твердая решимость ей противостоять, придающая праздному созерцанию Босфора оттенок исполнения некоего долга.

Несчастьями, которые стамбульцы вспоминали чаще всего, с ужасом ожидая их повторения, были, несомненно, столкновения кораблей в Босфоре, на какое-то время объединявшие всех жителей города чувством сопричастности. Втайне я радовался этим катастрофам (хотя радость была смешана с чувством вины),

поскольку они ломали привычный порядок жизни и при этом в конечном счете не причиняли нам никакого вреда.

Однажды ночью я был разбужен грохотом взрыва. Выглянув в окно и увидев, что звездное небо заволакивают клубы черного дыма, я понял, что посередине Босфора горят два столкнувшихся нефтяных танкера. Мне тогда было всего восемь лет, но я был не очень испуган, скорее взволнован ожиданием увлекательного зрелища. Немного позже, позвонив по телефону некоторым нашим знакомым, мы узнали, что в результате взрыва вспыхнули находящиеся на берегу нефтехранилища, огонь перекинулся на ближайшие здания и «все, буквально все горит». Как это всегда бывало во время больших интересных пожаров, сначала мы заметили отдельные сполохи пламени и клубы дыма, затем до нас дошли разнообразные слухи (по большей части ложные), и, наконец, нас охватило необоримое желание, вопреки всем возражениям женщин, посмотреть на пожар вблизи.

Той ночью дядя растолкал нас, посадил в машину и окружным путем довез до Тарабьи. Там, у строящейся большой гостиницы, дорога была перекрыта полицией. Помню, это огорчило и взволновало меня не меньше, чем сам пожар. Потом, в школе, я с завистью слушал хвастливый рассказ одноклассника о том, как он проник за кордон: его отец крикнул полицейским: «Пресса!» — и показал свое редакционное удостоверение. А я той осенней ночью 1960 года до самого утра в большом возбуждении смотрел на босфорский пожар, стоя среди толпы горожан, высыпавших на улицу в халатах, пижамах, наспех натянутых брюках и тапочках, с пакетами и сумками. У некоторых женщин на руках были грудные младенцы. Вскоре в толпе откуда ни возьмись появились даже уличные торговцы, предлагающие собравшимся халву, бублики, воду, семечки, котлеты и шербет. Впоследствии я видел их на каждом большом босфорском пожаре.

Как на следующий день написали газеты, танкер «Петр Зоранич», перевозивший из советского порта Туапсе в Югославию одиннадцать тонн керосина и шедший неправильным курсом, столкнулся с «World Harmony», греческим танкером, направлявшимся в Советский Союз опять-таки за топливом. Через несколько минут начавший выливаться из югославского танкера керосин взорвался с таким грохотом, что его было слышно во всем Стамбуле. Экипажи обоих судов тут же покинули их или погибли при взрыве, и оставшиеся без управления танкеры превратились в огненные шары, носимые своевольными и таинственными течениями Босфора от одного берега к другому. Опасность грозила Эмиргану, Канлыдже, ялы Йеникёя, топливным хранилищам в Чубуклу, деревянным домикам

Бейкоза. Места, представавшие на картинах Меллинга раем на земле, районы, где некогда процветала описанная А. Ш. Хисаром «босфорская цивилизация», были затянуты клубами черного дыма, на которых плясали отсветы зловещего зарева.

Когда пылающие корабли приближались к берегу, жители ближайших ялы и деревянных домов в ужасе выскакивали на улицу, захватив с собой только одеяла, и с детьми на руках бежали прочь от Босфора. Югославский танкер отнесло от азиатского берега к европейскому, где он столкнулся со стоящим на якоре у пристани в Истинье турецким пассажирским пароходом «Тарсус», и тот вскоре тоже загорелся. Стоило кораблям показаться у Бейкоза, как толпы местных жителей, второпях натянув поверх ночных рубашек дождевые плащи, устремились в сторону холмов. Море полыхало ярко-желтым пламенем. Танкеры превращались в груды раскаленного докрасна железа, их трубы, мачты и капитанские мостики плавились и оседали. Небо было освещено кровавыми отблесками. Время от времени раздавался взрыв, и во все стороны летели огромные листы металла; с прибрежных холмов доносились крики и детский плач.

Там, где некогда голову кружил запах багряника и жимолости, где благоухали весенние цветы и было так приятно дремать, лежа под тутовым деревом, там, где море в лунные ночи переливалось шелковистым светом, звучала музыка и падали с весел серебряные капли, теперь грохотали взрывы и неистовствовало пламя; над сосновыми и кипарисовыми рощами, над садами и последними старыми ялы стояло красное зарево, и плачущие от страха люди бежали из своих домов… Какое зрелище может быть более поучительным?

Впоследствии мне думалось, что ничего этого не случилось бы, если бы я тогда уже считал корабли. Чувство ответственности за беды моего города не заставляло меня бежать от них, напротив, мне хотелось оказаться как можно ближе к событиям, чтобы увидеть все своими глазами. Позже я испытывал чувство вины из-за того, что мне, как и многим другим стамбульцам, иногда втайне хотелось, чтобы случилась какая-нибудь катастрофа. Но желание присутствовать на месте происшествия было сильнее, чем чувство вины.

Ахмет Танпынар всю свою жизнь оплакивал исчезновение последних следов османской культуры под напором модернизации, из-за обнищания города и, самое главное, из-за невежества и беспомощности самих стамбульцев. Но даже он, так глубоко раскрывший эту тему в своих романах, признается в книге «Пять городов», что испытывал удовольствие, наблюдая,

как горит старый деревянный особняк. Подобно Теофилю Готье, он пишет, что такого рода удовольствие, должно быть, испытывал Нерон, глядя на пылающий Рим. Это тем более странно, что несколькими страницами ранее Танпынар искренне сокрушается, говоря о том, как «на наших глазах тают, словно кусок соли в воде, превращаются в пепел и прах великие шедевры».

В 1950-е годы, когда Ахмет Танпынар писал эти строки, он жил в Джихангире, на пересечении переулка Тавук Учмаз и той самой улицы, где стоял построенный дедушкой дом, из окон которого я увидел советский военный корабль. Из окон своего дома Танпынар наблюдал, как горят бывший дворец Сабихи-султан и деревянное здание Палаты депутатов османских времен, отданное Академии изящных искусств, в которой он преподавал. Пожар, заливший всю округу великолепным дождем искр, продолжался более часа. Танпынар с удовольствием описывает «вырывающиеся из этого ада столбы дыма и крутящиеся языки пламени, в мгновение ока достающие чуть ли не до неба», и в то же время оплакивает исчезновение одного из самых красивых деревянных зданий эпохи Махмуда II, вместе с которым сгорели и все хранившиеся в нем бесценные коллекции (в том числе весь архив С. Х. Эльдема, крупнейшего специалиста по истории османской архитектуры). Желая, по всей видимости, смягчить чувство смущения, вызванного этой непоследовательностью, писатель начинает рассказывать, как любили смотреть на пожары османские паши. Едва заслышав крик «пожар!», они бросались к своим каретам и, погоняя лошадей, устремлялись на место происшествия. Чтобы не замерзнуть, они брали с собой одеяла и меховую одежду, а на тот случай, если зрелище затянется, — переносные плиты, чтобы разогревать еду и варить кофе.

В те времена пожары привлекали не только пашей, мародеров, воров и детей. Начиная с середины XIX века они стали излюбленным развлечением прибывающих в Стамбул западных писателей, считавших своим долгом побывать на пожаре и рассказать о нем своим читателям. Одним из них был Теофиль Готье, приехавший в город в 1852 году и ставший за те два месяца, что он в нем провел, свидетелем пяти пожаров, каждый из которых он с большим удовольствием описал. (Когда начался первый из них, он сидел на кладбище Бейоглу и предавался сочинению стихотворения.) Для любителя ярких представлений, конечно же, лучше, чтобы пожар начинался ночью, как увиденный Готье пожар на фабрике красок. С мастерством прирожденного художника описывает он разноцветные языки пламени, освещающие небо, не обходя вниманием и такие детали «восхитительного зрелища», как мечущиеся по воде Золотого Рога

тени кораблей, волнение толпы зрителей и треск пожираемого огнем дерева. Через два дня Готье посетил пепелище и увидел, как сотни пострадавших семей пытаются наладить жизнь во временных убежищах, сооруженных из ковров, тюфяков, подушек и других вещей, спасенных ими из огня. Узнав, что эти люди безропотно принимают свалившееся на них несчастье, называя его «судьбой», он предпочел воспринять это как некую присущую туркам национально-религиозную особенность.

Тем не менее на протяжении всех пяти столетий османской истории опустошительные пожары в Стамбуле случались настолько часто, что жители города, особенно в XIX веке, старались готовиться к ним заранее. Для стамбульца позапрошлого столетия, обитателя деревянного строения, стоящего на узкой улочке, гибель его дома в огне была не трагической случайностью, а неизбежностью, к которой лучше быть всегда готовым. Даже если бы Османская империя не пала, в Стамбуле осталось бы не намного больше следов ее величия — их все равно уничтожили бы пожары, следовавшие в начале XX века один за другим, в одночасье стиравшие с лица земли тысячи домов, десятки кварталов, целые районы и оставлявшие десятки тысяч человек без крова и средств к существованию.

Но для нас, наблюдавших, как в 1950-е и 1960-е годы горят последние деревянные ялы и особняки, удовольствие от этого зрелища смешивалось с тоской, неведомой османским пашам, простодушно радовавшимся развлечению; с чувством вины и подавленности мы понимали, что в глубине души желаем, чтобы последние следы великой культуры, наследства которой мы оказались недостойны, как можно быстрее исчезли, и в Стамбуле можно было бы наконец построить второсортную, бледную копию западной цивилизации.

В годы моего детства и юности, стоило на берегу Босфора загореться какому-нибудь ялы, как вокруг него и даже на противоположном берегу собирались толпы зевак, а желающие наблюдать зрелище поближе нанимали моторные катера и лодки и подплывали к горящему зданию с моря. Узнав о том, что в азиатской части загорелся ялы, мы с друзьями созванивались, садились в машины и все вместе ехали, скажем, в Эмирган, парковались на набережной, включали новомодное изобретение — магнитофон, заказывали в ближайшем кафе тосты с сыром, чай и пиво и, сидя в машине, под музыку «Creedence Clearwater Revival»[68] наблюдали, как на противоположном берегу пляшут таинственные языки пламени.

Мы болтали о том о сем, вспоминали, например, как во время прошлых пожаров из стен горящих зданий вылетали раскаленные

добела гвозди, достигавшие противоположного берега и порой поджигавшие какое-нибудь из стоящих на нем зданий. Но кроме того мы рассказывали друг другу о наших последних влюбленностях, обсуждали политические слухи, обменивались впечатлениями о футбольных матчах и жаловались на глупость родителей. Самое интересное, что, если мимо горящего особняка проходил зловеще-темный танкер, никто не обращал на него внимания и не испытывал желания его посчитать, — ведь беда, собственно говоря, уже случилась. Когда пожар достигал своей самой устрашающей стадии, мои приятели замолкали, и мне казалось, что каждый из них, глядя на пламя из окна машины, раздумывает о том, какие несчастья ждут впереди его самого.

Иногда ощущение приближающейся беды, идущей, как известно всему Стамбулу, с Босфора, настигает меня во сне. В темные, безмолвные предутренние часы я просыпаюсь от протяжного гудка корабельной сирены, перекатывающегося по холмистым берегам. Если этот низкий и мощный звук повторяется, я тотчас понимаю, что над Босфором стоит туман. Туманными ночами через определенные интервалы печально гудит сирена маяка в Ахыркапы, у выхода из пролива в Мраморное море. Когда я слышу ее, в моем колеблющемся между сном и явью сознании возникает образ огромного корабля, осторожно пробирающегося сквозь туман среди опасных босфорских течений.

Из какой страны этот корабль, каких размеров, что везет он? Чем так обеспокоены лоцман и собравшиеся вокруг него на капитанском мостике люди? Может быть, их подхватило течение? Или они заметили темный силуэт другого корабля, надвигающийся на них из тумана? Или, обнаружив, что корабль сошел с маршрута, они собираются включить предупредительную сирену? Стамбульцы, слыша сквозь сон гудки, которые с каждым разом кажутся все печальнее и безнадежнее, чувствуют одновременно и жалость к морякам, и страх перед возможной катастрофой. И пока они раздумывают, что может происходить там, на Босфоре, к ним приходят тревожные сны. Моя мама в штормовую погоду всегда говорила: «Помоги Аллах тем, кто сейчас в море!» С другой стороны, для того, кто проснулся в ночи, мало какое снотворное может быть столь же успокаивающим, как мысль, что где-то рядом, но все-таки на вполне безопасном расстоянии происходит катастрофа, а тебе самому ничто не угрожает. И проснувшийся стамбулец засыпает, завернувшись в теплое одеяло и считая корабельные гудки, а во сне ему, быть может, приснится, что сам он плывет на корабле, пробирающемся сквозь туман, навстречу опасности.

Как бы то ни было, наутро он, как правило, забывает о том, что ночью его разбудил звук корабельной сирены, как забывают люди о своих ночных сновидениях. Только дети и похожие на детей взрослые помнят об этом. И вот в разгар самого обычного дня, когда вы стоите в очереди на почте или обедаете, один из таких людей вдруг говорит другому: «Вчера ночью меня разбудила корабельная сирена».

В такие моменты я понимаю, что сны, с самого детства снящиеся мне в туманные ночи, снятся и миллионам других стамбульцев, живущим на холмах вокруг Босфора.

Расскажу еще об одной трагедии, воспоминания о которой преследуют меня и тревожат сон обитателей берегов Босфора не меньше, чем воспоминание о столкновении танкеров. Одной туманной ночью (если быть точным, в четыре часа утра 4 сентября 1963 года), когда видимость составляла не более десяти метров, 5500-тонный советский грузовой корабль «Архангельск», везущий оружие из Новороссийска на Кубу, врезался в берег в Балтылиманы, уйдя на десять метров в глубь суши. При этом одним махом было снесено два деревянных ялы, три человека погибли.

«Нас разбудил страшный грохот и треск. Мы думали, что в наш дом ударила молния, потому что он раскололся пополам. Нас спасло чудо: мы оказались на устоявшей половине. Собравшись с духом, мы поднялись на третий этаж, в гостиную, и нос к носу столкнулись с огромным сухогрузом».

Газеты сопроводили рассказ уцелевших жителей ялы фотографиями той самой гостиной: портрет деда-паши на стене; тарелка с виноградом на буфете; ковер, свисающий в пустоту подобно занавесу и хлопающий на ветру, поскольку половина комнаты исчезла; треножники; расписанные каллиграфической арабской вязью дощечки в рамочках и среди всего этого — нос корабля-убийцы. Эти фотографии были особенно страшны и в то же время притягательны из-за того, что обстановка расколотой пополам комнаты была мне хорошо знакома — все эти кресла, буфеты, треножники, ширмы, стулья, столы и диваны были очень похожи на те, что стояли у нас дома. Листая подшивку газет сорокалетней давности, я снова читаю о незадолго до того помолвленной красивой девушке, ученице лицея, чью жизнь унесла эта катастрофа, о словах, сказанных ею накануне вечером тем, кому суждено было выжить; о том, как ее жених, живший в том же квартале, нашел ее тело среди обломков, — и вспоминаю, как многие дни весь Стамбул говорил об этой трагедии.

В то время население Стамбула составляло не десять миллионов, как сейчас, а всего миллион, поэтому подобные

катастрофы не проходили незамеченными в людской суете — их подробности передавались из уст в уста, пока не вырастали до поистине эпических масштабов. Удивительное дело — многие мои знакомые, узнав, что я пишу о Стамбуле, принимались с ностальгическим упоением и чуть ли не со слезами на глазах вспоминать о тех давнишних катастрофах и даже настаивали на том, чтобы я включил в свое повествование рассказ о тех из них, что лучше всего запомнились им самим.

Ты, говорили мне, обязательно должен написать о том, что летом 1966 года, скорее всего в июле, моторный катер, на котором совершали прогулку по Босфору члены Общества турецко-немецкой дружбы, столкнулся между Йеникёем и Бейкозом с другим катером, направляющимся в Мраморное море с грузом дров на борту, в результате чего тринадцать человек нашли свою смерть в темных босфорских водах.

Еще меня просили написать, как однажды на глазах одного моего знакомого, тихо-мирно стоявшего на балконе своего ялы и считавшего корабли, румынский танкер «Плоешти» протаранил небольшое рыболовецкое судно, причем последнее раскололось напополам и мгновенно затонуло.

А через несколько лет после этого другой румынский танкер («Индепендента») столкнулся с греческим сухогрузом «Эурьяли» прямо напротив вокзала Хайдарпаша;[69] когда топливо, начавшее вытекать в море, загорелось, груженный нефтью танкер взорвался с таким грохотом, что мы все проснулись — уж об этом, пожалуйста, не забудь написать, говорили мне. Да и как забыть такое: несмотря на то, что мы жили в нескольких километрах от места столкновения, в нашем квартале взрывом выбило половину оконных стекол, и улицы были усыпаны осколками.

Другой случай: 15 ноября 1991 года скотоперевозчик «Рабунион», транспортировавший из Румынии в Ливан более двадцати тысяч овец, столкнулся с приписанным к Филиппинским островам грузовым судном «Мадонна Лили», перевозящим пшеницу из Нового Орлеана в Россию, и потонул вместе почти со всеми своими овцами. Некоторым из них удалось вовремя спрыгнуть в воду и доплыть до берега, где их спасли посетители ближайшей чайной, до этого мирно пившие кофе и читавшие газеты, однако двадцать тысяч не столь удачливых овец до сих пор пребывают в глубинах Босфора. Это происшествие случилось прямо под вторым стамбульским мостом, известным как мост Фатих. Что же касается первого моста, то именно его начиная с 1970-х годов стамбульцы облюбовали для совершения самоубийств. Однако об этой стамбульской традиции я рассказывать не буду. Приступая к написанию этой книги, я

разбирал старые газеты, которые с таким удовольствием читал в детстве, и в одной из них, вышедшей незадолго до моего рождения, наткнулся на заметку, напомнившую мне о другом способе самоубийства, значительно более распространенном, чем прыжок с моста. Вот эта заметка:

«Вчера (24 мая 1952 года) в Румелихисары в Босфор упала машина, вылетевшая с шоссе. Несмотря на длительные поиски, ни саму машину, ни тела находившихся в ней людей обнаружить не удалось. Когда автомобиль еще был в воздухе, человек, находившийся за рулем, открыл дверцу и звал на помощь, однако затем почему-то дверцу захлопнул и вместе с машиной ушел на дно. По всей видимости, автомобиль унесло течением на глубину».

А вот о чем писали газеты сорок пять лет спустя, 3 ноября 1997 года:

«По вине пьяного шофера погибло девять человек. Машина, пассажиры которой, возвращаясь со свадьбы, направлялись к гробнице Теллибабы, чтобы принести обет, в Тарабье вылетела с шоссе и упала в море. Авария унесла жизнь матери двоих детей».

О скольких подобных происшествиях мне приходилось слышать и читать! Некоторые из них я даже наблюдал своими глазами. Сколько бы ни падало в Босфор машин, результат неизменно один и тот же: пассажиров уносит в глубины, из которых нет возврата. Кто только не находил там свой конец: орущие дети; ссорящиеся парочки; развеселившиеся пьяные компании; торопящиеся домой отцы семейств; юноши, проверяющие, как работают тормоза у новой машины; замечтавшиеся о чем-то водители; отчаявшиеся бедолаги, решившие покончить жизнь самоубийством; пожилые люди, плохо видящие в темноте; друзья, припарковавшиеся на набережной, чтобы выпить чаю, и после, когда водитель по рассеянности дал передний ход вместо заднего, не успевшие понять, что случилось; бывший министр финансов Шефик и его прекрасная секретарша; полицейские, засмотревшиеся на плывущие по Босфору корабли; неопытный шофер, взявший без разрешения служебную машину, чтобы прокатить свою семью; владелец фабрики нейлоновых чулок — знакомый нашего дальнего родственника; отец и сын, одетые в дождевики одинакового цвета; знаменитый гангстер из Бейоглу и его любовница; семья из Коньи, впервые увидевшая мост через

Босфор… Упавшая в воду машина не идет камнем ко дну — на какое-то мгновение она словно застывает на поверхности. Происходит ли это при дневном свете или сцену освещают лишь окна ближайшего питейного дома, люди, стоящие на берегу, видят ужас на лицах тех, кто вот-вот уйдет под воду. Потом машина плавно скрывается из вида, и течение уносит ее в темные глубины.

Хочу напомнить читателям, что после того, как машина начала погружаться, открыть ее дверцы уже невозможно — этому препятствует давление воды. Однажды, когда машины стали падать в Босфор слишком уж часто, один сообразительный журналист сделал очень умную вещь: напечатал в газете руководство для тех, кто оказался в тонущем автомобиле, сопроводив его замечательными доходчивыми иллюстрациями:

«Как выбраться из машины, упавшей в Босфор?

1. Не поддавайтесь панике. Закройте окна и ждите, пока машина не наполнится водой. Откройте замки дверей. Все находящиеся в машине должны сидеть неподвижно.

2. Если машина продолжает погружаться, нажмите на ручной тормоз.

3. Когда вода дойдет почти до самой крыши, наберите в легкие побольше воздуха, медленно откройте дверь и осторожно выбирайтесь из машины».

Я, со своей стороны, хочу добавить пункт номер четыре: убедитесь, что ваш плащ не зацепился за рукоятку тормоза. Если вы умеете плавать и вам удастся благополучно выбраться на поверхность, то вы сразу, несмотря на всю стамбульскую печаль, почувствуете, что жизнь прекрасна. Не менее прекрасна, чем Босфор.

23
Жерар де Нерваль в Стамбуле: прогулки по Бейоглу

Я не могу без душевного трепета смотреть на некоторые рисунки Меллинга. Места, где прошло мое детство, да и вся жизнь, изображены на них такими, какими они были в те времена, когда там еще не было построено ни одного дома, когда еще не существовало знакомых мне улиц, домов, кварталов. Вооружившись увеличительным стеклом, я рассматриваю поросшие тополями и чинарами, распаханные кое-где под огороды холмы, на которых позже вырастут районы Йылдыз, Мачка, Тешвикийе, и во мне рождается то же самое горькое чувство, какое я испытываю, глядя на осиротевшие сады вокруг сгоревших особняков, разрушенные стены и арки акведуков. Такое же чувство, должно быть, испытали бы стамбульцы тех времен, если бы им довелось увидеть, во что превратился их рай на земле. Потрясение, которое ощущаешь, видя, что всего того, что окружало тебя с самого детства, было центром твоего мира, исходной точкой всех твоих представлений о жизни, еще совсем недавно (за сто лет до твоего рождения) не существовало, — испытание не менее тяжелое, чем возможность увидеть мир, каким он будет после твоей смерти. Весь твой жизненный опыт, тщательно выстроенные отношения с людьми, накопленные вещи — перед лицом времени все это оказывается не так уж и важно, и осознание этого заставляет трепетать мою душу.

Схожий трепет я испытываю, перечитывая одно место из посвященной Стамбулу части «Путешествия на Восток» Жерара де Нерваля. Французский поэт, прибывший в Стамбул в 1843 году, через полвека после того, как здесь писал свои картины Меллинг, рассказывает о предпринятой им прогулке от галатской обители дервишей ордена Мевлеви (через пятьдесят лет эта местность получит название Тюнель) до теперешнего Таксима. (По этому самому маршруту через сто пятнадцать лет буду шагать и я, держа маму за руку.) Район, через который проходил путь Нерваля, сегодня называется Бейоглу; его главная улица, Гран-Рю-де-Пера, после установления республики переименованная в Истикляль, в 1843 году выглядела примерно так же, как и в наши дни. Нерваль пишет, что эта улица, особенно после осмотра дервишеской обители, напомнила ему Париж: те же модные костюмы, блеск витрин, прачечные, ювелирные магазины,

кондитерские, английские и французские отели, кафе и здания посольств. Однако после того как Нерваль миновал здание, названное им французской больницей (сейчас это Французский культурный центр), город кончился — с удивительной, а для меня даже ужасающей, внезапностью. Ибо вместо сегодняшней площади Таксим, самой большой площади города, с самого детства бывшей центром моего мира, перед Нервалем предстало пустое пространство, по которому разъезжали кареты и бродили торговцы котлетами, рыбой и арбузами. Далее начиналась равнина и тянулись кладбища — в ближайшее столетие им предстояло исчезнуть, растворившись в городе. Я никогда не смогу забыть данное Нервалем описание тех мест, где прошла вся моя жизнь, мест, которые я неизменно воспринимал как «кварталы, застроенные очень старыми домами»: «Огромные, бескрайние луга, поросшие кое-где тенистыми соснами и грецким орехом».

Нервалю в то время было тридцать пять лет. Двумя годами ранее с ним случился первый приступ депрессии, заставивший его на некоторое время лечь в психиатрическую лечебницу. (Пройдет двенадцать лет, и депрессия доведет его до самоубийства.) За полгода до прибытия Нерваля в Стамбул умерла актриса Женни Колон, в которую он был безответно влюблен, что наложило отпечаток на всю его жизнь. Эти несчастья, равно как и романтический образ Востока, укоренившийся во французской литературе благодаря Шатобриану, Ламартину и Гюго, повлияли на сочинение Нерваля, представляющее собой описание путешествия по маршруту Каир — Александрия — Сирия — Кипр — Родос — Измир — Стамбул. Памятуя о том, что Нерваль, подобно своим предшественникам, планировал написать что-нибудь на восточную тему в меланхолических традициях французской литературы, легко вообразить, что Стамбул оказался для него настоящей находкой.

Однако во время пребывания в Стамбуле Нерваля интересовала главным образом не собственная меланхолия, а все то, что могло бы помочь забыть про нее. Собственно говоря, он и в путешествие отправился, чтобы избавиться от своих душевных терзаний или, по крайней мере, скрыть их от других и попытаться забыть о них самому. В письме к отцу он уверяет: «После путешествия на Восток всем станет ясно, что приступ безумия, случившийся со мной два года назад, был не более чем несчастным случаем, который больше не повторится», и обнадеживающе добавляет, что чувствует себя замечательно. Можно, таким образом, заключить, что в Стамбуле, еще не униженном поражениями, бедностью и сознанием своей слабости

по сравнению с Западом, поэт не обнаружил ничего такого, что могло бы заставить его испытывать печаль. (Не будем забывать, что печаль пришла в Стамбул после крушения империи.) В своих путевых заметках Нерваль отмечает, что на Востоке ему не раз являлось «черное солнце меланхолии» (образ из его знаменитого стихотворения), однако в качестве примера приводит берега Нила. В Стамбуле же он вел себя как нетерпеливый журналист, рыщущий по самым колоритным, интересным, экзотическим местам города в поисках материала для статьи.

Именно поэтому Нерваль приехал в Стамбул во время Рамазана. По его представлениям, надо полагать, это было все равно что приехать в Венецию на карнавал. (Он так и пишет, что Рамазан — это время поста и «карнавала».) По ночам он ходил смотреть представления «Карагёза», любовался видами освещенного фонарями города и заглядывал в кофейни, чтобы послушать рассказчиков историй. Впоследствии по стопам Нерваля пошло немало других западных путешественников, описавших свои впечатления от такого рода ночных развлечений, а сто лет спустя, когда под влиянием современных технологий, европеизации и обнищания жители города позабыли свои традиции, о «былых ночах Рамазана» стали в своих романах и мемуарах вспоминать многие стамбульские писатели, чьи книги я завороженно читал в детстве (во многом под их влиянием я решил соблюдать пост). Сегодня я вижу, что на всей этой литературе лежит отпечаток «туристического» образа Стамбула, созданного совместными усилиями Нерваля и ему подобных сладкоречивых искателей экзотики. Хотя Нерваль и посмеивается над английскими писателями, приезжающими в город на три дня, чтобы шустро осмотреть все «достопримечательности» и тут же засесть за написание статьи или книги, сам он не преминул посмотреть на религиозные обряды дервишей, ждал у ворот дворца, чтобы издалека увидеть выезд султана (он уверяет, что Абдул-Меджид тоже взглянул на него, когда проезжал мимо), и, прогуливаясь по кладбищам, предавался размышлениям о турецких костюмах, обычаях и ритуалах.

Перед тем как повеситься, Нерваль положил в карман рукопись своей автобиографической книги «Аврелия, или Мечта и жизнь». В этом леденящем душу, уникальном в своем роде сочинении (автор, впрочем, сравнил его с «Новой жизнью» Данте), высоко оцененном впоследствии сюрреалистами Андре Бретоном, Полем Элюаром и Антонином Арто, Нерваль пишет, что после того, как его отвергла возлюбленная, ему оставалось лишь предаться «грубым развлечениям», помогающим забыться и убить время, и признается, что именно желание забыться заставило его

отправиться в странствия по свету и пробудило в нем глупое любопытство к экзотическим нарядам и странным ритуалам дальних стран. Нерваль понимал, что описания восточных женщин, ритуалов, видов города и ночей во время Рамазана получаются у него по-газетному плоскими, грубыми, дешевыми, и поэтому, подобно многим писателям, чувствующим необходимость перемежать свое повествование вставными новеллами, чтобы удержать внимание читателя, он разнообразил «Путешествие на Восток» несколькими длинными историями, большую часть которых придумал или додумал самостоятельно. (В сборнике под названием «Стамбул», подготовленном Яхьей Кемалем, А. Ш. Хисаром и А. Х. Танпынаром, есть написанная последним обширная статья, посвященная особенностям времен года в нашем городе. В ней автор упоминает о том, что потратил немало времени, пытаясь выяснить, какие из этих рассказов были сочинены Нервалем, а какие на самом деле имеют местное происхождение.) Описания города обрамляют эти истории, многое говорящие о внутреннем мире писателя, однако имеющие весьма малое отношение к Стамбулу, выполняя примерно ту же роль, что рассказ о Шехерезаде в «Тысяча и одной ночи». Кстати, в тех местах, где Нерваль чувствует, что рисуемая им картина получается недостаточно яркой, он неизменно пытается произвести впечатление на читателя, прибегая к сравнениям со сказками «Тысяча и одной ночи». Заметив вскользь, что не считает нужным описывать дворцы, мечети и бани, поскольку они были уже замечательно описаны до него, Нерваль произносит фразу, которая сто лет спустя не будет давать покоя Яхье Кемалю и А. Х. Танпынару и станет распространенным штампом в устах западных путешественников: «Стамбул, чьи виды делают его прекраснейшим из городов мира, похож на театр: на представление лучше смотреть из зрительного зала, не пытаясь зайти за кулисы, где вас может ждать грязь и нищета». Должно быть, читая именно Нерваля, Яхья Кемаль и Танпынар поняли, что создать образ Стамбула, близкий его обитателям, можно лишь сведя в единое целое красоту видов и нищету «кулис», — что они и сделали в своих романах, статьях и стихотворениях. Но созданный двумя великими писателями, поклонниками Нерваля, образ Стамбула, позже упрощенный их многочисленными последователями, все же вырос скорее из нищеты окраин и исторической памяти, нежели из ценимых путешественниками красот. Чтобы понять этот образ, нам нужно обратиться к книгам другого писателя, посетившего Стамбул после Нерваля.

24
Меланхолическая прогулка Теофиля Готье по окраинам

Поэт, писатель, журналист и критик Теофиль Готье был лицейским другом Нерваля. В юные годы они были неразлучны, вместе увлекались романтическими произведениями Гюго, некоторое время жили в Париже по соседству друг с другом. Свою дружбу они сохранили на всю жизнь. За несколько дней до самоубийства Нерваль пытался отыскать Готье, а после того, как Нерваль повесился на уличном фонаре, последний написал о своем друге проникновенную, полную печали статью.

Двумя годами ранее, в 1852-м (то есть через девять лет после путешествия Нерваля и ровно за сто лет до моего рождения), произошли события, впоследствии приведшие к созданию направленной против России коалиции Англии, Франции и Османской империи и к началу Крымской войны. Французских читателей снова стало интересовать все, связанное с Востоком. И вот, пока Нерваль раздумывал, не совершить ли ему еще одно путешествие, в Стамбул отправился Готье. В то время пароходы уже получили достаточно широкое распространение, поэтому поездка из Парижа в Стамбул заняла у него всего одиннадцать дней. Прожив в городе больше двух месяцев, Готье написал о своих впечатлениях ряд заметок. Сначала они были опубликованы в газете, сотрудником которой он являлся, а затем автор объединил их в книгу, озаглавленную «Константинополь». Это обширное произведение, пользовавшееся большой популярностью и переведенное на многие языки, — пожалуй, лучшее из того, что было написано о Стамбуле в XIX веке, если не считать одноименной книги итальянского писателя Эдмондо де Амичиса, опубликованной в Милане двадцать пять лет спустя.

По сравнению с путевыми заметками Нерваля книга Готье написана искуснее, повествование ведется более упорядоченно и плавно. И неудивительно: будучи фельетонистом и художественным критиком, Готье был вынужден ежедневно сочинять для газеты что-нибудь новенькое (однажды он сравнил себя с Шехерезадой, которой каждую ночь приходится придумывать новую сказку), поэтому он волей-неволей приобрел способность писать быстро и легко. Флобер критиковал его за это, однако именно благодаря «журналистским» особенностям стиля книга Готье читается как один большой репортаж о жизни города

(если оставить в стороне все эти неизбежные клишированные разглагольствования о султане, восточных женщинах и кладбищах). Для Яхьи Кемаля и А. Х. Танпынара, писателей, подаривших стамбульцам образ Стамбула, этот «репортаж» имел особенное значение, поскольку Готье, успешный журналист, проявил интерес к тому, что, по словам Нерваля, пряталось за кулисами города, начал исследовать его окраины, руины и грязные, темные улочки и впервые дал понять читателям, что эти нищие отдаленные кварталы не менее важны, чем туристические достопримечательности центра.

Уже в самом начале книги, при описании путешествия на пароходе, становится понятно: Готье во время своей поездки постоянно думал о Нервале. Проплывая мимо Киферы,[70] он вспоминает рассказ друга о виденной им на этом острове виселице, на которой болтался труп, завернутый в промасленную ткань. (Позже этот образ, столь любимый Готье и Нервалем, использует в своей поэме «Поездка на Киферу» Бодлер, друживший с ними обоими.) Добравшись до Стамбула, Готье, следуя примеру Нерваля, облачается в «мусульманский костюм», чтобы спокойнее ходить по городу. Так же как и Нерваль, он приехал в Стамбул во время Рамазана и вслед за другом принялся расхваливать его великолепные вечера. Подобно Нервалю, он едет в Ускюдар, чтобы посмотреть на мистические танцы дервишей ордена Руфаи, бродит по кладбищам, наблюдая за играющими среди надгробий детьми, присутствует на представлении «Карагёза», заходит в лавки и на базары, с любопытством разглядывая встречающихся ему там людей, и прикладывает немалые усилия, чтобы стать свидетелем выезда султана Абдул-Меджида на пятничную молитву. Вслед за многими другими западными путешественниками он предается размышлениям о мусульманских женщинах, об их закрытой от посторонних жизни, об их недоступности и загадочности (ни в коем случае, предупреждает он своих читателей, не осведомляйтесь у мужчин о самочувствии их жен). Тем не менее он признает, что на городских улицах полно женщин, и некоторые из них даже ходят в одиночку. Долго и во всех подробностях описывает он дворец Топкапы, мечети, Ипподром — те достопримечательности, которые Нерваль обошел молчанием. Все западные путешественники, приезжавшие в Стамбул в те времена, считали своим долгом посетить вышеуказанные места и поразмышлять на вышеуказанные темы, так что, возможно, влияние Нерваля здесь не стоит преувеличивать. Что делает книгу Готье особенно приятной для чтения, несмотря на его журналистскую страсть ко всему странному и необычному, так

это его чувство юмора и уверенность в своих силах, свойственные зрелым, многое повидавшим людям, и, в не меньшей степени, — его особый, наблюдательный взгляд, взгляд художника.

До тех пор пока в девятнадцать лет Готье не прочитал стихотворный сборник Гюго «Восточные мотивы», он мечтал стать художником. Впоследствии стал выдающимся художественным критиком своего времени. Описывая виды и достопримечательности Стамбула, он прибегает к приемам из арсенала художественной критики, которые раньше никому не приходило в голову использовать в рассказе об этом городе. Приступая к описанию вида на Золотой Рог и Стамбул от галатской обители дервишей ордена Мевлеви (то есть с того самого места, о котором девятью годами ранее писал Нерваль и которое впоследствии будет известно как площадь Тюнель; с того самого места, где мы с мамой после прогулок по Бейоглу будем садиться на трамвай, идущий до Мачки), Готье говорит, что открывающаяся перед ним картина была «так странно-красива, что казалась нереальной», а затем начинает описывать минареты, купола, Айя-Софию, мечети Бейазыт, Сулеймание, Султан-Ахмет, облака, воды Золотого Рога, кипарисовые рощи Сарайбурну, игру света и «невыразимо нежную перламутровую голубизну неба» с наслаждением художника, умелой рукой вырисовывающего мельчайшие детали своего полотна, и с уверенностью писателя, знающего, как достичь нужного эффекта. Даже читатель, ни разу не бывавший в Стамбуле, может в полной мере насладиться этим описанием. А. Х. Танпынар, из всех стамбульских писателей наиболее тонко чувствовавший те изменения, которые облик города претерпевает под воздействием игры света, многому научился у Готье. В одной своей статье, написанной в годы Второй мировой войны, Танпынар упрекает турецких романистов в нежелании замечать и описывать окружающий их мир и при этом, сравнивая своих современников и соотечественников с французскими писателями, напоминает, что Стендаль, Бальзак, Золя неплохо умели рисовать, а Готье и вовсе был настоящим художником.

Мастерство, с которым Готье умел облекать зрительные образы и чувства в слова, позволило ему с замечательной убедительностью выразить свои впечатления от прогулок по задворкам и узким улочкам «бедных окраин Стамбула» (выражение Яхьи Кемаля, усердного читателя и поклонника Готье). Готье пишет, что еще до того, как отправиться бродить по окраинам, усвоил мнение своих друзей, побывавших в Стамбуле прежде него: восхитительные виды города подобны театральным декорациям, лучше всего наблюдать их при ярком свете и в

определенном ракурсе, при ближайшем же рассмотрении они могут потерять свою притягательность. То, что издалека представляется прекрасным городом, на самом деле — лабиринт узких, крутых, грязных и безликих улиц, беспорядочное нагромождение домов и деревьев, «расцвеченное палитрой солнца».

Но Готье мог увидеть печальную красоту даже в грязи и беспорядке. Он разделял трепетное отношение писателей-романтиков к руинам Древней Греции и Рима, к следам исчезнувших цивилизаций, пусть оно и было у него разбавлено некоторой долей иронии. В юные годы, еще мечтая стать художником, Готье часто прогуливался по окрестностям Лувра (неподалеку жил Нерваль) и находил, что пустые дома в тупике Дойенн, которые Бальзак сравнивал с могилами, и развалины церкви Сен-Тома-дю-Лувр в лунном свете выглядят весьма привлекательно.

Выйдя из расположенной на территории нынешнего Бейоглу гостиницы, писатель и его проводник-француз спустились с Галатского холма к берегу Золотого Рога, перешли через Галатский мост (который в то время, по свидетельству Готье, был «сделан из лодок») и, дойдя до Ункапаны,[71] направились на юго-запад, вглубь городских кварталов. «Мы вошли в темный лабиринт», — пишет Готье. Чем дальше они шли, тем более одинокими и беззащитными чувствовали себя. По пятам за ними, злобно порыкивая, бежали собаки. Читая о ветхих домах с почерневшими деревянными стенами, разломанных, пересохших источниках и заброшенных гробницах с провалившимися крышами, мимо которых проходили писатель и его спутник, я каждый раз вспоминаю, что в детстве, когда я проезжал по этим местам в папиной машине, они выглядели точно так же. Единственным произошедшим за сто лет изменением было появление брусчатки на улицах. Полуразвалившиеся темные дома, каменные стены, пустые улицы, непременные кладбищенские кипарисы… Готье обратил на них внимание, потому что для него, так же как и для меня, они были красивы. (Сто с лишним лет спустя, в юные годы я буду бродить по этим бедным кварталам, тогда еще не затронутым европеизацией, а в последующие тридцать лет буду наблюдать, как их уничтожают пожары и на смену им приходят ряды бетонных коробок.) Ходьба по крутым грязным улочкам утомила писателя, однако он продолжал свой путь. С улицы на улицу, от одной площади до другой… Слыша призыв к молитве, Готье, как и я в детстве, чувствовал, что он обращен к «слепым, глухим и немым домам, тихо разрушающимся без присмотра». Редкое на этих улицах

движение жизни — бредущая навстречу старуха, ящерка, шустро исчезающая между камнями, мальчишки, кидающие камни в раковину пересохшего источника (они казались писателю сошедшими с полотна дю Кампа, художника, приезжавшего в Стамбул двумя годами раньше с Флобером) — наводило его на размышления о неостановимом течении времени. Проголодавшись, он обнаружил, что в этой части города очень плохо с ресторанами и лавками; тогда он начал обирать ягоды с шелковичных деревьев, которые, упорно не поддаваясь наступлению бетона, продолжают расцвечивать эти улицы и сегодня. С большим интересом Готье осмотрел Саматью — район, населенный греками, и еврейский квартал Балат, известный как «стамбульское гетто». Фасады домов в Балате были изъедены трещинами, улицы — грязны и неухожены; греческие кварталы в Фенере писатель нашел гораздо более опрятными. Стены византийских времен и уцелевшие фрагменты акведуков, время от времени попадавшиеся на глаза среди домов и деревьев, наводили его на мысли не о долговечности камня и кирпича, а о непрочности дерева.

Наиболее трогательные места в книге Готье — это описание его чувств при виде византийских городских стен, которые он увидел после долгих утомительных блужданий по окраинам. Очень убедительно говорит он о толщине и мощи этих стен и о следах, оставленных на них неумолимым временем: о трещинах, идущих порой от вершины башни до самой земли (в детстве они меня тоже пугали), о разбросанных у подножия каменных обломках (сильное землетрясение 1894 года разрушило стены еще больше), о растущей в трещинах траве и украшающих вершины башен фиговых деревьях. Вдоль цепи полуразрушенных стен тянулись безлюдные бедные кварталы, погруженные в полное безмолвие. «Трудно поверить, что за этими мертвыми стенами находится живой город!» — восклицает Готье и добавляет в самом конце описания своей прогулки по окраинам: «Во всем мире не найдется маршрута более меланхоличного, чем эта дорога длиной в три с половиной мили, с одной стороны которой тянутся руины, а с другой — кладбища».

Почему же я так радуюсь, когда другие говорят о печали Стамбула? Почему я с таким усердием пытаюсь объяснить читателю, что город, в котором я прожил всю свою жизнь, наводит на меня грусть?

У меня нет никакого сомнения, что последние полторы сотни лет (1850–2000) Стамбул и его окрестности окутаны чувством неизбывной печали, более сильным, чем любое другое чувство. Я пытаюсь показать, что печаль эта европейского происхождения:

впервые о ней заговорили, впервые сформулировали понятие «стамбульская меланхолия» именитые французские поэты (Готье, находившийся под влиянием своего друга Нерваля). Почему же я придаю такое значение тому, что думали Готье и другие европейцы о Стамбуле и жизни его обитателей? Почему это так важно для моего города?

25
Взгляд европейца

Всех нас в той или иной степени волнует, что думают о нас (в целом, как о народе, и о нас лично) иностранцы и незнакомцы. Плохо, когда чужие мнения начинают причинять нам боль, осложняют отношения с реальностью, становятся важнее, чем реальность. Именно с таким болезненным интересом я, подобно многим другим стамбульцам, отношусь к тому, каким предстает мой город в глазах европейцев; мне, как и всем нашим писателям, одним глазом постоянно поглядывающим на Запад, эта тема никак не дает покоя.

Размышляя над тем, как создать в газетных публикациях и литературных произведениях такой образ Стамбула, который могли бы принять сами его обитатели, Яхья Кемаль и Ахмет Хамди Танпынар очень внимательно изучали путевые заметки Нерваля и Готье. Можно сказать, что посвященная Стамбулу часть книги Танпынара «Пять городов», самое значительное произведение из написанных в XX веке стамбульцами о своем городе, представляет собой своего рода беседу с Нервалем и Готье — беседу, порой переходящую в спор. В одном месте Танпынар, говоря о «весьма тщательном словесном портрете» султана Абдул-Меджида, нарисованном французским писателем и политиком Ламартином, также посещавшим Стамбул, намекает, что тот мог написать свою «Историю Турции» (ее роскошное восьмитомное издание стояло в дедушкином книжном шкафу) по заказу самого султана, и далее отмечает, что интерес Нерваля и Готье к фигуре Абдул-Меджида был гораздо более поверхностным, поскольку они, будучи журналистами, были вынуждены писать то, что пришлось бы по вкусу читателям, а у западных читателей относительно этого султана уже сформировалось определенное мнение. Рассуждения Готье о жизни обитательниц гарема (любой западный путешественник, попавший в Стамбул, тут же принимался размышлять на эту тему), равно как и его уверения, что султан проявил некоторый интерес к сопровождавшей его, Готье, итальянке, Танпынар называет «легкомысленными», но прибавляет, что мы должны быть снисходительны к писателю: ведь гарем, по крайней мере, действительно существовал.

Этот маленький пассаж наглядно показывает, как непросто приходится образованному стамбульцу, чересчур интересующемуся тем, каким предстает его город в глазах гостей

с Запада. С одной стороны, европеизация научила его разделять ценности западной литературы и придавать большое значение мнениям западных писателей; с другой же стороны (и как раз благодаря этому), стоит западному писателю переступить определенную грань — и читатель-стамбулец чувствует, что его сердце разбито. Дело осложняется еще и тем, что никто не знает, где, собственно говоря, находится эта «определенная грань». Часто забывают, что характер города, как и характер человека, определяется как раз тем, о чем можно рассказать, только «перейдя за грань», и увидеть, только если смотреть со стороны. Например, замечание западного путешественника о том, что на стамбульских кладбищах шла своим чередом обычная городская жизнь, кажется мне неуместным. Однако надо признать, что Флобер прав, — эта особенность, позже исчезнувшая под влиянием европеизации, важна для понимания характера города тех времен.

Рост турецкого патриотизма, совпавший по времени с активной европеизацией, еще больше осложнил эту и без того непростую дилемму. Всех до единого западных путешественников, приезжавших в Стамбул во второй половине XVIII и в XIX веке, интересовали следующие темы: гарем, невольничий рынок (Марк Твен, иронизируя, писал, что если бы большие американские газеты издавались в Стамбуле, то в разделах, посвященных коммерции, они непременно сообщали бы цены на только что поступивших на рынок черкесских и грузинских девушек и во всех подробностях описывали бы их стати), нищие на улицах, невообразимо огромные тюки на спинах носильщиков (в детстве я со страхом смотрел на этих бедолаг, бредущих по Галатскому мосту с возвышающимися на несколько метров пирамидами ящиков на спинах, и, помнится, нам всем становилось не по себе, когда мы видели, что их фотографируют европейские туристы, однако если какой-нибудь местный фотограф, например Хильми Шахенк, брался за эту тему, никто и не думал возражать), дервишеские обители (один паша, знакомый Нерваля, назвал дервишей ордена Руфаи, у которых было принято в религиозном экстазе колоть себя заостренными железными прутьями, «сумасшедшими» и посоветовал своему гостю не терять попусту время, осматривая их обитель) и положение женщин. Все это вызывало у европеизированных стамбульцев не менее критическое отношение. Однако если им случалось прочитать нелицеприятные рассуждения на эти темы у какого-нибудь знаменитого западного писателя, они чувствовали, что сердце их разбито, а национальная гордость — унижена.

И так продолжается до сих пор. Одна из причин, по которым

этот порочный круг, где любовь переходит в ненависть, а ненависть — в любовь, никак не разомкнётся, заключается вот в чем: европеизированной турецкой интеллигенции очень хочется, чтобы лучшие западные писатели и влиятельные печатные органы обратили внимание на то, какие они, турецкие интеллигенты, европеизированные люди, и похвалили их за это; а эти самые писатели (например Пьер Лоти), в свою очередь, не скрывают, что любят Стамбул и турок именно за то, что Стамбул не похож на западные города, а турки — на западных людей, за то, что Турция не превращается в европейскую страну, а остается «экзотическим Востоком». Пьер Лоти критикует стамбульцев за увлечение европеизацией и утрату национальной идентичности, а между тем читают и любят его в Турции лишь представители европеизированного меньшинства. Однако в случае возникновения каких-нибудь внешнеполитических проблем стамбульские интеллигенты обретают ту же самую любовь ко всему «исконно турецкому», которой пропитаны довольно-таки слащавые «экзотические» романы Лоти и его статьи.

В воспоминаниях Андре Жида о поездке по Турции в 1914 году нет и следа этой умильной «туркофилии», столь целительной для наших душ. Напротив, он открыто говорит, что турки ему не нравятся, причем, говоря о турках, он использует не слово «народ», а потихоньку входившее в то время в моду слово «раса». Их одежда ужасна, пишет он, но другой эта раса и не заслуживает. Говорит он и о том, что путешествие по Турции напомнило ему о превосходстве западной цивилизации вообще и французской культуры в частности. Когда статья Жида была опубликована, Яхья Кемаль и другие выдающиеся турецкие писатели того времени почувствовали себя глубоко оскорбленными, однако не стали публиковать в прессе ответ зарвавшемуся иностранцу, как это произошло бы сегодня, а предпочли, промолчав, скрыть от народа это оскорбление и пережить свое горе внутри себя. Несомненно, причиной этого было то, что втайне они соглашались с обидчиком. Через год после того, как статья, в которой Жид издевается над турецким национальным костюмом, была опубликована в виде книги, Ататюрк провел реформу одежды — иначе говоря, запретил ношение какой бы то ни было одежды, кроме западной.

Мне тоже хочется читать у западных авторов глубоко критические и пренебрежительные рассуждения о моем городе — они мне интереснее, чем неумеренные восторги Пьера Лоти и ему подобных писателей по поводу «таинственной красоты» и «неповторимого своеобразия» Стамбула. Дело здесь не в том, что последние по большей части предаются описаниям прекрасных

видов и восхищаются душевностью местных жителей и уважительным отношением к иностранцам, а в несовпадении между тем, что писатель ожидает от города, и тем, что читатель желает найти в книге о своем городе. Начиная с середины XIX века в английской и французской литературе сложился вполне определенный образ Стамбула. Дервишеские обители, пожары, кладбища, султанский дворец, гарем, нищие, бродячие собаки, запрет на алкогольные напитки, спрятанные от посторонних женщины, прогулки по Босфору, таинственная атмосфера города и красота его очертаний на фоне неба — вот о чем хотели писать все эти путешествующие литераторы, начитавшиеся произведений своих предшественников. Поэтому, а также по той причине, что они порой останавливались в одних и тех же местах и пользовались услугами одних и тех же гидов, они находили в Стамбуле именно то, что хотели найти, и никогда не бывали разочарованы. Путешественники нового поколения уже потихоньку осознавали, что Османская империя пришла в упадок и отстала от Запада, — и их не очень интересовали темы, актуальные в предыдущие столетия, а именно секрет османской военной мощи и неведомые механизмы государственного управления. Стамбул в их глазах уже не выглядел страшным и непостижимым — они находили его странным, но милым городом, в самый раз для туриста. Собственно говоря, уже то, что они добрались до таких далеких мест, было для них поводом гордиться собой — оставалось только написать обо всем, что описывали их предшественники, и можно было с чистой совестью возвращаться восвояси. Разочарование не входило в их планы.

После того как пароходы и поезда приблизили Стамбул к Западу, человек, почти мгновенно перенесшийся сюда из какой-нибудь европейской страны, уже мог позволить себе роскошь задаться вопросом: что же привело меня в это ужасное место? Снобизм отягощался невежеством, творческую смелость подхлестывало желание высказать все начистоту. «Просвещенные» путешественники вроде Андре Жида уже не чувствовали необходимости вникать в культурные различия между Востоком и Западом, разгадывать значение ритуалов и обычаев, тратить время, пытаясь понять местную жизнь. Они желали хорошо провести время и развлечься и полагали, что имеют право требовать от Стамбула предоставления соответствующих возможностей. Будучи не в состоянии рассказать что-нибудь интересное о городе, писатель-турист последних лет Османской империи тем не менее настолько самоуверен, что именно город, а не себя, находит скучным и серым и даже не пытается скрыть от более критично настроенных

западных интеллектуалов свою самодовольную гордость по поводу военных и экономических успехов западной цивилизации. На Запад, по его убеждению, должно равняться все человечество.

Стамбул между тем терял свою экзотическую привлекательность — к власти пришел Ататюрк, начавший проводить политику европеизации, султан был изгнан, гарем распущен, дервишеские обители закрыты, и даже деревянных домов становилось все меньше и меньше. Османской империи больше не было — на смену ей пришла маленькая, пытающаяся подражать Западу Турецкая республика. Знаменитые писатели перестали приезжать в Стамбул и писать путевые заметки, и местные журналисты были рады проинтервьюировать любого иностранца, которому случалось остановиться в отеле «Хилтон». И вдруг в 1985 году в американском журнале «Нью-Йоркер» появилось длинное эссе русско-американского поэта Иосифа Бродского «Побег из Византии».[72] На Бродского произвела сильное впечатление статья Одена[73] о путешествии в Исландию, написанная в весьма ироничном и пренебрежительном тоне, поэтому свое эссе он, словно извиняясь, начинает с долгого объяснения причин, по которым решил посетить Стамбул (на самолете). В то время я жил очень далеко от своего города, и мне хотелось читать о нем только хорошее, поэтому насмешка Бродского ранила меня, и все же я был рад прочитать такой, например, пассаж: «Какое здесь все состарившееся! Не старое, старинное, древнее и даже не старомодное, а именно состарившееся!» Бродский был прав. Основатели Турецкой республики, пришедшей на смену Османской империи, не слишком ясно представляли себе, какой она должна стать; единственное, что пришло им в голову, — концепция национального турецкого государства. В результате Стамбул, потерявший связь с миром, забыл о днях разноязычия, великолепия и побед, состарился, опустел и превратился в черно-белый, монотонный и моноязычный город.

В годы моего детства и юности Стамбул стремительно утрачивал свой космополитический облик. Готье (и не он один) свидетельствует, что за сто лет до моего рождения на улицах города звучала турецкая, греческая, армянская, итальянская, французская и английская речь (ему следовало бы упомянуть, что последние два языка были распространены меньше, чем ладино, средневековый язык евреев, бежавших из Испании от преследований инквизиции). Узнав, что многие живущие в этом вавилонском столпотворении люди свободно говорят на нескольких языках, Готье, знавший, как истый француз, только свой родной язык, почувствовал себя немного пристыженным.

Меры по отуречиванию Стамбула, предпринятые государством после установления республики (их можно было бы назвать завершением взятия Константинополя или своего рода этнической чисткой), способствовали исчезновению этих языков из обихода. Помню, в детстве, стоило кому-нибудь громко заговорить на улице по-гречески или по-армянски (курды предпочитали на людях вовсе не разговаривать на своем языке), как на них тут же шикали: «Граждане, говорите по-турецки!» Те же слова были написаны на развешанных повсюду плакатах.

Мой интерес к путевым заметкам западных путешественников, какими бы недостоверными они порой ни были, объясняется не только упоминавшейся любовью-ненавистью и желанием прочитать о своем городе что-нибудь обидное или, наоборот, одобрительное. Дело в том, что, если не принимать в расчет официальные документы и статьи горстки журналистов, упрекавших горожан за неправильное поведение на улицах, сами стамбульцы практически ничего не писали о Стамбуле вплоть до начала XX века. Дать портрет живого города, передать его атмосферу, его дыхание, уловить все подробности его повседневной жизни может только литература — но на протяжении нескольких столетий литературные произведения о Стамбуле выходили лишь из-под пера иностранцев. Чтобы узнать, как выглядели улицы города и какие костюмы носили его обитатели в 50-е годы XIX века, нужно обратиться к фотографиям дю Кампа и гравюрам западных художников; точно так же, если мне хочется узнать, что происходило сто, двести, четыреста лет назад на улицах и площадях, где прошла вся моя жизнь, какая площадь раньше была полем и какой пустырь раньше был площадью, окруженной величественными колоннадами, если я хочу иметь представление о жизни тех далеких времен, ответы на свои вопросы (если, конечно, я не готов провести многие годы в лабиринтах османских архивов) я могу найти только у западных писателей. Они же в большинстве своем интересовались лишь экзотическим и живописным.

Вальтер Беньямин,[74] рассуждая в своей статье «Возвращение фланёра» о книге Франца Хесселя «Прогулки по Берлину», замечает: «Если мы разделим все созданные на сегодняшний день описания городов на две части в зависимости от места рождения их авторов, то сочинения, написанные людьми, родившимися и живущими в описываемом городе, окажутся в безусловном меньшинстве». По мнению Беньямина, людей, глядящих на город «со стороны», интересует в нем экзотическое и живописное, в то время как интерес к городу его уроженцев всегда связан с их личными воспоминаниями.

Но мои личные воспоминания, равно как воспоминания других стамбульских писателей и их читателей, должно быть, в чем-то похожи на воспоминания обитателей всех остальных незападных городов мира. Европеизация, неизбежная подгонка под западный стандарт уравняли нас всех. А каким представлялся родной город предыдущим поколениям людей, живших в Стамбуле, мы не знаем, потому что они не оставили нам воспоминаний. За них это сделали иностранцы.

Возможно, поэтому я порой читаю записки иностранцев не как пересказ чьих-то экзотических грез, а так, словно это мои собственные воспоминания. В особенности мне нравится находить у западных писателей указания на какие-нибудь особенности стамбульской жизни, которые я, оказывается, и сам подметил, да только не понял этого, потому что никто из здесь живущих таких вещей не замечает. Например, у Кнута Гамсуна я читаю о том, как легонько покачивался под тяжестью повозок Галатский мост моих детских лет, установленный на баржах, а у Ганса Христиана Андерсена нахожу слова о «темных» кладбищенских кипарисах. Привычка смотреть на Стамбул глазами чужака доставляет мне немалое удовольствие, не говоря уже о том, что она служит необходимым противовесом слепому патриотизму и стремлению «быть как все». Иногда реалистические описания гарема, подробные рассказы о костюмах и ритуалах кажутся мне настолько далекими от моей жизни, что у меня создается впечатление, будто речь идет не о моем, а о каком-то другом городе, пусть умом я и понимаю, что это не так. Европеизация дала мне и миллионам других стамбульцев возможность увидеть свое собственное прошлое в ореоле экзотики.

Если смотреть на город то с одной точки зрения, то с другой, убеждаю я сам себя, легче сохранить живую связь с ним. Иногда я говорю себе, что совсем перестал выходить из дома, перестал даже искать терпеливо ждущего меня другого Орхана — не окостенеет ли от такой неподвижной жизни мой мозг? А если жить все время в одном и том же городе и быть до такой степени к нему привязанным — не приведет ли это в конце концов к потере всякого к нему интереса? В такие моменты я утешаюсь, говоря себе, что чтение книг иностранных путешественников придало моему взгляду на Стамбул некоторую отстраненность. Порой, когда я читаю о чем-то, что до сих пор осталось неизменным — об облике некоторых больших и малых улиц, о разрушающихся, но никак не рушащихся деревянных домах, об уличных торговцах, о пустырях и о печали, — мне кажется, что передо мной не записки иностранца, а мои собственные

воспоминания.

Причиной тому отчасти может быть и то, что некоторые улицы и площади, нисколько не изменившись сами по себе, из-за людского столпотворения выглядят сегодня совершенно иначе, чем в годы моего детства, — ведь население города с тех пор увеличилось в десять раз. Я с ностальгией вспоминаю времена, когда Стамбул был пустынным и безлюдным.

Пусть западные писатели наводняли свои сочинения о Стамбуле собственными измышлениями и фантазиями на восточные темы — стамбульцам вреда от этого не было никакого, ведь наша страна никогда не была колонией Запада. Если, к примеру, я читаю у Готье, что турки, в противоположность любящим лить слезы французам, не плачут, когда пожар уничтожает их дома, а встречают беду со спокойным достоинством, поскольку они все фаталисты, я могу с ним совершенно не соглашаться, однако не чувствую, что со мной поступили несправедливо. А вот французский читатель, приняв слова Готье за чистую монету, думаю, не сможет понять, почему же за сто пятьдесят лет стамбульцы так и не смогли превозмочь свою печаль.

Грустно другое — осознавать, что немало особенностей стамбульской жизни, подмеченных и с некоторыми преувеличениями описанных западными путешественниками, многие из которых были блестяще одаренными писателями, исчезли вскоре после того, как были подмечены и описаны. Ведь западные писатели любили писать об «экзотическом», обо всем том, что делало Стамбул непохожим на европейский город; наши же европеизаторы, стремящиеся переделать город в соответствии со своими идеями, рассматривали эти особенности, традиции, институты как препятствие и стремились как можно скорее их уничтожить. Вот небольшой список утраченного.

Первым кануло в небытие войско янычаров, о котором больше всего любили писать западные путешественники вплоть до начала XIX столетия. Невольничий рынок исчез вскоре после того, как стал привлекать слишком большое внимание западных писателей и журналистов. Столь любимые иностранцами дервиши ордена Руфаи, имевшие обыкновение в религиозном экстазе неосторожно обращаться с острыми предметами, после установления республики были разогнаны, а обители дервишей ордена Мевлеви — закрыты. Османские костюмы, излюбленная тема западных художников, были запрещены, едва Андре Жид успел выразить неудовольствие по их поводу. Отправился на свалку истории гарем. Через семьдесят пять лет после того, как Флобер сообщил своему другу, что собирается сходить на рынок

и заказать дощечку с его именем, написанным каллиграфическим арабским шрифтом, Турция перешла от арабского алфавита к латинскому, лишившись таким образом еще одной экзотической особенности. Самой тяжелой из утрат для стамбульцев, по-моему, стало перенесение (во имя европеизации, конечно) могил и кладбищ, бывших частью нашей повседневной жизни, из садов и с площадей в огражденные высокими тюремными стенами места, где не росло ни кипарисов, ни других деревьев и было голо, пусто и страшно. Исчезли с городских улиц носильщики, неизменно привлекавшие большое внимание туристов, за ними последовали старинные американские автомобили, о которых писал Бродский.

Только двум явлениям, издавна служившим источником вдохновения для западных писателей, удалось сохраниться до наших дней. Одно из них — собачьи стаи, все еще бродящие по стамбульским улочкам, в стороне от людных проспектов. Махмуд II, уничтоживший янычарское войско, поскольку оно не желало подчиняться военной дисциплине западного образца, вознамерился после этого покончить и с бродячими собаками, однако тут его ждал конфуз. В конце 70-х годов XIX века, вскоре после того, как краткий период конституционной монархии сменился режимом неограниченной власти султана Абдул-Хамида, была предпринята еще одна попытка «реформы» в этом направлении. Ее осуществление поручили цыганам, которые изловили всех собак и перевезли их на Сивриаду,[75] однако тем удалось убежать из ссылки и триумфально вернуться в Стамбул. Возможно, это им удалось потому, что французы, считавшие собачьи стаи, бродящие по всему городу, экзотическим явлением, восприняли попытку перевезти их всех разом на один остров как мероприятие еще более экзотическое и немало над ним поиздевались (даже Сартр многие годы спустя в романе «Век разума» отпустил шутку по этому поводу).

Экзотичность собачьих стай не ускользнула от внимания Макса Фрухтермана, стамбульского издателя почтовых открыток. В серии открыток с видами города, печатавшейся в конце XIX — начале XX века, им отведено место наряду с дервишами, кладбищами и мечетями.

26
Печаль руин: А. Х. Танпынар и Яхья Кемаль исследуют окраины

Ахмет Хамди Танпынар и Яхья Кемаль предпринимали долгие совместные прогулки по дальним бедным окраинам Стамбула. Возвратившись в эти «обширные и нищие районы между Коджамустафапашой и городскими стенами» в одиночестве в годы Второй мировой войны, Танпынар вспоминает, сколь многому он научился во время тех прогулок. Это были те самые места, где в 1853 году Готье почувствовал печаль, нависшую над Стамбулом; наши же писатели впервые появились здесь в «годы перемирия», вскоре после окончания Первой мировой войны. Семьдесят лет минуло со времени посещения Османской империи друзьями-литераторами Нервалем и Готье, чьи произведения Танпынар и Яхья Кемаль так ценили, чьи путевые заметки о Стамбуле читали с таким вниманием. За эти семьдесят лет Османская империя постепенно уменьшалась, теряя свои владения на Балканах и Ближнем Востоке, и в конце концов пала; источники, питавшие благосостояние ее столицы, пересохли, затем мировая война унесла жизни сотен тысяч человек, так что, несмотря на стекающиеся в Стамбул потоки беженцев из новых балканских государств, проводящих этнические чистки, город обнищал и обезлюдел. Европа же и Запад в целом в эти семьдесят лет переживали период бурного экономического роста и технологического развития, и беднеющий Стамбул в их глазах начал терять значение и привлекательность, превращаясь в отдаленный малоинтересный город, о котором только и можно сказать, что там высок уровень безработицы. В детстве у меня не было ощущения, что я живу в одной из мировых столиц, — скорее я чувствовал себя жителем большого, но бедного провинциального города.

Целью описанной Танпынаром прогулки, равно как и предыдущих, предпринятых им совместно с Яхьей Кемалем, было не само по себе знакомство с бедными окраинами Стамбула — писатели пытались свыкнуться с мыслью о том, что и сам Стамбул, и вся Турция стали бедной окраиной мира. Танпынар пишет о пепелищах на месте особняков, о памятниках старины, лежащих в руинах, о полуразрушенных стенах — на все это и я немало насмотрелся в детские годы. Затем его внимание

привлекают женские голоса (по старой привычке он называет их «щебетанием гарема»), доносящиеся из «грозящего вот-вот развалиться большого деревянного особняка времен Абдул-Хамида»; тут, однако, следуя своей культурно-политической программе, писатель объясняет, что эти звуки не имеют ничего общего с османской эпохой — болтающие женщины «работают на какой-нибудь современной чулочной фабрике или стоят за ткацким станком». Этот квартал, говорит Танпынар, «все мы знаем с детства» — мы читали о нем у Ахмета Расима: «Источник, увитый виноградной лозой, развешанное сушиться на солнце белье, дети, собаки, кошки, небольшая мечеть и кладбище». Меланхолию окраин, руин, лачуг и городских стен, о которой Танпынар читал у Нерваля и Готье, он искусно превращает в подлинно стамбульскую печаль, свойственную этому кварталу и жизни его обитательниц, современных работающих женщин.

Нам никогда не узнать, понимал ли сам писатель значение того, что делает. Однако он осознанно пытался дать читателю понять, что окраинные кварталы, развалины, безлюдные улицы, пепелища, мастерские, склады, ветхие деревянные дома красивы особенной красотой, и красота эта наделена особенным смыслом. В той же статье Танпынар пишет:

«Полная приключений биография этих разоренных районов имеет для меня символическое значение. Только время, только долгая череда исторических событий и происшествий может придать району такой облик. Сколько побед, поражений и бедствий пришлось испытать предкам этих людей? Сколько всего было построено, разрушено и вновь построено, прежде чем эти улицы приобрели свой сегодняшний вид?»

Теперь мы можем дать ответ на вопрос, который, должно быть, уже вертится на языке у читателя: если эти два влюбленных в свой город замечательных писателя так страдали из-за падения Османской империи, потери Стамбулом своей уникальности и обнищания его по сравнению с западными странами, почему меланхолия-печаль не заставила их укрыться в своем внутреннем мире по примеру Нерваля и не побудила обратиться к «чистой поэзии»? Читая «Аврелию», мы видим, что меланхолия, рожденная несчастной любовью, заставила Нерваля назвать все прочие события жизни «грубыми развлечениями». В Стамбул он приехал, надеясь избавиться от меланхолии (и помимо своей воли привнес меланхолию в восприятие Стамбула своего друга Готье). А величайший турецкий поэт XX века Яхья Кемаль вместе с величайшим турецким прозаиком XX века Ахметом Хамди Танпынаром, отправляясь бродить по окутанным печалью окраинам, словно хотели еще больше разбередить чувство утраты,

заставить себя страдать еще сильнее. Зачем?

Цели, преследуемые ими, были политического свойства. Среди руин Стамбула они хотели найти основу турецкой нации и нового турецкого патриотизма. Пусть великая Османская империя пала — создавший ее турецкий народ (подобно новому республиканскому государству, наши писатели были готовы с легким сердцем позабыть про всех этих греков, армян, евреев, курдов и прочие меньшинства) все еще живет и здравствует, пусть и погружен в печаль. Однако в отличие от новоиспеченных идеологов государственно-национального патриотизма, сразу избравших далекий от поэтических красот грубо-властный тон, они стремились выразить свои чувства, обращаясь именно к идее красоты, языком, в котором не было и следа приказного стиля. Яхья Кемаль, десять лет проживший в Париже и замечательно изучивший французскую литературу, понимал, что новый турецкий патриотизм могут воспитать только мыслящие «по-западному» люди, если им удастся создать образ «прекрасного» патриотизма в западном духе.

Поражение Турции в Первой мировой войне, превращение Стамбула, как выразился Танпынар в романе «За сценой», в «плененный город» (в Босфоре, напротив дворца Долмабахче, резиденции султана, стояли на якоре английские и французские броненосцы), планы расчленения Анатолии, строившиеся некоторыми европейскими политиками — все это заставило Яхью Кемаля и Танпынара стать националистами. (Заставило, но они не очень расстраивались по этому поводу. Впоследствии такая позиция облегчила им отношения с государством, позволила занимать дипломатические посты и избираться в меджлис; этой же позицией было обусловлено их молчание после кровавых этнических столкновений 6–7 сентября 1955 года.) В то время как в Анатолии шли бои с греческой армией, Яхья Кемаль, недолюбливавший войны, военных и политику, предпочел остаться в Стамбуле, «за сценой», и писать стихи о былых победах турецкой армии. Кроме того, он поставил себе задачу создать образ «турецкого Стамбула». Чисто литературной стороной его успешно осуществленной политической программы было создание произведений, написанных традиционным стихотворным размером (арузом) в традиционных же, заимствованных у персидской литературы жанрах, при этом пытаясь передать атмосферу современного разговорного языка и внушить читателям мысль о том, что турецкий народ — это великая нация, одержавшая великие победы и давшая миру великие шедевры искусства. Говоря о Стамбуле как о величайшем произведении народного гения, Яхья Кемаль преследовал две

цели. Если после Первой мировой Стамбулу предстояло стать колонией Запада, то следовало бы дать колониалистам понять, что этот город ценен не только Айя-Софией и другими византийскими церквами, что это турецкий город. После же победоносного завершения Войны за независимость и основания республики Яхья Кемаль продолжал подчеркивать «турецкость» Стамбула во имя «становления новой нации». И он, и Танпынар обеспечили политике отуречивания идеологическую поддержку, написав по статье под одинаковым названием «Турецкий Стамбул». Из этих статей видно, насколько решительно их авторы отказывались видеть космополитическую, разноязыкую, веротерпимую сущность своего города.

«Как утешали нас в горькие годы оккупации великие творения нашего прошлого!» — вспоминал многие годы спустя Танпынар в одной из своих статей. Яхья Кемаль рассказывает в эссе, озаглавленном «У стен Стамбула», как в те же годы он и его ученики, совершив поездку на трамвае, бродили вдоль «этих стен, тянущихся башня за башней, зубец за зубцом от Мраморного моря до Золотого Рога», а после отдыхали, присев на «отвалившуюся от стены глыбу». Оба писателя понимали, что описаний столь любимых туристами силуэтов мечетей и церквей на фоне неба недостаточно для доказательства утверждения «Стамбул — турецкий город». Вид, на который неизменно обращали внимание все западные путешественники от Ламартина до Ле Корбюзье, был слишком космополитичным, чтобы служить основой для образа «национального города», — ведь господствующим его элементом была Айя-София. Нет, националистически настроенным стамбульцам вроде Яхьи Кемаля и Танпынара была нужна другая красота — печальная, говорящая об утратах и поражениях, но доказывающая, что главное в этом поверженном, подавленном, нищем городе — его мусульманское население, не потерявшее, несмотря ни на что, своего национального самосознания. Поэтому они и бродили по окраинам в поисках пейзажей, в красоте которых чувствовалось бы влияние печали прошлого, печали руин на жизнь горожан. Они шли по стопам Готье, за семьдесят лет до того открывшего меланхолическую красоту окраинных кварталов. Несмотря на весь свой патриотический пыл, Танпынар смотрит на эти кварталы глазами западного путешественника, обнаружившего «живописный пейзаж». Желая показать, что окраины продолжают жить традиционной, не испорченной западным влиянием жизнью, он говорит: «Да, эти люди обитают в развалинах, да, они бедны и несчастны, но они живут в соответствии со своими взглядами на мир, и у них есть свой собственный стиль».

Я попытался рассказать о том, как в годы крушения Османской империи и создания Турецкой республики два друга-писателя, живших в Стамбуле, подпали под влияние двух друзей-писателей, живших за полвека до того в Париже, и что из этого вышло. В истории этой так тесно переплелись темы патриотизма, разрухи, европеизации, поэзии и красоты, что, пытаясь потянуть за одну ниточку, невозможно не вытянуть и другую. А вышло из всего этого вот что: на свет появилась некая идея, образ, впоследствии укоренившийся в сознании стамбульцев. Этот образ, зародившийся в пустынных, ветхих и нищих кварталах у городских стен, уместно было бы назвать «печалью руин», а те кварталы, в которых печаль руин ощущается наиболее сильно, можно, если смотреть на них с западной точки зрения (как Танпынар), назвать живописными. Печаль, впервые замеченная в красоте живописного пейзажа, была той самой печалью утрат и бедности, которая в течение последующих ста лет лежала и продолжает лежать на сердце стамбульцев.

27
Живописное на окраинах

В книге «Семь светочей архитектуры», в главе под названием «Память», английский писатель и историк искусства Джон Рескин, размышляя о природе живописной красоты в архитектуре, говорит, что одной из особенностей, отличающей такую красоту от красоты продуманной, классической, является ее «случайность». С этой точки зрения «живописное» в архитектурном пейзаже — это нечто, не входившее в планы создателей того или иного здания. По мнению Рескина, живописной красота здания становится лишь через сотни лет после его постройки, когда стены оплетает плющ, а в трещинах вырастает трава; свою роль играет и природное окружение здания — море, скалы, порой даже облака. Итак, если мы видим здание таким, каким оно было построено, и оно производит на нас именно такое впечатление, какое было задумано архитектором, в нем нет ничего живописного; здание становится живописным, когда мы видим его в каком-то неожиданном ракурсе, когда в его облике появляются случайные черты, привнесенные временем.

Иными словами, красота мечети Сулейманийе — строгость линий, изящная организация внутреннего пространства, соразмерность пропорций белоснежных стен, поистине музыкальная гармония несущих башен и маленьких арок, замечательно выбранное расположение, благородная простота свинцового покрытия куполов — это красота не живописная, и удовольствие, которое я получаю, глядя на нее, совсем другого рода, нежели удовольствие от созерцания живописного вида. Ведь я вижу эту мечеть точно такой же, какой она была построена четыреста лет назад, такой, какой она была задумана ее создателем. Вид на исторический центр Стамбула производит такое сильное впечатление, поскольку грандиозные соборные мечети — Сулейманийе, Айя-София, Явуз-Султан-Селим, Бейазыт и другие — все еще сохраняют свою первозданную красоту. «Живописными» они становятся, только если мы видим их в просвете между домами или фиговыми деревьями или наблюдаем, как отраженный морем солнечный свет играет на их стенах.

А вот на окраинах красота появляется, когда разрушенные городские стены увивает плющ, а в трещинах вырастает трава и даже деревья (именно так, например, в мои детские годы выглядели стены и башни Румелихисары и Анадолухисары[76]).

Красота разбитого источника, полуразрушенного деревянного особняка с почерневшими от времени и увитыми плющом стенами, красота развалин газового завода столетней давности, изъеденной временем стены мечети, необычного переплетения ветвей чинар — красота случайная. Однако в годы моего детства подобные живописные виды, на которые хотелось, остановившись, смотреть, словно на прекрасную картину, встречались так часто, что их невозможно уже было назвать случайными: в этих печальных развалинах, ныне по большей части исчезнувших, жил дух города. Сейчас я говорю об этом как о чем-то само собой разумеющемся, но чтобы уловить этот дух, обнаружить в руинах красоту и понять, что она и есть самая главная особенность города, нужно было пройти сложный, запутанный и полный случайностей путь.

Чтобы иметь возможность наслаждаться случайной красотой бедных кварталов и поросших травою руин, в первую очередь необходимо быть чужаком в этих местах. Разрушенная стена, опустевшая и заброшенная дервишеская обитель, высохший источник, восемьдесят лет назад построенное здание мастерской, в которой давно уже никто не работает, пустые жилища, покинутые спасавшимися от преследований греками, армянами и евреями, дома, словно бросающие вызов перспективе, — все они немного покосились (некоторые подпирают друг друга, словно на карикатуре), деформированные крыши, эркеры и оконные рамы — все это вовсе не кажется красивым и правильным местным жителям, поскольку говорит им о нищете, безысходности и небрежении. Только тот, кто приходит в бедный квартал извне, может наслаждаться случайной красотой его живописного запустения. (Вспомним туристов из североевропейских стран, восхищенно фотографирующих римские руины, которые у самих потомков древних римлян не вызывают ни малейшего интереса.) Яхья Кемаль и А. Х. Танпынар превозносили «бедные окраины Стамбула» и традиционный образ жизни их обитателей, скорбели о том, что их «истинно турецкая» культура исчезает под натиском европеизации, восторгались здешними «прекрасными» видами, пытались убедить своих читателей, что люди здесь хранят моральные устои и трудовую этику, завещанную «нашими дедами и прадедами», — а сами между тем жили в значительно более комфортном Бейоглу, где, по словам Яхьи Кемаля, «не услышишь призыва к молитве» (Танпынар неизменно отзывался о своем районе с пренебрежением, разве что не с отвращением). Если мы вспомним слова Вальтера Беньямина о том, что экзотическое и живописное в городе интересует только приезжих, то поймем, почему два наших патриотически настроенных литератора могли

разглядеть красоту только в тех районах Стамбула, где сами были чужаками. Не правда ли, похоже на историю, которую рассказывают о знаменитом японском писателе Танидзаки: в романе «Похвала тени» он во всех подробностях и с большой любовью расписал устройство традиционного японского дома, после чего признался своей жене, что сам не смог бы жить в таком доме, ибо привык к комфорту западного толка.

Но именно такая раздвоенность сознания и делала Танпынара и Яхью Кемаля истинными стамбульцами. Выходит, увидеть живописную красоту этого города могут не только приезжие? Так оно и есть: уникальность Стамбула заключается в том, что его обитатели могут смотреть на свой город то с западной, то с восточной точки зрения. Первые рассказы о прошлом Стамбула, появившиеся в местной прессе, представляли собой странные, причудливые истории в духе французских *bizarreries*[77], столь любимых Ричардом Бартоном, английским переводчиком «Тысяча и одной ночи», и тем же Нервалем. Читая их, стамбульцы словно бы знакомились с прошлым не своего родного города, а какой-то другой, неведомой цивилизации. (Несравненным мастером этого жанра был, безусловно, Решат Экрем Кочу.) Даже в годы моего детства, когда Стамбул находился в наибольшей изоляции от мира, его обитатели постоянно чувствовали себя в нем немного чужими. Город представлялся им то слишком западным, то чересчур уж восточным, что порождало легкое беспокойство и неуверенность: имеют ли они право называть этот город своим?

Стамбульцам хотелось понять самих себя, найти некий общий, объединяющий образ своего города — и он был ими найден, воспринят и усвоен. Это был тот самый образ прекрасного, подлинно турецкого, печального, живописного окраинного квартала, созданный пришельцами из европеизированного Бейоглу — Яхьей Кемалем и Танпынаром. Впервые этот воображаемый идеальный квартал появился в 1930 — 40-е годы на страницах газет и журналов консервативного направления в виде упрощенных копий с гравюр западных художников. Авторство гравюр не сообщалось, в каком веке и где они были созданы, читателям было неведомо — от них скрывали, что на самом деле перед ними не что иное, как плод фантазии европейца. Кроме того, в журналах печатались и творения местных художников: нарисованные углем виды улочек бедных кварталов. Из них мне больше всего нравятся рисунки Ходжи Али Рызы — они самые простые и наименее «экзотичные».

Ходжа Али Рыза, творивший в конце XIX — начале XX века, не рисовал силуэты мечетей на фоне неба, не интересовала его и

игра отраженного морем света на белоснежных стенах — любоваться всем этим он предоставлял туристам. Его внимание привлекали незатронутые новыми порядками уголки и улочки, на которых модернизация началась было, да захлебнулась. Позже в эти места пришел со своей фотокамерой Ара Гюлер. На его черно-белых фотографиях Стамбул предстает городом, где, несмотря на все перемены, продолжают жить традиции старины, где старое и новое сливается в единой мелодии, тихо поющей о ветхости, бедности и скромности, где на пейзажах и лицах людей лежит отпечаток одной и той же глубокой печали. Особенно хорошо, я бы даже сказал — поэтично, ему удалось передать атмосферу 1950 — 60-х годов, когда здания времен османской европеизации — банки, конторы, государственные учреждения — начали дряхлеть и с их стен стала осыпаться краска и штукатурка. В альбоме Ары Гюлера «Потерянный Стамбул» среди восхитительных фотографий, запечатлевших черно-белый Бейоглу моего детства — трамваи, брусчатку, уличные объявления, — есть и живописные виды окраин, подчеркивающие усталость и печаль состарившегося города.

Полюбившийся читателям черно-белый образ полуразрушенного квартала, населенного «бедными, но гордыми людьми», носителями национального самосознания, особенно часто появлялся в газетах во время Рамазана. Колонки под рубрикой «История» и «Стамбул» неизменно сопровождались копиями старых гравюр, с каждым разом все более грубыми. Мастер этого дела Решат Экрем Кочу иллюстрировал свою «Энциклопедию Стамбула» и популярно-исторические статьи в газетах даже не копиями неведомо чьих гравюр, а сделанными с них рисунками (это было дешевле и технически проще, чем изготавливать качественные клише с подробно прорисованных гравюр). Многие из этих гравюр были, в свою очередь, сделаны с картин западных художников, однако ни автора картины, ни автора гравюры в газетах никогда не указывали. В углу плохо пропечатанного на скверной желтовато-коричневой бумаге рисунка стояло лишь краткое «с гравюры». Образ окраинного квартала, где бедность не дает исчезнуть «подлинно турецкому образу жизни» и потому не является постыдной, а наоборот, окружена неким ореолом достоинства, пришелся по душе полуевропеизированому стамбульскому буржуа, читателю газет и журналов, — не потому, что был реалистическим изображением жизни бедного города, а потому, что соответствовал его, буржуа, представлениям о том, что есть «истинно турецкое». В конце концов этот образ распространился с окраинных кварталов на весь город, за исключением того самого «силуэта». Тогда же

возникла и литература, облекающая его в слова и понятия.

Консервативно настроенные писатели, желавшие подчеркнуть истинно турецкую, мусульманскую сущность бедного квартала и при этом показать, что она не противоречит европеизации, создали в своих произведениях некий османский рай, где власть паши не подвергается сомнению, где семейные и дружеские связи скреплены ритуалами и традиционными ценностями (ценности эти, конечно же, — скромность, покорность и нетребовательность). Те особенности османской жизни, что могли бы вызвать отторжение у современно мыслящих представителей среднего класса — гарем, многоженство, наложницы, право паши бить людей — смягчались и «одомашнивались». Паши и их дети изображались (например, в романах Самихи Айверди[78]) значительно более современными людьми, чем они были на самом деле. В известной (и любимой многими) пьесе Ахмета Кутси Теджера[79] «На углу» действие происходит на улочке бедного окраинного квартала (прототипом послужил район Рустемпаша), главным образом в кофейне. Словно в представлении «Карагёза», по воле автора здесь собираются, чтобы повеселить нас, все типажи городских жителей. Если между ними и возникают противоречия и конфликты, они сглаживаются и благополучно разрешаются в атмосфере этакого всеобщего братства. А вот в романах и рассказах Орхана Кемаля, некоторое время жившего на похожей улочке в Джибали, где его жена работала на табачной фабрике, окраинный квартал предстает местом, где царит нищета и даже друзья могут насмерть поссориться из-за куска хлеба. В детстве я составил себе представление о жизни на окраине по радиосериалу «Семейство Угурлугиллер», который я с большим удовольствием слушал по вечерам. В нем шла речь о большой современной семье, похожей на нашу (правда, в отличие от нашей семьи, в ней царили мир и спокойствие); вроде бы они были небогаты, но при этом держали в доме чернокожую служанку.

В творимом стамбульскими писателями из печали руин идеальном городе живописных лачуг не было места темным и опасным чудовищам подсознания — это была невинная литература для семейного чтения, пропагандирующая традиционные национальные ценности. Когда мне было десять лет, я очень любил трогательные рассказы о бедных добросердечных сиротках, написанные Кемалеттином Тугджу[80], большим знатоком Стамбула. Посыл их был таков: пусть даже ты живешь на самой бедной, захолустной улице, — если ты трудолюбив и благонравен (а ведь бедный квартал как раз и есть источник всех национальных нравственных ценностей), то в один

прекрасный день обретешь счастье. Я читал эти рассказы, а наша семья между тем становилась все беднее и беднее.

Рескин полагает, что живописную красоту, в силу ее случайности, нельзя сберечь, «зафиксировать». Но красиво ведь не то, что замечательно сохранилось, а именно то, что сохранить не удалось, то, что разрушается и исчезает. Милый сердцу всех жителей города образ «прекрасного Стамбула» неизбежно связан с печалью руин; это объясняет, почему многим стамбульцам не нравится, когда старые, почерневшие и прогнившие деревянные особняки реставрируют и покрывают яркой краской, так что они обретают свой изначальный облик и становятся такими, какими были в XVIII веке, во времена побед и процветания Османской империи. Бедность, поражения и руины — вот из чего вырос образ Стамбула, утвердившийся за последние сто лет в сознании его обитателей (любовь или отвращение вызывает он у них — другой вопрос). Влияние, которое оказывает на город печаль этого образа, я впервые почувствовал в пятнадцать лет, когда начал рисовать стамбульские улочки.

28
Я рисую Стамбул

Когда мне было пятнадцать лет, я начал в огромных количествах рисовать стамбульские виды. Дело здесь было не в какой-то особенной любви к городу. Просто рисовать натюрморты или портреты я не любил, да и не умел, и единственное, что мне оставалось, — рисовать Стамбул таким, каким я видел его из своего окна или выходя на улицу.

Мои рисунки разделялись на две большие группы.

1. Картины, изображающие здания на берегу Босфора и силуэт города на фоне неба, — то есть, главным образом, те виды, которые приезжие из западных стран уже два века подряд находят «завораживающими». Из окон нашей квартиры в Джихангире сквозь просветы между домами было видно Босфор, Девичью башню, берега Ускюдара и Фындыклы; позже мы переехали в Бешикташ, на вершину холма, откуда открывался впечатляющий вид на вход в пролив, мыс Сарайбурну, дворец Топкапы и силуэт старого города — все это я мог рисовать, даже не выходя из дома. При этом я ни на минуту не забывал, что рисую не что-нибудь, а знаменитый на весь мир «вид Стамбула». Поскольку я рисовал всем известные, многократно растиражированные виды, я редко задавался вопросом, в чем заключается красота моего рисунка. Закончив его, я спрашивал сам себя, а потом и своих близких (как буду спрашивать всю свою жизнь): «Красиво? Хорошо у меня получилось?» — при этом заранее зная, что получу утвердительный ответ, обусловленный уже самим выбором темы.

Будучи с самого начала уверен в том, что получится красиво, я рисовал как моей душе было угодно, не пытаясь вообразить себя тем или иным западным художником. Я не пытался сознательно подражать европейским мастерам, однако их влияние все равно проявлялось в каких-нибудь мелких деталях: босфорские волны я рисовал немного по-детски, подобно Дюфи[81], облака — на манер Матисса, а вместо самых мелких деталей, которые не мог прорисовать, ставил пятнышки краски, как заправский импрессионист. Иногда я черпал вдохновение в почтовых открытках с видами Стамбула или в картинках календаря. То, что у меня в итоге получалось, было весьма похоже на работы турецких импрессионистов, которые через сорок — пятьдесят лет после появления импрессионизма во Франции принялись рисовать знаменитые виды Стамбула, подражая манере своих парижских учителей.

Поскольку все и так знали, что выбранный мной вид красив, и мне не нужно было убеждать в этом ни себя, ни других, процесс рисования действовал на меня успокаивающе. Часто бывало так, что меня охватывал нестерпимый художнический зуд, я готовил холст и краски, дабы перенестись в другой мир, брал в руки кисть — и не знал еще, что именно буду рисовать. Но это было не важно, поскольку меня интересовал не сюжет картины, а сам процесс ее создания, и вот в который раз я приступал к изображению одного из тех видов, что открывались из наших окон, — хоть сейчас на открытку. Мне было нисколько не скучно рисовать одно и то же в сотый раз. Я мгновенно с головой погружался в работу и ускользал из этого мира — вот что имело для меня значение. Стараясь изобразить плывущие по Босфору корабли в соответствии с перспективой (забота всех рисующих Босфор художников, начиная с Меллинга), вырисовывая силуэт мечети на заднем плане, кипарисы, купола, маяк на Сарайбурну, паром, пересекающий пролив, и ближе к краю картины — рыбаков, я словно сам оказывался там, среди того, что рисую, сам становился частью рисунка.

Когда процесс достигал самой прекрасной, завершающей стадии, другой мир, существующий в моей голове, внезапно становился реальным, обретал материальность, и голову мою кружил удивительный, странный восторг. Я забывал, что изобразил известный вид, который именно в силу своей известности и должен был всем понравиться, — передо мной лежало чудесное произведение моей собственной фантазии. Завершая рисунок, я бывал охвачен таким радостным волнением, что мне хотелось погладить свое детище, приласкать его, даже укусить и съесть. Но случалось (чем дальше, тем чаще) и так, что невинную детскую гармонию моей фантазии что-то нарушало, я не мог полностью уйти в мир воображения и чувствовал, что меня выталкивает из него назад, к проблемам мира реального. В такие моменты мной овладевало желание мастурбировать.

Такого рода рисование было похоже на «наивную поэзию» в понимании Шиллера. Выбор сюжета и, в большей степени, само сознание, что я рисую, повинуясь лишь своему внутреннему чувству, — вот что было важно, а вовсе не то, как я рисую, в каком стиле, к каким приемам прибегаю.

2. Красочный, веселый и беззаботный детский мир моих рисунков постепенно стал казаться мне и в самом деле слишком уж наивным, и я перестал получать от рисования прежнюю радость. Подобно тому как мои любимые игрушки — машинки, которые я когда-то так увлеченно выстраивал в стройные

колонны на ковре, ковбойские пистолеты, привезенная папой из Франции железная дорога — уже не могли заставить меня позабыть домашнюю скуку, так и красочные наивные мои рисунки перестали спасать от серой повседневности жизни. Тогда я прекратил рисовать всем известные виды и обратился к тихим улочкам, безлюдным маленьким площадям, мощенным брусчаткой аллеям (если аллея вела к Босфору, то в конце ее проглядывали море, Девичья башня и азиатский берег), деревянным домам с эркерами. Все это я рисовал черным карандашом на бумаге или же маслом на картоне или холсте, но при этом всегда оставлял на картине много белого пространства и старался использовать как можно меньше красок. У меня было два источника вдохновения. Первый из них — черно-белые иллюстрации, все чаще появлявшиеся в газетных и журнальных исторических колонках. Мне очень нравилась тихая печальная поэзия изображенных на них окраин. Держа в уме эти иллюстрации, я рисовал маленькие мечети, полуразрушенные стены, арки византийских акведуков и длинные ряды постепенно уменьшающихся скромных деревянных домиков (я тогда только что открыл для себя понятие перспективы и рад был подчиниться ее правилам). Вторым источником вдохновения был Утрилло[82], чьи картины я знал по репродукциям, а биографию — по довольно-таки мелодраматичному роману, описывающему историю жизни художника. Если мне хотелось нарисовать картину в стиле Утрилло, я изображал на ней маленькие улочки Бейоглу, Тарлабаши или Джихангира, потому что там практически не было видно мечетей и минаретов. Я ходил по этим улочкам с фотоаппаратом и делал снимки — в конце концов их у меня накопились сотни (на страницах этой книги представлены некоторые из них). Когда мной овладевало желание рисовать, я доставал одну из своих черно-белых фотографий и, поглядывая на нее, принимался за дело. Окна многоэтажных зданий на моих картинах были неизменно снабжены жалюзи — в Стамбуле их почти не водится, но мне хотелось создать «парижскую атмосферу». Заканчивая работу, я снова чувствовал воодушевление, но не совсем такое, как раньше. Теперь я уже реже представлял себе, что мой рисунок одновременно отображает реальность и мои фантазии или что я являюсь частью этого знакомого и тем не менее прекрасного мира. Для того, чтобы выйти за пределы собственного «я» (а без этого рисовать я не мог), такой наивной игры воображения было уже мало, я прибегал к новому, гораздо более сложному и хитрому трюку — представлял себя неким человеком по имени Утрилло, жившим некогда в Париже и рисовавшим такого рода картины. Конечно,

речь не шла о полном самоотождествлении с другим человеком. Когда я рисовал виды Босфора, только небольшой уголок моего сознания верил в то, что я — часть нарисованного мира; так же и теперь лишь малая часть моей личности отождествляла себя с Утрилло. Но эта новая игра очень помогала, если на меня вдруг нападала странная неуверенность в своих силах, природу которой я и сам не мог понять, и я начинал сомневаться, достаточно ли хороша моя картина и найдут ли ее «красивой» и «исполненной смысла» те, кому я ее покажу. При этом я чувствовал, что чрезмерное увлечение таким «перевоплощением» сужает мои возможности. Иногда, рисуя, я терял контроль над собой, на меня накатывала волна восторга, пенилась, росла — и вдруг расшибалась о берег, оставляя меня грустным, растерянным и желающим только одного — отдохнуть. (Вскоре я испытал такую же последовательность чувств во время своего первого сексуального опыта.)

Закончив работу, я вешал еще влажную картину, торопливо срисованную с одной из моих фотографий, на стену на уровне глаз и пытался представить, что ее нарисовал кто-то другой. Если я был доволен тем, что вижу, меня охватывало чувство блаженства и уверенности. Мне замечательно удалось передать печальную атмосферу этой улочки! Но чаще всего при взгляде на картину мне начинало казаться, что с ней что-то не так, чего-то не хватает. Тогда я принимался смотреть на нее с разных точек зрения: то справа, то слева, то отойдя подальше, то приблизившись вплотную; иногда в отчаянии хватался за кисточку и пририсовывал какую-нибудь деталь, пытаясь заставить себя полюбить свое произведение, но тщетно. Я больше не верил, что я — Утрилло или что во мне есть что-нибудь от Утрилло, и поэтому, словно после соития, меня охватывала тоска. Картина была плоха не потому, что плох был выбранный мною вид, а потому, что я плохо ее нарисовал. Я не был Утрилло — я был просто человеком, нарисовавшим картину в его стиле.

Сознание того, что я могу рисовать, только представляя себя кем-то другим, огорчало меня (позже оно окончательно отравит мне радость рисования), но нельзя сказать, чтобы я стыдился этой своей особенности. Подражая стилю, особому взгляду или приемам какого-нибудь художника (слово «подражать» я, впрочем, применительно к себе никогда не употреблял), воображая, что становлюсь кем-то другим, я обретал и свой собственный стиль, свою собственную индивидуальность. Это вселяло в меня не вполне осознанную гордость. Так я впервые столкнулся с противоречием (впоследствии оно долго не давало мне покоя), которое европеец назвал бы парадоксом: мы можем

обрести свою собственную индивидуальность, только подражая другим. Беспокойство, которое я ощущал, сознавая, что нахожусь под влиянием другого художника, было не таким уж глубоким: в конце концов, я был еще ребенком и отчасти продолжал воспринимать рисование как игру. Еще больше утешала меня мысль о том, что город, Стамбул моих фотографий и картин, влиял на меня сильнее, чем творчество какого бы то ни было художника.

Порой, когда я увлеченно работал над картиной, в комнату, постучав, входил отец. Увидев, что его сын охвачен творческим пылом, он преисполнялся уважением, как когда-то, застав меня играющим с пенисом, и шутливо, но без малейшей снисходительности в голосе спрашивал: «Как дела, Утрилло?» Это напоминало мне, что я еще, в сущности, ребенок и мне не зазорно подражать другим. Когда мне было шестнадцать, мама, не оставившая без внимания серьезность моего увлечения живописью, дала мне ключ от нашей старой квартиры в Джихангире, где в то время хранилась старая мебель, и позволила мне использовать ее как студию. По выходным, а иногда и по будням после колледжа я приходил в эту нежилую холодную квартиру, зажигал газовую печку, выбирал одну-две фотографии из своей коллекции и, согревшись, принимался за дело — рисовал в порыве вдохновения пару громадных картин. Потом, усталый, измученный и охваченный какой-то странной грустью, шел домой.

29
Живопись и семейное счастье

Заходя в нашу бывшую квартиру, превратившуюся ныне в мою студию, я первым делом, охая и чертыхаясь, зажигал огонь в газовой печке. (В одиннадцать лет, когда мы еще жили в этой квартире, я был настоящим пироманом и очень любил разжигать огонь везде, где только мог, в том числе и в печке; значительно позже я обнаружил, что странное это увлечение, подобно многим другим увлечениям детства, покинуло меня, не сказав ни слова на прощание.) Я ждал, пока комната с высоким потолком не прогреется настолько, чтобы мои пальцы перестало сводить от холода, облачался в мятую, заляпанную краской художническую блузу и жадно (особенно если не рисовал уже долгое время) набрасывался на холст, забывая все и вся. Мое воодушевление, впрочем, таяло, когда я вспоминал, что мою картину никто не увидит — ни сейчас, ни через несколько дней. Постепенно я увешал холстами все стены квартиры, так что она стала напоминать небольшую картинную галерею, но никто не приходил туда, даже папа и мама не заглядывали, чтобы подивиться красоте моих творений. Вскоре я понял, что мне не просто хочется, чтобы мои картины увидели, — рисуя, я жаждал ощущать присутствие неподалеку людей, которым покажу нарисованное, хотел слышать звуки, обрывки фраз, скрип шагов по половицам, чувствовать, что нахожусь в окружении счастливой семьи. Рисуя виды Стамбула в этой унылой, не прогретой толком квартире, набитой старой, пропахшей плесенью и пылью мебелью, я становился только печальнее.

Сюжетами некоторых из тех картин, что я рисовал в шестнадцать-семнадцать лет, были, как сказал бы Толстой, «сцены семейного счастья» — сейчас мне очень хотелось бы на них взглянуть, но, увы, они по большей части утеряны. Эти картины были очень важны для меня, поскольку, как видно из приведенной здесь фотографии (она сделана профессиональным фотографом, вызванным на дом, мне на ней семь лет), порой было очень трудно изображать «ребенка из счастливой семьи». Итак, забыв на время о стамбульских улочках и видах Босфора, я начинал зарисовывать сцены нашей повседневной домашней жизни. Это случалось в периоды, когда ссоры между родителями на время утихали и никто не подпускал шпилек в адрес друг друга, когда в доме царило спокойствие, из радиоприемника или магнитофона раздавалась негромкая музыка, на кухне

позвякивала посудой служанка, готовящая обед или ужин, и я знал, что скоро мы все вместе отправимся на прогулку, — словом, когда все были если не счастливы, то, по крайней мере, довольны жизнью.

Папа обычно лежал на диване в гостиной. Дома он проводил большую часть времени именно в такой позе, почитывая газету, журнал или книгу (как правило, какое-нибудь руководство по игре в бридж — художественной литературой он уже интересовался меньше, чем в юности) или задумчиво, со страдальческим выражением на лице глядя в потолок. Если у него было хорошее настроение, он включал классическую музыку, например Первую симфонию Брамса, причем порой даже вставал с дивана и принимался размахивать руками, входя в роль дирижера воображаемого оркестра, — эти жесты казались мне раздраженными и гневными. В такие моменты мама, сидящая рядом в кресле, отрывала глаза от газеты или вязания и, глядя на папу, улыбалась; в ее улыбке, казалось мне, читалось нечто среднее между жалостью и любовью.

Ничего особенного не происходило, ничего необычного не говорилось, и все же эта сцена — призрак семейного счастья — приковывала к себе мое внимание. Смущенно и взволнованно, словно признаваясь, что в меня вселился некий злой дух, я шептал: «Сейчас я это нарисую», — и бежал в свою комнату за рисовальными принадлежностями: масляными красками или набором пастели ста двадцати цветов (марки Guitar), привезенным папой из Англии, и несколькими листами немецкой бумаги для рисования — эту бумагу самых разных размеров дарила мне на каждый день рождения тетя.

Вернувшись, я усаживался за папин письменный стол так, чтобы было хорошо видно и папу, и маму, и начинал торопливо рисовать «семейный портрет».

Поскольку на протяжении всей этой процедуры родители хранили полное молчание и воспринимали мое внезапное и необоримое желание их нарисовать как нечто само собой разумеющееся, мне казалось, что Аллах специально ради меня ненадолго остановил время. (Мне все еще верилось, что Он, несмотря на мое полное к Нему невнимание, в особо нужные моменты обращает внимание на меня и помогает мне.) В такие моменты родители казались мне счастливыми — возможно, именно потому, что не разговаривали. Семья в моем представлении была группой людей, пытающихся выглядеть счастливыми. Они хотят верить, что любимы, хотят чувствовать себя спокойно и уютно — и ради этого готовы на какое-то время заставить своих злых духов замолчать. Притворяясь счастливым

— просто потому, что больше ничего не остается, — можно поверить, что ты и в самом деле счастлив, но такое деланное счастье нельзя сохранить надолго — злые духи норовят выйти из-под контроля. И вот папа, оторвавшись от своей книги (мама терпеливо продолжала вязать), устремлял взгляд за окно, вдаль, к берегам Босфора, на красоту которого он сейчас не обращал никакого внимания, и начинал мечтать о чем-то своем. С тех пор как в начале 1970-х годов в нашей гостиной появился телевизор, моментов этого волшебного спокойствия и безмолвия, когда мне казалось, что папа и мама ощущают некое странное счастье или, может быть, неясную тоску бытия, больше не было. Родители, пусть с некоторым смущением, поддались дарящей забвение власти телеэкрана, и больше у меня уже не возникало желания их рисовать. Возможно, в этом и было мое счастье — когда любящие меня люди подавляли своих внутренних демонов, и я мог позволить вовсю резвиться своим.

Пока я старался побыстрее зарисовать сцену семейного счастья, мама с папой сохраняли полную неподвижность, словно позируя фотографу, однако порой обменивались парой фраз. Например, папа делился новостью, только что прочитанной в газете, а мама после долгого молчания высказывала свои соображения по этому поводу. Впрочем, она могла и промолчать. Иногда мы с мамой обсуждали какую-нибудь тему, казалось, вовсе не интересующую папу, лежащего на своем диване с отсутствующим видом, как вдруг он вставлял ремарку, показывающую, что он следил за нашим разговором с самого начала. Порой кто-нибудь выглядывал в окно, чтобы проводить глазами плывущий по Босфору устрашающих размеров советский военный корабль, снабженный радаром необычной формы. Если дело было весной, чье-нибудь внимание могли привлечь летящие из Африки на север аисты; тогда тишина нарушалась коротким замечанием: «Аисты летят». И молчание снова окутывало гостиную, и снова каждый из нас, сидящих вместе в одной комнате, погружался в свой внутренний мир, но я понимал, как быстротечны эти минуты счастья и спокойствия. Второпях нанося последние штрихи, я вдруг в страхе осознавал, что, рисуя родителей, заметил в очертаниях их тел кое-какие детали, на которые раньше никогда не обращал внимания. Вот сидит мама, на лице у нее то ли счастливое, то ли обнадеженное выражение. В руках у нее спицы, с них свисает пряжа — сначала ложится ей на колени, а потом спускается дальше, в стоящий на полу прозрачный полиэтиленовый пакет с мотком шерсти. Рядом с пакетом стоит обутая в тапочку мамина нога, пребывающая в полной неподвижности вне зависимости от того, что делает сама

мама: разговаривает с папой или раздумывает о чем-то своем. В процессе рисования я долго и пристально смотрел на эту ногу, и в какой-то момент мне становилось не по себе: в наших руках и ногах, даже в наших головах было будто что-то неживое, что-то роднившее их с вазой, в которую мама ставила ромашки, журнальным столиком или висящими на стене расписными тарелками из Изника[83]. Как бы удачно мы ни изображали счастливую семью, как бы ни преуспевал я, пытаясь, словно в театре, поверить в то, что вижу, — чем-то мы трое были похожи на предметы мебели из переполненной вещами бабушкиной гостиной.

Я очень любил эти минуты совместного молчания, не меньше, чем наши редкие семейные игры в карты или в лото на Новый год. Словно боясь упустить и не запомнить свои ощущения, я старался рисовать как можно быстрее — так, в моем представлении, рисовал Матисс. Предметы обстановки я изображал, подражая интерьерам Боннара[84]; иногда, увлеченно покрывая ковер или штору на своей картине маленькими черточками и причудливыми зигзагами, я замечал, что на улице уже потихоньку темнеет, и торшер, стоящий у изголовья папиного дивана, начинает светить ярче. Вскоре, окрашивая Босфор и небо над ним в таинственный темно-синий цвет, сгущались настоящие вечерние сумерки. В окне уже не было видно ни берегов, ни паромов, ни пароходов, спешащих из Бешикташа в Ускюдар, — по ту сторону стекла можно было увидеть лишь отражение нашей комнаты, освещенной оранжевым светом торшера.

Я до сих пор люблю, проходя по вечерней улице или глядя из окна, всматриваться в окна чужие, в пространство чужой домашней жизни. Иногда я вижу женщину, в одиночестве гадающую на картах, — когда-то долгими зимними вечерами, если папа не возвращался домой, точно в такой же позе, раскладывая пасьянс, сидела мама и курила, курила… Иногда я вижу, как в маленьком полуподвальном помещении, освещенном таким же оранжевым светом, как когда-то наша гостиная, сидит за вечерней трапезой семья; глядя на то, как эти люди мило беседуют друг с другом, я наивно заключаю, что они счастливы. В Стамбуле чаще, чем где бы то ни было, приезжие из-за рубежа забывают, что для понимания сути города мало наблюдать происходящее на виду — нужно знать и то, что происходит за стенами, в укромных местах, куда нет доступа посторонним.

30
Дым из пароходных труб

Появление в Средиземном море пароходов значительно приблизило Стамбул второй половины XIX века к европейским столицам. Это повлекло за собой два последствия. Во-первых, в Стамбул устремилось множество путешественников, останавливающихся в городе ненадолго, но тем не менее успевающих записать свой впечатления о нем. Заметки этих путешественников, как мы помним, стали отправной точкой для стамбульских литераторов, взявшихся создать свой образ Стамбула. Вторым последствием было довольно-таки неожиданное изменение городского пейзажа. (А в турецкий язык вошло французское слово *vapeur*[85]*.)* Пароходная компания, вначале носившая название «Хайрийе», а затем ставшая «Городскими линиями», споро взялась за дело, и вскоре каждая деревенька на Босфоре обзавелась своей пристанью, а между пристанями стали курсировать пароходы — эти нововведения изменили пейзаж Босфора и лик всего города. Я имею в виду не только появление оживленных площадей вокруг пристаней и быстрый рост прибрежных деревушек, ставших теперь частью города (раньше до многих из них добраться было очень непросто).

Вскоре после того, как пассажирские пароходы принялись бороздить воды Босфора, они стали для горожан такой же привычной деталью пейзажа, как Девичья башня, Айя-София, крепость Румелихисары и Галатский мост. Более того, они стали настолько неотъемлемой частью повседневной жизни стамбульцев, что приобрели для них своего рода символическое значение. Стамбульцы привязаны к пароходам городских линий не меньше, чем венецианцы к своим вапоретто, можно даже сказать — влюблены в них. Было издано немало снабженных замечательными иллюстрациями книг, посвященных описанию различных моделей пароходов. Готье писал, что в каждой стамбульской парикмахерской на стене висит изображение корабля. Мой отец мог узнать любой из пароходов, появившихся в Босфоре в его детские и юношеские годы даже издалека, по силуэту — иногда мгновенно, иногда немного поразмыслив. Их имена звучали для меня музыкой: «Инширах-53», «Календер-67», «Тарзы Невин-47», «Кемер-59»…

Когда я спрашивал отца, как у него получается распознавать все эти столь похожие, казалось бы, суда, он, сидя за рулем

машины, если мы отправлялись на прогулку по Босфору, или в кресле в гостиной, если на дорогах было слишком оживленное движение, начинал перечислять их особенности и детали: у одного есть характерный выступ, похожий на горб, у другого необычно длинная труба, у третьего нос похож на птичий клюв, у четвертого округлая корма, пятый, попав в течение, немного кренится на один борт… Но я все равно не мог отличить один пароход от другого. Зато я научился различать по очертаниям (в особенности по форме трубы) три очень похожих друг на друга парохода (у них и названия заканчивались одинаково), появившихся Стамбуле в 1952-м, в год моего рождения, — «Фенербахче» и «Долмабахче», оба английского производства, и построенный в Италии, в Таранто, «Пашабахче». Последний стал моим счастливым кораблем — до сих пор, если я бреду в задумчивости по улице и мне случается увидеть его вдалеке, в просвете между домами и деревьями, я радуюсь, словно вытащил выигрышный билет.

Самым большим вкладом пароходов в стамбульский пейзаж стал дым, поднимающийся из их труб. Мне очень нравилось рисовать на своих картинах черные столбы дыма разных очертаний, зависящих от местонахождения парохода, его модели, босфорских течений и, конечно же, в первую очередь от ветра. Причем к изображению дыма я приступал в самом конце работы, когда картина уже успевала даже немного высохнуть. Подобно тому как я, заканчивая картину, гордо ставил свою подпись в ее нижнем углу, так и пароход, казалось мне, скрепляет росчерком дыма законченность, завершенность мира. Если столб дыма сгущался и становился похожим на облако, я чувствовал, что на весь Стамбул, на весь мой мир ложится темная пелена. Я люблю, проходя по берегу или находясь на борту парохода, оказываться под несомыми ветром густыми клубами дыма из трубы другого парохода, люблю ощущать, как на мое лицо ложится легкая паутинка частичек сажи, и вдыхать запах сгоревшего угля; люблю смотреть, как из труб пароходов, стоящих у пристаней вокруг Галатского моста, одновременно поднимается дым, сливается в единое облако и развеивается над городом.

Часто, завершая картину, как всегда, изображением дыма из пароходных труб (это была непростая работа — порой, увлекшись, я рисовал так много дыма, что умудрялся испортить всю картину), я старался запомнить на будущее, как еще по-разному этот дым может клубиться, подниматься и рассеиваться. Однако после того, как на картину наносились последние мазки, она обретала такую убедительную самодостаточность, что я забывал, как выглядел дым на самом деле.

На мой взгляд, наиболее красивым, «идеальным» столб дыма бывает при небольшом ветре — сначала он поднимается под углом примерно в сорок пять градусов, а после, прежде чем окончательно рассеяться, некоторое время висит в воздухе над морем, изящной линией обозначая направление движения судна. Тонкий угольно-черный столбик дыма, вертикально поднимающийся вверх в безветренную погоду из трубы стоящего у пристани парохода, напоминает мне уютный печной дымок над маленьким скромным домиком. Если ветер или пароход немного меняют направление, дымный след начинает закругляться и словно чертит над Босфором изгибы арабских букв — мне очень нравится за этим наблюдать. Но когда я рисовал, такое веселое и игривое поведение дыма меня раздражало — ведь дым на моих картинах призван был подчеркивать печаль пейзажа. Самое редкое зрелище бывало в совершенно безветренные дни — за кораблем, идущим по Босфору, время от времени меняя курс, тянулся и долго висел в воздухе грустный след дыма, в точности повторяющий путь корабля. Еще я любил наблюдать, как темные клубы дыма сливаются с низкими грозовыми тучами, точь-в-точь как на пейзажах Тернера[86]. И все-таки, изображая дым из пароходных труб на своих картинах, я рисовал не совсем то, что видел, — мне вспоминались пейзажи Моне, Сислея, Писарро и других импрессионистов, голубоватое облако на картине Моне «Вокзал Сен-Лазар» или принадлежащие совсем другому миру веселые, похожие на шарики мороженого облачка Дюфи.

Флобер начинает свой роман «Воспитание чувств» с описания «густых клубов дыма» из корабельной трубы, и это одна из причин, по которой я очень его люблю (есть и другие причины). Прочитанное вами только что предложение служит переходом от одной темы к другой; такой переход, предварявший соло, в классической османской музыке назывался «ара таксим». Слово «таксим» означает «разделение», «распределение», и этим же словом обозначается место, где происходит распределение воды. За десять лет до того, как Нерваль побывал в Стамбуле, на той равнине, где его взору предстали кладбища и разгуливающие туда-сюда торговцы, был сооружен водораспределительный центр. Поэтому впоследствии за этой местностью, превратившейся в площадь, в окрестностях которой я прожил всю жизнь, закрепилось название Таксим. Так она называется и до сих пор, но в те времена, когда по Стамбулу гуляли Нерваль и Флобер, это было просто безымянное поле.

31
Флобер в Стамбуле, или Восток, Запад и сифилис

Гюстав Флобер, только что подхвативший в Бейруте сифилис, и его друг, фотограф и художник Максим дю Камп, прибыли в Стамбул в октябре 1850 года, через семь лет после Нерваля, и задержались здесь почти на пять недель. После отъезда Флобер написал своему другу Луи Буйе[87] из Афин, что в Стамбуле следовало бы остаться по меньшей мере на полгода, но не стоит воспринимать эти слова слишком всерьез: Флобер тосковал по всему, оставшемуся в прошлом. Как легко понять из его писем, помеченных словом «Константинополь», с самого отъезда из Франции он ужасно скучал по своему руанскому дому, своему кабинету и милой матушке, пролившей немало слез при расставании с сыном; больше всего ему хотелось поскорее вернуться домой.

Маршрут Флобера совпал с маршрутом восточного путешествия Нерваля. Из Каира он попал в Иерусалим и далее в Ливан. Подобно Нервалю, он успел устать от сурового, грубого и жутковатого облика этого мистического Востока, который оказался значительно более «восточным», чем представлялось ему ранее, так что Стамбул его не слишком заинтересовал. (Вначале он планировал пробыть здесь три месяца.) Стамбул не был тем Востоком, который хотелось найти Флоберу. В письме, написанном все тому же Буйе из Стамбула, он говорит, что, проезжая по западной Анатолии, вспомнил лорда Байрона, путешествовавшего некогда по этим же местам. «Здесь его Восток, — пишет Флобер, — турецкий Восток, Восток кривых сабель, албанских костюмов и зарешеченных окон, глядящих на синие волны. А мне милее выжженный Восток бедуина и пустыни, золотистые дали Африки, крокодил, верблюд, жираф…»

Двадцатидевятилетний писатель за время своего путешествия уже успел набраться впечатлений на всю оставшуюся жизнь (в особенности его поразил Египет). Из писем Флобера к матери и Буйе видно, что к моменту прибытия в Стамбул он уже думал только о том, чем будет заниматься по возвращении во Францию, и о своих будущих книгах. (В то время он уже, кроме всего прочего, задумал роман «Харель-бей», повествующий о встрече цивилизованного европейца и восточного варвара, о том, как они начинают все больше походить друг на друга и в конце концов

меняются местами.) Письма к матери показывают, что все составляющие знаменитого образа Флобера — отказ придавать серьезное значение чему бы то ни было за исключением искусства, отвращение к буржуазному образу жизни, браку, коммерции — уже были на месте. За сто два года до моего рождения, бродя по тем самым улочкам, на которых пройдет вся моя жизнь, он сформулировал, а после изложил на бумаге мысль, век спустя ставшую основополагающим моральным принципом для всех писателей-модернистов: «Плевать мне на свет, на будущее, на то, что скажут, на какое бы то ни было положение и даже на литературную славу, мечтая о которой я когда-то провел столько бессонных ночей. Вот таков я, такова моя натура» (письмо к матери, 15 декабря 1850, Стамбул).

Почему меня так интересует, что говорили о Стамбуле западные путешественники, что они делали, о чем думали, о чем писали своим матерям? Отчасти потому, что я порой пытаюсь представить себя Нервалем, Флобером, де Амичисом — точно так же, как в детстве, рисуя Стамбул, представлял себя Утрилло; потому, что я создавал свою личность в мысленных беседах и спорах с ними. Другая причина заключается в том, что из книг иностранцев я узнал о внешнем облике своего города и его повседневной жизни в минувшие столетия больше, чем из книг наших писателей, не уделявших Стамбулу ни малейшего внимания.

Назовите это ложным сознанием, фантазией или, как говорили раньше, идеологией, — у каждого из нас в голове есть некий полускрытый, полуявный текст, помогающий нам понять значение всего, что мы делаем в жизни. Свидетельства западных путешественников занимают значительную часть этого текста. Для стамбульца вроде меня, принадлежащего одновременно двум разным культурам, «приезжий с Запада» часто не какой-то реальный человек, а игра моего собственного воображения, моя фантазия, даже иллюзия. Но мой разум не может свести тексты старой, традиционной культуры воедино, и поэтому я ощущаю потребность в иностранце, чужаке, который своим текстом, книгой, картиной, фильмом помог бы мне понять мою жизнь. Если я чувствую, что мне не хватает взгляда со стороны, я становлюсь своим собственным «иностранцем».

Поскольку Турция никогда не была западной колонией, меня не раздражает и не огорчает, что мое прошлое, история моего города были для пишущих о Стамбуле, рисующих его, снимающих о нем фильмы иностранцев всего лишь «экзотическим материалом». Я, в свою очередь, тоже нахожу экзотическими их представления и страхи и читаю их книги чаще всего не для того,

чтобы развлечься, набраться знаний или выяснить, каким в их глазах выглядел Стамбул, а для того, чтобы прикоснуться к их миру, войти в него. Более того, в их книгах и картинах я нахожу и отражение своего мира — они, движимые какими-то своими идеями, мечтами, стремлением расширить влияние своего государства или просто желанием осмотреть земли, лежащие за его границами, пришли сюда, в место, которое я называю своим домом, описали его и зарисовали. И я, в особенности читая записи, знакомясь с размышлениями и умозаключениями тех из них, кто побывал в Стамбуле в XIX веке (просто потому, что они писали более подробно и более понятным мне языком, чем их предшественники), понимаю, что мой город — не совсем «мой». Я с радостью принимаю неуверенность, которую ощущаю, размышляя о месте, где живу, и о своем к нему отношении; благодаря этой неуверенности я могу становиться и объектом, и субъектом западного взгляда. Глядя на силуэт Стамбула из Галаты или Джихангира (где я пишу эти строки), я представлял себя одним из тех западных художников, что любили рисовать город именно отсюда; точно так же, читая написанное о Стамбуле западными писателями, я порой отождествляю себя с ними — вместе мы пытаемся разобраться в подробностях местной жизни, подсчитываем, взвешиваем, раскладываем все по полочкам и выносим суждения, в которых, по большей части, отражаются наши собственные мечты, желания и убеждения. В такие моменты я словно бреду по улицам, погруженный в размышления о городе, мысли мои скользят, меняются местами, сталкиваются друг с другом: я вижу город то изнутри, то извне, но при этом не чувствую себя ни целиком и полностью местным, ни безусловным чужаком. Именно такие отношения установились в последние полтора века между стамбульцами и городом, в котором они живут.

Позвольте мне проиллюстрировать вышеизложенные соображения историей с Флоберовым пенисом — именно эта часть тела волновала его больше всего, пока он пребывал в Стамбуле. На второй день после приезда наш обеспокоенный писатель признается в письме к Луи Буйе, что семь маленьких шанкров, появившихся на его пенисе после того, как он подхватил в Бейруте сифилис, соединились в один большой. «И утром, и вечером я втираю лечебную мазь в свой несчастный орган!» — пишет Флобер из Стамбула. Сначала он думал, что обязан сифилисом одной маронитке[88], «но может быть, это была та маленькая турчанка? Христианка или мусульманка? Вот новый поворот восточного вопроса, о котором „Revue des deux mondes“[89] даже не подозревает!» В те же дни в одном из писем

матери он говорит, что никогда не женится, однако не болезнь заставила его сделать такое заявление.

Несмотря на сифилис, который вскоре привел к такому сильному выпадению волос, что даже мать не сразу узнала сына при встрече, Флобер решил посетить один из галатских борделей. Однако драгоман (гид-переводчик), водивший всех приезжих европейцев по одному и тому же маршруту, доставил его в «ужасно грязное место», где женщины были «настолько уродливы», что ему сразу же захотелось уйти. Впрочем, по словам Флобера, «мадам», хозяйка заведения, тут же предложила гостю из Франции свою дочь шестнадцати-семнадцати лет, довольно-таки, на взгляд писателя, миловидную. Та отказалась, но родственники стали принуждать ее (читатель остается в неведении, чем в это время занимался Флобер) и в конце концов добились своего. Оставшись наедине с Флобером, девушка, желая убедиться, что он не болен, потребовала на итальянском языке, чтобы он показал ей свой орган. «Испугавшись, что она увидит язву, я притворился до глубины души оскорбленным и немедленно покинул бордель», — пишет Флобер.

В Каире, еще в самом начале путешествия, Флобер посетил больницу, где врач одним жестом велел больным сифилисом спустить штаны, чтобы европейский путешественник мог взглянуть на их шанкры. Внимательно их осмотрев, Флобер с удовольствием внес отчет об увиденном в записную книжку — это была для него очередная занимательная странность грязного Востока. (С тем же удовольствием он позже будет подробно описывать размеры и наряд увиденного им в парке дворца Топкапы карлика.) Да, отправляясь на Восток, Флобер желал увидеть чудесные, незабываемой красоты пейзажи — но и посмотреть на чужие слабости и странности, чужие болезни он желал не меньше. При этом он вовсе не хотел, чтобы другие знали о его собственной болезни и обращали внимание на его собственные странности. Эдвард Саид[90] в своей замечательной книге «Востоковедение» (к сожалению, в Стамбуле ее читают в основном националистически настроенные люди — для того чтобы лишний раз убедить себя, что Восток был бы раем на Земле, если бы только пришельцы с Запада все не испортили) с большой проницательностью рассуждая о Нервале и Флобере, отсылает читателя к сцене в каирской больнице, но ничего не говорит о придающем этому сюжету завершенность эпизоду в стамбульском борделе — возможно, потому, что Стамбул никогда не был колонией Запада и вследствие этого не столь Саиду интересен. Националистически настроенные турки, считавшие сифилис порождением другой цивилизации (как, между прочим,

и европейцы, полагавшие, что он распространился по всему миру из Америки), называли его «европейской болезнью». Вот и в первом турецком толковом словаре, составленном Шемсеттином Сами, албанцем по происхождению, через пятьдесят лет после путешествия Флобера, написано, что сифилис — «болезнь, пришедшая к нам из Европы». Флобер же в «Лексиконе прописных истин», словно многие годы спустя отвечая на свой вопрос о том, кто его заразил, пишет, не прибегая уже к шуткам о Востоке и Западе: «Сифилис — все более или менее заражены им».

В письмах из Стамбула Флобер со своей всегдашней откровенностью и искренностью пишет о том, что испытывает интерес ко всему странному, страшному, грязному, и рассказывает о «кладбищенских проститутках», по ночам встречающихся с солдатами на кладбищах, о пустых аистиных гнездах, о ледяном сибирском ветре, дующем с Черного моря, о толпах людей на улицах. Самые проникновенные строки Флобер посвятил стамбульским кладбищам, о которых вообще-то писали решительно все, кроме самих стамбульцев. Кажется, он первым заметил, что надгробия их, подобно постепенно гаснущей памяти об умерших, со временем начинают уходить в землю и исчезают, не оставив следа.

32
Конфликты со старшим братом

С шести до шестнадцати лет я постоянно ссорился с братом. Наши ссоры перерастали в драки, и чем старше мы становились, тем более серьезные побои я от него получал. Брат был гораздо сильнее меня, хотя разница в возрасте между нами была небольшая — полтора года. В то время в стамбульских семьях считалось (а может быть, считается и до сих пор), что ссоры и драки между братьями — явление вполне обычное и, может быть, даже полезное, поэтому никто не пытался нас разнимать. Я воспринимал поражения как следствие моей личной слабости и неудачливости; кроме того, в первые годы наших столкновений часто именно я, не выдержав насмешек, вне себя от гнева первый набрасывался на него с кулаками и поэтому в глубине души полагал, что получал по заслугам, — так что идейных, так сказать, возражений применение насилия у меня не вызывало. Если драка получалась слишком уж ожесточенной, с битьем стекол и стаканов, а я в результате оказывался весь в синяках и ссадинах, мама в конце концов вмешивалась — но отчитывала она нас не за то, что мы подрались, а за то, что мы, опять что-то не поделив, устроили переполох в доме, и теперь соседи снова будут жаловаться на шум.

Когда многие годы спустя в беседе с мамой и братом я завел речь о тех ожесточенных потасовках, они заявили, что ничего подобного не помнят, — это я, как всегда, сочиняю небылицы и придумываю себе яркое мелодраматичное прошлое, чтобы было о чем писать. Они были так искренни в своем негодовании, что я в конце концов согласился с ними, заключив, что я, как всегда, слишком доверился своему воображению. Так что человек, читающий эти страницы, должен иметь в виду, что я склонен к преувеличениям и часто нахожусь в плену своих фантазий, словно несчастный сумасшедший, знающий о том, что болен, но не находящий в себе сил освободиться от навязчивых видений. Однако для художника важна не суть вещей, а их форма, для романиста значение имеет не последовательность событий, а их взаимосвязь, а для мемуариста самое главное — не правдивость воспоминаний о прошлом, а их симметрия.

Думаю, читатель, давно заметивший, как я пытаюсь, говоря о себе, делиться мыслями о Стамбуле, а говоря о Стамбуле — описывать самого себя, уже догадался, что я завел речь об этих жестоких детских драках, готовясь рассказать о чем-то другом.

Собственно говоря, в наших стычках и ссорах не было ничего экстраординарного — детям свойственно разрешать свои конфликты кулаками. До десяти-двенадцати лет мы с братом жили в довольно-таки замкнутом мирке (с другими детьми мы общались только в школе) и проводили время, играя в полутемных комнатах нашего дома в самые разнообразные игры, которые по большей части придумывали сами или перенимали у других детей, изменив правила. Вот неполный список этих игр: «страшилки», прятки, «поймай платок», «змейка», «рыбак-капитан», классики, «адмирал утонул», «назови город», «девять камней», шашки, шахматы, настольный теннис (на специальном детском столике или на большом обеденном столе). Если мамы не было дома, мы мастерили из разных подручных материалов (например из мятых газет) мяч, получавшийся каждый раз разного размера, и носились, гоняя его, по всему дому, до полного изнеможения; часто во время игры вспыхивали ссоры, кончавшиеся дракой.

Многие годы мы с упоением играли в шарики — игру, в которой отражался мужской мир футбола и все связанные с ним ритуалы и легенды. Велась она в полном соответствии со всеми футбольными правилами — мы расставляли своих «игроков» (шарики или фишки от нард), как тренер расставляет футболистов на поле, и продумывали тактику нападения и защиты, припоминая виденные нами настоящие футбольные матчи. С течением времени игра становилась все интереснее, поскольку наши пальцы приобретали сноровку, а тактические схемы становились все изощреннее. Расставив своих «игроков» (у каждого по одиннадцать) на ковре, служившем нам полем, мы, следуя тщательно разработанным правилам, выработанным после сотен драк, пытались забить гол в ворота с сеткой, которые сделал для нас плотник. Каждый шарик носил имя какого-нибудь знаменитого игрока того времени, и мы различали их с первого взгляда, как любящие хозяева различают своих полосатых кошечек. Брат, подражая манере знаменитого радиокомментатора тех лет Халита Кыванча, знакомил воображаемых зрителей со всеми перипетиями матча; если одна из команд забивала, мы, изображая болельщиков этой команды, изо всех сил кричали «гооол!», не забывая озвучивать и гул трибун на заднем плане. Роли представителей футбольной федерации, футболистов, корреспондентов, болельщиков нам удавались замечательно, с ролью судьи дело обстояло похуже. По завершении матча мы, словно чересчур ярые болельщики, запамятовавшие, что футбол — это всего лишь игра, и идущие друг на друга с ножами, забывали, что играем, и принимались изо всех сил мутузить друг

друга. Как правило, больше доставалось мне.

Зависть проигравшего, обидные насмешки выигравшего или обвинение в нарушении правил игры — вот что обычно приводило к дракам, но настоящей их причиной было, конечно, соперничество в более общем смысле. Нас не очень интересовало, кто из нас более честный, скромный, воспитанный мальчик, — суть нашего соперничества заключалась в стремлении доказать свое превосходство в ловкости, силе, знаниях, сообразительности, оно было окрашено беспокойным стремлением как можно скорее выучить правила игры (и, шире, правила жизни), стремлением получить власть над соперником благодаря своему уму и способностям. В этом соперничестве уже было нечто от царящего во взрослом мире культа превосходства, к восприятию которого нас исподволь готовили вечные дядины арифметические задачи и ребусы, полушутливые, полусерьезные перебранки на футбольные темы между обитателями разных этажей (каждый этаж болел за свою команду), школьные учебники, взахлеб рассказывающие о военных победах Османской империи, и книги, которые нам дарили родственники (например, «Энциклопедия открытий и изобретений»).

Подогревала наше соперничество и мамина манера то и дело устраивать своего рода соревнования — так ей легче было с нами управляться. «Кто быстрее наденет пижаму и ляжет в постель, тому поцелуй», — бывало, говорила она. «Тому, кто за всю зиму ни разу не простудится и не заболеет, я куплю подарок». «Кто первый доест обед и ничего не прольет себе на рубашку, того я буду больше любить». Впрочем, на эти маленькие провокации мама шла только ради того, чтобы ее сыновья стали послушнее и спокойнее.

А между тем за нашими с братом бесконечными ссорами стояло упорное стремление быть лучше соперника, превосходить его во всем, побеждать, как наши любимые герои комиксов. Зачем нам это было нужно? Затем же, зачем я все время тянул руку на уроках, стараясь показать, что все знаю, что я лучший ученик, что между мной и этими идиотами, моими одноклассниками, нет ничего общего. Затем, чтобы оградить себя — по крайней мере, думать, что оградил, — от неизбежной стамбульской печали. Немного повзрослев, каждый стамбулец начинает ощущать, что ему не уйти от судьбы, и в конце концов привыкает воспринимать печаль как скромное, маленькое почти счастье.

Брат всегда учился лучше меня. Он знал наизусть адреса и телефонные номера всех наших знакомых, запоминал с первого раза цифры и математические формулы. Если мы вместе с ним шли по улице, я глазел на витрины магазинов, на небо, на все,

что только ни привлекало мое внимание, а он смотрел на номера и названия домов. Он обожал перечислять футбольные правила, результаты матчей, столицы государств мира, марки автомобилей — с тем же удовольствием сегодня, сорок лет спустя, он перечисляет недостатки своих конкурентов-ученых, не забывая указать, какое скромное место их труды занимают в индексе цитируемости. Несомненно, моя любовь к рисованию, ощущаемая мною время от времени потребность остаться наедине с бумагой и карандашами объяснялась отчасти и тем, что брат не проявлял к подобным занятиям ни малейшего интереса.

Однако если после нескольких часов рисования мне не удавалось обрести искомого счастья и в мою душу начинала проникать, превращаясь в печаль, темнота, скопившаяся за тяжелыми шторами окон нашего дома, я, как любой стамбулец, начинал мечтать о какой-нибудь легкой и быстрой победе — хотя бы в игре. Тогда я шел к брату и пытался уговорить его еще разок сыграть в игру, занимавшую нас в тот момент больше всего, будь то «футбольный матч» с шариками, шахматы или какая-нибудь игра на сообразительность.

«Мало тебе, опять напрашиваешься?» — интересовался брат, поднимая глаза от книжки. При этом он имел в виду не столько драку, которой закончилась предыдущая игра, сколько то, что я чаще всего проигрывал. «Побежденный борец снова в схватку норовит! Позанимаюсь еще часок, а там посмотрим», — с этими словами брат возвращался к своей книге.

На его письменном столе всегда царил идеальный порядок, а на моем — кавардак, напоминающий сцену после землетрясения.

Если вначале ссоры и драки были своего рода игрой, учившей нас постижению правил жизни, то по мере того как мы взрослели и горечь побоев и поражений все глубже проникала в мою душу, я начинал ощущать, что теперь правила жизни играют нами. Раньше мы были двумя маленькими братишками, жившими под присмотром заботливой и всегда готовой давать наставления мамы, пытающейся заполнить пустоту, вызванную постоянным отсутствием отца, и думающей, что если она будет вести себя так, будто этой пустоты не существует, ей удастся не впустить в дом окутавшую город печаль; теперь же мы превращались в упрямых подростков, и каждый из нас был полон решимости строить свой собственный мир. Тщательно разработанная система правил, сложившаяся в детские годы и позволявшая нам худо-бедно избегать ссор (кто где сидит за обеденным столом, какая часть шкафа чья, кому какая книга принадлежит, в какой очередности и по сколько времени каждый из нас едет на переднем сиденье машины рядом с отцом, кто должен закрывать дверь в спальню,

кто и в каких случаях должен выключать свет на кухне, кто первый читает «Исторический журнал»), стала давать сбои и превращаться в повод для новых конфликтов. Обидные замечания, насмешки, угрозы — «не трогай, это мое», «смотри, хуже будет» — только усиливали накопившееся раздражение, и пустячные споры кончались ожесточенными схватками с выкручиванием рук. Чтобы защититься, я хватал что попадалось под руку — разделочную доску, печные щипцы, ручку от швабры — и размахивал этим предметом, как мечом.

Еще хуже было вот что: если раньше наша гордость страдала из-за поражений в играх, в которых мы только пытались подражать реальной жизни (изображая, например, футбол с помощью шариков), то теперь именно в реальной жизни мы находили поводы для обид и столкновений. Мы очень хорошо знали слабые места друг друга и без зазрения совести этим пользовались. Наши драки теперь начинались не под влиянием мгновенной вспышки гнева — нападение готовилось и безжалостно обдумывалось заранее.

Однажды, когда мне удалось всерьез уязвить брата, он процедил сквозь зубы: «Подожди, вот уйдут родители вечером в кино — я с тобой разделаюсь!» Как ни умолял я за ужином папу с мамой не ходить в кино, как ни расписывал им угрозы брата, они все-таки ушли и оставили нас наедине — так миротворческие силы уходят из района вооруженного столкновения в уверенности, что им удалось примирить враждующие стороны.

Порой, когда мы, оставшись одни дома, устраивали одну из своих бесчисленных потасовок и успевали как следует войти в раж, раздавался звонок в дверь, и мы, словно супруги, застигнутые соседями в разгар семейной склоки, в ту же секунду приходили в себя и, приведя одежду в порядок, шли открывать нежданному гостю, вежливо приглашали его войти, говорили «присаживайтесь, пожалуйста» и, весело переглядываясь, сообщали ему, что мама скоро должна прийти; однако позже, оставшись одни, мы не продолжали прерванную ссору, как поступили бы сварливые супруги, а тихо-мирно возвращались к своим делам, как будто ничего и не было.

Иногда, получив особенно сильную взбучку, я оставался валяться на ковре, плача, как ребенок, воображающий собственные похороны, пока наконец не засыпал прямо на полу. Брат был, в сущности, человеком не менее добросердечным, чем я; позанимавшись некоторое время за своим столом, он начинал меня жалеть, будил и начинал уговаривать переодеться и лечь в постель. Я вставал, но валился в постель, так и не раздевшись, и засыпал, упиваясь печалью и жалостью к самому себе.

Печаль и унижение, на которые я «напрашивался» и которых в конце концов «добивался», удивительным образом освобождали меня от необходимости заучивать заданные на дом правила, решать математические задачи, вчитываться в статьи Карловицкого договора[91] и вообще обращать внимание на трудности жизни — теперь мне уже было все равно. Побитый и униженный, я чувствовал себя свободным. Иногда мне хотелось оказаться избитым именно для того, чтобы обрести свободу, чтобы мне стало все равно. Брат чувствовал это, когда говорил, что я «напрашиваюсь». Порой мне хотелось избить его именно за это и еще за то, что он умнее и сильнее меня, но побитым неизменно оказывался я сам.

После каждой взбучки меня охватывало мрачное уныние. Я чувствовал себя виноватым, упрекал себя за слабость, беспомощность, лень. «В чем дело?» — спрашивал меня внутренний голос, и я отвечал: «Плохо мне. Я плохой». И этот ответ внезапно открывал передо мной совершенно новый прекрасный мир свободы. Если я безоглядно соглашался быть плохим, это значило, что я могу рисовать, когда захочу, не учить уроки, спать в одежде. С другой стороны, я чувствовал странное удовлетворение, оказавшись избитым и униженным — пусть весь я был в синяках, пусть губы мои были разбиты и нос кровоточил, пусть гордость моя была уязвлена тем, что оказался слаб и ничего не смог противопоставить грубой силе соперника. Быть может именно в один из таких моментов, предаваясь красочным фантазиям, я был околдован мечтой совершить однажды что-нибудь великое. Мир воображения, даривший мне радость и счастье, становился только ярче и заманчивее после выплеска эмоций в проигранной драке. В такие моменты я инстинктивно ощущал, что во мне живет печаль моего города; и если с этой печалью в сердце я брался за бумагу и карандаши, то рисовал с еще большим увлечением, чем обычно, и по мере того как игра воображения заставляла меня забывать реальный мир, печаль потихоньку становилась все светлее и светлее.

33
Чужая школа

Если учесть год, проведенный мною на подготовительных курсах английского языка, я проучился в Роберт-колледже четыре года. В эти годы кончилось мое детство — я понял, что мир гораздо сложнее, чем я полагал ранее, и ужасающе безграничен. В детстве я не знал ничего, кроме семьи, дома, своей улицы и своего квартала, казавшегося мне центром вселенной. В начальной и средней школе я только еще больше укрепился в мысли, что географический центр моей жизни является в то же время образцом для всего остального мира. Теперь же, в лицее, я начал осознавать, что живу вовсе не в центре мира и, что еще горше, место, где я живу, никак нельзя назвать идеальным. Осознав незначительность своего места в мире, неполноту своих знаний и уязвимость убеждений, обнаружив, какой этот мир огромный и сложный (мне нравилось заходить в лицейскую библиотеку, основанную нашими далекими от религии американскими преподавателями, бродить по напоминающим лабиринт проходам между стеллажами, вдыхать аромат старой бумаги и рыться в книгах), я впервые испытал сильнейшее чувство одиночества и бессилия.

Одиноким я чувствовал себя еще и потому, что рядом со мной больше не было брата — когда мне было шестнадцать, он уехал в Америку учиться в Йельском университете. Пусть между нами то и дело вспыхивали конфликты — все же мы были очень близки, и его мнениям и суждениям я придавал даже большее значение, чем маминым и папиным. Я не очень расстраивался из-за того, что остался один — по крайней мере, теперь я был избавлен от постоянного соперничества, унижений и побоев, столь способствовавших развитию моего воображения и дававших мне право ничего не делать. И все-таки я скучал по нему, особенно когда меня настигала печаль.

Все мои трудности, казалось мне, — из-за того, что моя душа потеряла некую точку опоры. Вот только где она была, эта точка опоры? Как бы то ни было, теперь я не мог заставить себя заниматься уроками — да и многим другим — с прежней увлеченностью. Иногда мне было обидно, что теперь у меня уже не получается, как раньше, без особых усилий быть первым учеником в классе, но, похоже, я потерял способность сильно огорчаться или сильно радоваться из-за чего бы то ни было. В детстве я думал, что счастлив, а жизнь казалась мне мягкой, как

бархат, веселой и увлекательной, почти сказочной историей. В тринадцать-четырнадцать лет я начал ощущать, что очарование этой сказки блекнет, а сюжет ее разваливается на куски. Иногда я изо всех сил пытался поверить в истинность каждого из этих фрагментов, и на некоторое время у меня получалось, — но потом ко мне возвращалась прежняя растерянность. Точно так же в начале каждого учебного года я давал себе обещание снова стать первым учеником и не выполнял его. Порой я чувствовал, что мир отдаляется от меня — именно тогда, когда я всем своим сознанием, всеми нервными окончаниями открывался ему навстречу.

Среди всей этой растерянности лишь сексуальные фантазии напоминали мне о существовании другого мира, в котором я могу укрыться. Секс появился в моем сознании не как нечто, объединяющее двух людей, а как грезы одиночки. Когда я научился читать, в моей голове появилась озвучивающая буквы машинка, теперь же я обзавелся машинкой другого рода — с поразительной бесцеремонностью она при любом удобном случае начинала создавать самую что ни на есть подробную сексуальную фантазию. Для этой машинки не было ничего святого — в ее жернова попадали все мои знакомые, все девушки с фотографий в газетах и журналах. Почувствовав, что фантазия достигла уже нестерпимой яркости, я запирался в своей комнате.

Позже, охваченный раскаянием, я вспоминал один разговор, состоявшийся еще в средней школе между мной и двумя моими одноклассниками, один из которых страдал лишним весом, а другой заикался. «Ты когда-нибудь делал это?» — запинаясь, спросил меня заика. Да, я начал делать это еще в средней школе, но вопрос так меня смутил, что мое неразборчивое бормотание в ответ можно было расценить и как «нет», и как «да». «Ни за что не делай! — прошептал заика, раскрасневшись от волнения при мысли о том, что такой умный, послушный и прилежный мальчик, как я, может пасть так низко. — Онанизм — ужасная привычка, один раз попробовал — уже не остановишься!» Тут я поймал полный тоски взгляд своего толстого приятеля — выражение его лица ясно говорило о том, что он тоже пристрастился к этому постыдному занятию как к наркотику и теперь уверен, что жизнь его погублена, но уже покорился этой ужасной неизбежности и смирился с ней, как смирился со своим ожирением.

Вспоминая те годы, я думаю и о другой привычке, обременявшей меня тем же чувством вины и одиночества; не избавился я от нее и позже, поступив на архитектурный факультет Технического университета. Собственно говоря,

привычка прогуливать занятия — а я говорю именно о ней — появилась у меня еще в начальной школе.

Тогда, в начальных классах, я прогуливал уроки потому, что мне было скучно в школе, потому, что стеснялся каких-то своих недостатков, которых никто, кроме меня самого, не замечал, или же потому, что в этот день нам должны были делать прививки. Причины прогулов могли и не иметь отношения собственно к школе: иногда я не хотел идти на уроки из-за того, что опять поссорились родители, или из-за того, что отвык от школы, пока болел (в это время все ласкали меня и баловали), или просто-напросто из-за своей лени и безответственности. Предлогами увильнуть от занятий могли стать невыученное стихотворение, желание избежать встречи с невзлюбившим меня хулиганом-одноклассником (в средней школе), печаль, тоска или «экзистенциальный кризис» (в лицее и университете). Я мог порой позволить себе не ходить в школу, потому что был домашним любимцем. Когда брат уходил и я оставался наедине с мамой, я мог спокойно заниматься своими любимыми делами; кроме того, я давно уже понял, что учиться так же хорошо, как брат, все равно никогда не смогу. Но за всеми этими причинами скрывалась другая, главная, каким-то образом связанная с моей печалью.

После того как деньги, оставленные дедушкой, подошли к концу, папа подыскал себе работу в Женеве, куда и уехал вместе с мамой. Той зимой (мне было восемь лет), оставшись на попечении чересчур добросердечной бабушки, я и начал прогуливать занятия. Происходило это так: когда утром, как всегда, в дверь звонил швейцар Исмаил-эфенди, отводивший нас в школу, и брат с портфелем в руке уже готов был выйти на улицу, я придумывал какой-нибудь предлог для задержки: не успел собрать портфель, забыл взять с собой что-то важное (кстати, может быть, бабушка даст мне немного денег?) и вообще — у меня болит живот, не успели высохнуть ботинки и рубашка грязная, нужно надеть другую. Брат терпеть не мог опаздывать; прекрасно понимая, чего я добиваюсь, он говорил: «Пошли, Исмаил. Потом вернешься и отведешь Орхана».

До нашей школы идти было минуты четыре, так что когда Исмаил-эфенди возвращался за мной, первый урок уже должен был вот-вот начаться. Я снова принимался тянуть время, винил кого-нибудь в том, что не готов к занятиям, или притворялся, будто у меня так болит живот, что не я слышу, как швейцар звонит в дверь. От волнения за исход проделки и еще из-за отвратительного, горячего и вонючего кипяченого молока, которым меня поили каждое утро, у меня и в самом деле

начинало немного ныть в животе. Наконец мягкосердечная бабушка сдавалась.

«Ладно, Исмаил, — говорила она, — уже поздно, звонок давно прозвенел, пусть уж он останется сегодня дома». Потом, нахмурившись, она обращалась ко мне: «Но смотри, завтра ты точно пойдешь в школу, слышишь? Если не пойдешь, я вызову полицию. И напишу родителям, как ты себя ведешь!»

Позже, в лицее, отлынивать от занятий стало гораздо проще, потому что никто уже за мной не следил. Я уходил из дома и бродил по улицам. Поскольку чувство вины придавало цену каждому моему шагу, да и все равно у этих прогулок не было никакой другой цели, кроме как убить время, которое мне следовало бы провести в лицее, я обращал внимание на такие вещи, которые может заметить только настоящий бездельник и бродяга, околачивающийся на улице без всякой конкретной цели. Широкополая шляпа на голове встречной женщины; нищий на углу — я проходил мимо него каждый день, но раньше не замечал ожога на его лице; парикмахеры, почитывающие газету в ожидании клиентов; лицо девушки с рекламного плаката; внутренний механизм похожих на копилку часов на площади Таксим — я ни за что не увидел бы, как он выглядит, если бы не прогулял лицей и не оказался рядом с часами как раз тогда, когда их чинили; мастерские по ремонту ключей и мебели на боковых улочках Бейоглу, бакалейные лавки и пустые закусочные; старьевщики и торговцы марками, музыкальные и букинистические магазины, лавки, торгующие печатями, и лавки, торгующие печатными машинками, — все это было таким подлинным, замечательным и интересным, что хотелось потрогать рукой. Раньше, например в детстве, проходя по этим улицам с мамой, или позже, гуляя здесь с друзьями, я никогда не испытывал таких ярких ощущений. Вокруг бродили уличные торговцы, предлагавшие бублики, жареных мидий и каштаны, плов, приготовленные на рашпере котлеты, хлеб из рыбной муки, курабье, айран и шербет, — я покупал что душе моей было угодно. Иногда я останавливался на углу и, потягивая газировку из бутылки, наблюдал за мальчишками, играющими в футбол на мостовой (интересно, они тоже прогуливают школу или совсем в нее не ходят?), потом сворачивал в неведомый мне переулок, гадая, куда он меня приведет. В такие моменты меня охватывала необъяснимая радость. Но бывало и так, что я бродил, то и дело поглядывая на часы, и размышлял, что делается сейчас в лицее, мучимый раскаянием и печалью.

Прогуливая школу, я исходил вдоль и поперек улочки Бебека и Ортакёя, излазил холмы Румелихисары, изучил пароходные

пристани Румелихисары, Эмиргана и Истинье, расположенные рядом с ними закусочные для рыбаков и лодочные станции, исследовал места, куда можно было добраться, если сесть на один из останавливающихся у этих пристаней пароходов, поездил по Босфору, побывал в прибрежных деревушках, где рядом со своими счастливыми кошками дремлют у окошек пожилые тетушки и где можно еще было в те годы увидеть старые греческие дома с открытыми с самого утра дверями.

Прогуляв занятия в очередной раз, я снова и снова принимал решение вернуться на путь истинный: лучше учиться, чаще рисовать, поехать в Америку изучать живопись, не огорчать наших карикатурно-доброжелательных американских учителей и не раздражать вялых, потерявших всякий интерес к жизни и оттого ужасно меня самого раздражавших учителей-турок, не совершать больше таких поступков, за которые меня могли бы выгнать из класса. Вскоре чувство вины превратило меня в фанатичного идеалиста. Я сурово осуждал учителей и вообще взрослых за лень, лживость, двуличие и изворотливость. В те годы самыми ужасными грехами взрослых в моих глазах были нечестность и неискренность. Буквально все во взрослых — манера осведомляться о здоровье друг друга, привычка помыкать учениками, поведение в магазине или на рынке, рассуждения о политике — говорило мне об их двуличии, и мне казалось, что «жизненный опыт», которого, по их словам, мне «не хватает», есть не что иное, как приобретаемая с возрастом способность с необычайной легкостью лгать и лицемерить, а потом притворяться невинной овечкой. Не поймите меня неправильно: я тоже обманывал и лицемерил не меньше других, но после меня мучило такое горькое раскаяние, такой отчаянный страх попасться на лжи, что на некоторое время я начисто лишался душевного равновесия. За свое двуличие я расплачивался сполна и после обещал себе больше не лгать и не лицемерить — не потому, что я был такой совестливый, и не потому, что считал ложь и лицемерие отвратительными вещами, а потому, что не хотел снова пережить мучительное душевное потрясение.

И ведь мучался я — все чаще и сильнее — не только после того, как мне случалось соврать или проявить, подобно взрослым, двуличность, — нет, приступ душевной боли мог настичь меня в любой момент: когда, например, я валял дурака, перешучиваясь с приятелями, или стоял один в очереди к билетной кассе кинотеатра в Бейоглу, или брал за руку симпатичную девушку, с которой только что познакомился. Внезапно откуда-то из глубин моего «я» возникал некий таинственный глаз, удалялся на некоторое расстояние и, зависнув в воздухе, принимался с

холодным вниманием кинокамеры наблюдать за всем, что я делаю (передаю билетерше деньги или напряженно раздумываю, что бы такого сказать симпатичной девушке, раз уж я взял ее за руку) и говорю (банальные, лицемерные, тупые слова: «„Из России с любовью“, один билет, пожалуйста», «Ты в первый раз на такой вечеринке?»). Я чувствовал себя одновременно и актером, и режиссером какого-то глупого фильма, продолжал жить своей жизнью и в то же время с презрительной усмешкой смотрел на эту жизнь со стороны. В такие моменты я был в состоянии продолжать вести себя «нормально» лишь несколько секунд, потом меня захлестывали волны стыда и страха — все вокруг меня становилось чужим, и я боялся остаться чужаком навсегда. Душа сжималась, словно мятый листок бумаги, сворачивалась в кокон, и меня начинало буквально трясти.

Единственное, что я мог сделать в такой ситуации, — уйти в какую-нибудь пустую комнату и запереть за собой дверь. Только тогда мне становилось полегче. Сидя в одиночестве, я снова и снова вспоминал момент, вызвавший такую боль в моей душе, порой повторяя те вполне обычные слова, что заставили меня корчиться от стыда. Потом брал в руки карандаш и бумагу, начинал писать что-нибудь или рисовать и, если получившийся рисунок мне нравился, то вскоре уже чувствовал, что снова становлюсь «нормальным» и могу вернуться к людям.

Иногда я вдруг ощущал себя насквозь пропитанным фальшью, даже если в моих самых обычных действиях не было и следа лицемерия. Обычно это случалось, когда я вдруг замечал свое отражение — в витрине магазина или в оконном стекле торгующей гамбургерами закусочной (в то время они только начали появляться в Бейоглу), или в зеркале в фойе кинотеатра. В кино я ходил обычно субботними вечерами; посмотрев фильм, выходил из зала и шел в буфет, чтобы съесть сандвич с сосиской и выпить айрана, — и вот тут, сидя в буфете, я вдруг замечал напротив свое отражение в зеркале. Таким отвратительно реальным и невыносимо грубым казалось оно мне, что не хотелось жить; и все же с каким-то жадным мазохизмом я продолжал смотреть на него, уминая сандвич. Вскоре я понимал, на кого похож — на великана с картины Гойи, великана, поедающего своего сына. Отражение напоминало мне о моих проступках и грехах, о том, какой я отвратительный, грязный тип — и не только потому, что в те годы такие же огромные зеркала в рамах висели в каждом доме свиданий на боковых улочках Бейоглу. Всё вокруг — голая лампочка над моей головой, грязные блеклые стены, стойка, у которой я сидел, — было таким запущенным, будничным, некрасивым! И мне казалось, что жизнь

не сулит мне ни счастья, ни радости, ни успеха, — нет, передо мной лежал лишь длинный, скучный, лишенный каких бы то ни было запоминающихся моментов промежуток времени, и делать с этим временем было совершенно нечего, только убивать его. Чем я, собственно говоря, и занимался.

Настоящая, прекрасная, исполненная смысла жизнь, виденная мною только что в голливудском фильме, была привилегией счастливых обитателей Америки и Европы; все остальные, в том числе и я, были обречены на скучное, бессмысленное и мало кому интересное существование среди безликой разрухи, ветхости и запустения. Постепенно я привыкал к мысли, что меня ждет именно такая второсортная жизнь. Жить по-западному в Стамбуле могли лишь очень богатые люди, — а все они казались мне невыносимо лживыми и бездушными. Поэтому я все больше влюблялся в печаль узких бедных улочек и переулков. Пятничными и субботними вечерами я бродил по ним в полном одиночестве, а потом шел в кино.

Бродил в одиночестве, рисовал в одиночестве и ни с кем не обсуждал прочитанные книги; но были у меня и приятели — не самая лучшая компания, и все-таки я проводил с ними немало времени. Это были сынки богатых фабрикантов, текстильных магнатов и владельцев шахт. В колледж они приезжали на папиных «мерседесах», а вечером, проезжая по проспектам Бебека или Шишли, притормаживали перед каждой симпатичной девушкой и приглашали ее прокатиться. Если им удавалось, как они говорили, «подцепить» девушку и та садилась в машину, они уже начинали воображать, что их ждут небывалые сексуальные приключения. Все они были старше меня, но умственные их способности оставляли желать лучшего, если не сказать больше. Выходные они проводили, разъезжая по Мачке, Нишанташи, Таксиму и Харбийе в надежде подцепить девушку своего круга — из тех, что учатся в привилегированных иностранных лицеях, зимой ездят на Улудаг[92] кататься на лыжах, а летом развлекаются на пляжах Суадийе и Эренкёя. Иногда я выезжал «на охоту» вместе с ними, и меня всегда удивляло, как некоторые девушки могли с первого взгляда определить, что мы — такие же, в сущности, безобидные дети, как они сами, и в нашу машину можно садиться безбоязненно. Помню, однажды к нам в машину уселись две девушки — с таким видом, будто это самое обычное дело — забираться в роскошный автомобиль к совершенно незнакомым людям. Мы немного поболтали, потом зашли в клуб, выпили лимонада и кока-колы и благополучно разошлись, чтобы никогда больше не встретиться. Жила вся эта компания, как и я, в Нишанташи, и мы не только вместе охотились на девочек, но и

играли, скажем, в покер. Были у меня и другие приятели — с ними я порой встречался, чтобы сыграть в пинг-понг или шахматы и поговорить о живописи и вообще об искусстве, но с теми, другими, я никогда их не знакомил.

С каждым из моих приятелей я вел себя по-разному, для каждого был другим человеком: менялись мое чувство юмора, голос, даже моральные убеждения. Но это хамелеонство не было обдуманным заранее, коварным и циничным притворством — как правило, мои личины возникали сами по себе, стоило мне увлечься разговором. С необычайной легкостью я становился хорошим, общаясь с хорошим человеком, дурным — общаясь с дурным и чудаком — общаясь с чудаком. Однако, думается мне, именно благодаря этой особенности мне удалось не превратиться после двадцати в презрительно-насмешливого циника, как это случилось с некоторыми моими знакомыми. Если уж я во что-то верил, то верил по-настоящему, всей душой.

Это, впрочем, не мешало мне порой часами валять дурака, отпускать веселые шутки, высмеивать все и вся. Как правило, меня разбирало в колледже, во время особенно скучных уроков. Одноклассники с гораздо большим интересом прислушивались к моему шепоту (замечательно разносившемуся по всему классу), чем к бормотанию учителя, и это наполняло меня радостью — значит, хорошо получается! Обычно мишенью моих насмешек становились унылые, скучные учителя-турки. По некоторым из них было заметно, что они чувствуют себя не в своей тарелке, преподавая в учебном заведении, принадлежащем иностранцам, и подозревают, что кое-кто из учеников «шпионит» за ними и доносит на них американцам; другие то и дело принимались с суровым видом вещать о турецких национальных ценностях и патриотизме. Они были старше, чем американские преподаватели, и казались по сравнению с ними ужасно усталыми, равнодушными и апатичными. Мы чувствовали, что они нас не любят, как не любят уже и самих себя, и вообще жизнь. В отличие от доброжелательных и дружелюбных американцев они в первую очередь стремились заставить учеников выучить наизусть содержание учебника, а тех, кто этого не делал, — наказать. Мы этих старых педантов терпеть не могли.

Учителя-американцы, преимущественно люди молодые (как правило, родившиеся в 1940-е годы), считали своих учеников значительно более наивными и добросердечными, чем мы были на самом деле. Сами они были по-настоящему наивными и добросердечными и так жаждали познакомить нас с достижениями западной цивилизации, что в своем образовательном рвении доходили порой чуть ли не до

религиозного экстаза. Глядя на них, мы не знали, что делать — то ли плакать, то ли смеяться. Некоторые из американцев приехали в Турцию, думая, что будут просвещать здесь невежественных детей третьего мира. В большинстве своем они придерживались левых идей, заставляли нас читать Брехта, объясняли Шекспира с марксистских позиций и, разбирая литературные произведения, пытались доказать, что источник всех бед — «плохое» общество, сбивающее с пути истинно «хорошего» по природе своей человека. Один американец, учитель литературы, объясняя нам, как общество отвергает людей, не желающих подчиняться его правилам, то и дело повторял: «You are pushed»[93]. Шутники из класса время от времени отвечали ему: «Yes, sir, you are pushed»[94]. Бедный учитель и не подозревал, что последнее слово этой фразы звучит точь-в-точь как одно турецкое слово, означающее «педик». Мы давились от смеха, но в тайном этом оскорблении было не только желание подшутить над этим конкретным учителем — многие ученики втайне испытывали сильное раздражение по отношению к американским преподавателям вообще, и сейчас оно прорывалось наружу. Этот тихий антиамериканизм, столь созвучный как левацким, так и националистическим настроениям тех лет, доставлял немало душевных терзаний некоторым моим одноклассникам — детям из бедных провинциальных семей. По-настоящему талантливые и трудолюбивые ученики, они сдавали сложнейшие экзамены, чтобы попасть в привилегированный американский лицей. С одной стороны, их влекла американская культура и идеи свободы, им очень хотелось уехать учиться в какой-нибудь американский университет и, может быть, остаться жить в США; с другой — война во Вьетнаме вызывала у них гнев, который порой не удавалось сдержать. У моих приятелей, детей из богатых или просто состоятельных стамбульских семей, подобного внутреннего конфликта не возникало: они рассматривали учебу в Роберт-колледже просто как первую ступень лестницы, которая неизбежно должна была привести их к высоким постам в крупных турецких компаниях или в представительствах компаний западных.

У меня не было ясного представления о своем будущем, но если меня спрашивали, чем я собираюсь заниматься, я говорил, что думаю остаться в Стамбуле и изучать архитектуру. Эта идея уже довольно давно была единодушно одобрена всеми моими родственниками. Поскольку у меня были способности к точным наукам, как у дедушки, папы и дяди, я должен был учиться инженерному делу в Стамбульском Техническом университете; но раз уж я так увлекался рисованием, то было бы вполне разумно

поступить на архитектурный факультет того же самого университета. Не помню, кому первому пришло в голову это простое и логичное суждение, но к тому времени, когда я перешел в лицей, я ни о чем другом уже и не думал, все было решено. Мне никогда и в голову не приходило уехать из Стамбула, — не потому, чтобы я был так уж влюблен в родные места, а потому, что мне ужасно не хотелось отказываться от своих привычек, покидать обжитой дом, квартал, город. Уже тогда становилось понятно, что я — из тех людей, которые могут чуть ли не сто лет подряд спокойно одеваться в один и тот же костюм и есть на обед одно и то же, — главное, чтобы у них была возможность предаваться своим необузданным фантазиям.

О смысле жизни и моем будущем мы часто беседовали с папой во время наших воскресных утренних автомобильных поездок. Он в те годы занимал высокий пост в «Айгазе», крупнейшей газовой компании Турции, поэтому время от времени ему нужно было проинспектировать, скажем, строительство какого-нибудь газохранилища в Бююкчекмедже или Амбарлы; иногда он говорил, что нужно навестить бабушку или съездить что-нибудь купить, или просто предлагал прокатиться по Босфору — так или иначе, он усаживал меня в свою машину («форд таунус» 1966 года выпуска), включал радио, и мы отправлялись в путь.

Мы катили по пустым стамбульским проспектам (в конце 1960-х — начале 1970-х в воскресенье утром машины на дорогах встречались крайне редко), слушали «легкую западную музыку» («Битлз», Сильви Вартан или Тома Джонса), и папа говорил мне, что самое лучшее — это жить так, как тебе подсказывает твое собственное сердце, что деньги сами по себе — не источник счастья, а лишь один из способов его достижения, или рассказывал, как когда-то, уехав от нас в Париж, писал стихи и переводил на турецкий Валери, сидя в номере отеля. «Но несколько лет спустя, — весело добавлял он, — чемодан, где лежали эти стихи и переводы, украли у меня в Америке, так что где они теперь — неизвестно». За окнами машины одна улица сменялась другой, разговор перескакивал с темы на тему, в такт то замедляющейся, то вновь набирающей темп музыке, и я понимал, что все папины рассказы — о том, как в 1950-е годы ему часто случалось видеть на парижских улицах Жана Поля Сартра, как был построен Дом семейства Памук, как обанкротилось его первое предприятие — навсегда останутся в моей памяти. Время от времени папа прерывался, чтобы обратить мое внимание на замечательный вид или на проходящую по тротуару красивую женщину, и снова начинал рассказывать о чем-нибудь интересном

или, как бы между делом, совсем не поучительным тоном, давал мне наставления. Я внимательно слушал его, глядя на картины стамбульской жизни, окрашенные в цвет свинцово-мрачного зимнего утра: на машины, едущие по Галатскому мосту, на ветхие деревянные дома окраинных кварталов, на узкие улочки и идущих на футбольный матч болельщиков, на ползущий по Босфору буксир, тянущий груженные углем баржи, — и чувствовал, как проплывающие перед моими глазами образы сливаются со словами отца — например, о том, как важно прислушиваться к своей душе и заниматься тем, что тебе на самом деле интересно; о том, что жизнь, в сущности, очень коротка, и очень хорошо, если человек знает, чего он от нее хочет; и о том, что жизнь человека может приобрести настоящую глубину и смысл, только если он пишет или рисует. Через некоторое время музыка, стамбульские пейзажи за окном машины, атмосфера узкой, мощенной брусчаткой улочки («Свернем сюда?» — улыбнувшись, спрашивал папа) сливались в моей голове в единое целое, и я начинал понимать, что ответов на главные вопросы жизни нам не найти, но это не так уж и важно — все равно их нужно задавать; что мы никогда не сможем выяснить, в чем заключается смысл жизни и где спрятано счастье, — может быть, потому, что и не хотим этого знать; и еще — что пейзажи, наблюдаемые нами из окна дома, машины, с борта корабля, имеют не меньшую важность, чем все эти мучительные вопросы, — потому что волнения жизни, подобно переливам мелодии и перипетиям захватывающей истории, рано или поздно подойдут к концу, а проплывающие перед нашими глазами образы города навсегда останутся с нами в наших мечтах и воспоминаниях.

34
Быть несчастным — значит ненавидеть себя и свой город

Иногда город вдруг странным образом изменяется. Улицы, где ты чувствовал себя как дома, внезапно меняют цвет. Ты смотришь на загадочные толпы снующих вокруг людей и понимаешь, что они вот так бессмысленно бродят здесь уже несколько столетий. Парки превращаются в грязные, унылые пустыри, площади, утыканные фонарными столбами и рекламными щитами, кажутся отвратительно пошлыми, и весь город — и твоя душа вместе с ним — становится пустым, невыносимо пустым. Мерзкая грязь переулков, вонь из открытых мусорных баков, вечные эти ухабы, колдобины и выбоины, беспорядочная суматоха и толкотня, без которой Стамбул не был бы Стамбулом, — все это говорит мне не столько о недостатках города, сколько об убожестве моей собственной жизни, моей души. Словно этот город — справедливое наказание мне, загрязняющему его существу. Густая тоска переливается из города в меня и обратно, и я чувствую, что оба мы обречены. «Ты, как и твой Стамбул, — шепчут мне улицы, — живой мертвец, дышащий труп, развалина, у которой и в настоящем, и в будущем нет ничего, кроме уныния и грязи». Даже если мне удается в такие моменты бросить взгляд на Босфор, виднеющийся в просветах между новыми бетонными домами, давящими меня всей своей тяжестью, в моем сердце не оживает надежда. Как опытный стамбулец чувствует приближение осенней бури по запаху моря и водорослей, тихонько пробравшемуся в город и зависшему в вечернем воздухе, так и я чувствую, что где-то там, на далеких невидимых улицах угрожающе клубится еще более жестокая, убийственная тоска, и мне, подобно человеку, стремящемуся укрыться за крепкими стенами от землетрясения, бури, смерти, хочется поскорее вернуться домой.

Но в тот самый момент, когда я чувствую приближение тоски и несчастья, мой милый полутемный дом словно бы отдаляется от меня, а грязные, унылые, бестолковые улицы начинают вдруг походить одна на другую; и навстречу мне течет бесконечный, нарастающий страшным валом поток людей — кажется, они догадались о моей душевной пустоте и дали тайную клятву не допускать меня в свое братство.

Я не люблю, когда весенними днями солнце вдруг

выглядывает из-за облаков, безжалостно высвечивая своими яркими лучами бедность, бестолковость и убожество. Я не люблю проспект Халаскаргази, идущий от Таксима через Харбийе и Шишли до самого Меджидийекёя, застроенный в 1960 — 70-е годы с обеих сторон многоэтажными жилыми домами в «международном» стиле, с огромными окнами и «украшенными» кафельной плиткой стенами. (Мама, проведшая в тех местах свои детские годы, говорила о некогда росших там шелковичных деревьях, словно рассказывая сказку о некой погибшей волшебной стране.) Есть улицы в Шишли (Пангалты), Нишанташи (Топагаджи) и Таксиме (Талимхане), откуда, если мне случается туда попасть, меня так и тянет как можно быстрее уйти. Атмосфера этих лишенных зелени мест, откуда не увидишь Босфора, этих холмов и лощин, застроенных уродливыми домами, ютящимися на маленьких земельных участках, что когда-то давно были поделены перессорившимися из-за собственности родственниками, кажется мне такой удушливой и высасывающей всякую энергию, что я не могу отделаться от мысли, будто все эти глядящие из окон злобные старухи и усатые старики меня ненавидят, и более того, ненавидят справедливо. Я ненавижу улицы, заполоненные магазинами готового платья (как между Шишли и Нишанташи), магазинами электротоваров (как в Тепебаши и Галате), магазинами автозапчастей (когда-то эти магазины располагались главным образом на улице Талимхане, неподалеку от Таксима; в те легкомысленные годы, когда дедушкино наследство с веселым свистом разлеталось направо и налево, отец с дядей тоже открыли там свой магазин автозапчастей, но приходя туда, они занимались по большей части не организацией торговли, а всякого рода баловством — например, поили уборщиц незадолго до этого появившимся в Турции томатным соком, предварительно сдобрив его изрядной порцией перца). Я ненавижу улочки вокруг мечети Сулеймание, оккупированные мастерскими, изготовляющими кухонную утварь и наполняющими окрестности грохотом молотков и рычанием механических прессов, ненавижу обслуживающие эти мастерские такси и грузовики, превращающие дорожное движение в одну сплошную пробку. Я смотрю на эти улицы, и во мне все сильнее клокочет ненависть к своему городу и к себе; я смотрю на облепившие стены домов вывески всевозможных цветов и размеров, огромными буквами сообщающие публике имена, занятия, профессии и заслуги неведомых мне господ, и во мне разгорается злоба — не на них, а на себя самого. Имена всех этих профессоров, докторов, хирургов, финансовых консультантов, адвокатов, вывески закусочных, бакалейных лавок, продуктовых

рынков, банков, страховых компаний, реклама стиральных порошков, газет, сигарет и газированных напитков, афиши кинотеатров, огромные буквы на крышах зданий, извещающие, что здесь продаются лотерейные билеты, питьевая вода или газовые баллоны, — все это говорит мне о том, что Стамбул, как и я, растерян и несчастен. Пока городской шум и эти ужасные буквы не свели меня с ума, нужно быстрее спрятаться в темный уголок, в милую мою, тихую комнату!

Но поздно. Толчея букв на рекламных плакатах, вывесках и афишах сделала свое дело: в моей голове ожила читающая машинка.

БАНКШАУРМАМЕБЕЛЬМЫЛОНАКАЖДЫЙДЕНЬЮВЕЛИРНЫЕИЗДЕЛ

Наконец мне удается спастись бегством от ужасающей толпы, нескончаемой суматохи и полуденного солнца, безжалостно высвечивающего все отвратительное и неприглядное — но машинка в моей голове не успокаивается: в минуты усталости, уныния и тоски она продолжает повторять случайно прочитанные слова, словно тянет горестную народную песню.

ВЕСЕННЯЯРАСПРОДАЖАБУФЕТСЕЛЯМТАКСОФОННОТАРИУСИЗУМ

Толпы людей на улицах, грязь, устарелость всего и вся — вот что делает меня несчастным, думаю я, лежа в уединении. Стамбул — неполноценный город, ибо здесь нет ничего, что было бы толком доведено до конца. Реклама и названия фирм, магазинов и журналов, в большинстве своем заимствованные из английского и французского языков, вроде бы свидетельствуют о том, что это город европейский, — но на самом деле европеизация произошла здесь лишь на словах. Мечети, леса минаретов, призывы к молитве, весь исторический антураж, казалось бы, говорят о приверженности традициям жизни, — но на самом деле они почти забыты. Во всем недоделанность, половинчатость, несовершенство.

БРИТВЫЗАХОДИТЕКНАМВОБЕДЕННЫЙПЕРЕРЫВФИЛИПСАПТЕКАК

Тогда я пытаюсь спастись наивной грезой о «золотом веке», о днях чистоты и подлинности, когда Стамбул был единым, целостным городом, был самим собой, — но с горечью понимаю, что город конца XVIII — начала XIX века, нарисованный Меллингом, описанный Нервалем, Готье и де Амичисом, уже не мой город. Я в нем чужак. Тут логика, ожившая под защитой четырех стен, подсказывает мне, что не за чистоту и подлинность люблю я Стамбул, а именно за сумятицу, недоделанность и разруху. С другой стороны, та часть меня, что страдает из-за моих недостатков, настоятельно требует держаться подальше от городской печали. А голос улиц продолжает звучать в моей несчастной голове.

УЛИЦАЗАСТРАХУЙТЕВАШЕБУДУЩЕЕЗВОНИТЕВЗВОНОКЧАСЫЗАП

Возможно, я чувствую себя виноватым из-за того, что никогда по-настоящему не был здесь своим. В детстве, сидя за праздничным столом в бабушкиной квартире среди развеселившихся от ликеров и пива родственников; в юности, дождливыми зимними днями разъезжая по городу вместе с богатенькими дружками из Роберт-колледжа, я испытывал то же самое чувство, что испытываю сейчас, проходя по залитым весенним солнцем улицам. Ты никчемный человек, говорил я себе, ты везде чужак, ты одна сплошная ошибка. И меня начинало одолевать безотчетное, животное стремление убежать, спрятаться от этих людей, а значит — остаться в одиночестве, отказаться от объединяющего горожан общинного чувства, от духа братства и взаимопомощи, скрыться от всевидящего взгляда всепрощающего Аллаха. Вот из-за чего меня преследует тяжкое чувство вины.

В первые лицейские годы я воспринимал одиночество как преходящее явление, потому что не был еще достаточно зрелым, чтобы принять его как неизбежность. (Надежда, придающая силу мечте, — достояние детства.) Я мечтал, что однажды найду себе хорошего друга и буду ходить с ним в кино (я очень неуютно чувствовал себя во время антрактов, стоя в фойе в одиночестве и не зная, чем себя занять). Когда-нибудь я познакомлюсь с умными и понимающими людьми — с ними можно будет обсуждать мои картины и прочитанные книги, не чувствуя себя насквозь фальшивым. Однажды мне встретится красивая девушка, с которой я смогу разделить некоторые запретные тайные удовольствия. По возрасту я, возможно, уже подходил для подобных вещей, но чувствовал, что моя душа не готова к осуществлению этих жадных, смущающих и пугающих меня самого желаний.

В те годы я думал, что быть беспомощным — значит чувствовать себя чужаком в своем собственном доме, в семье и, самое главное, в своем городе. Вот от этой-то общности людей, обращающихся к незнакомцам «брат», говорящих «мы», подразумевая всех обитателей города, от духа единства, похожего на тот, что объединяет болельщиков на футбольном матче, я и был оторван. Ощутив трещину в своей душе, я испугался, что одиночество будет преследовать меня всю жизнь, и принял решение быть отныне как все. В семнадцать-восемнадцать лет, таким образом, я превратился в глазах окружающих в общительного, дружелюбного, остроумного молодого человека. Я непрестанно шутил, рассказывал анекдоты, передразнивал на уроках учителей, вызывая всеобщий смех. В семейном кругу мои остроты вошли в легенду. Если мне случалось зайти чересчур

далеко, я становился похож на изощренного дипломата, умеющего искусно замять любой грязный скандал. Но позже, когда я оставался один в своей комнате, сознание фальши этого мира и своего собственного лицемерия становилось настолько невыносимым, что мне оставалось только одно спасение — мастурбация.

Почему мне так сложно давалось установление отношений, которые у всех нормальных людей завязываются сами собой? Почему, пытаясь подружиться с кем-нибудь, я чувствовал себя так, словно играю какую-то роль? Почему самые обычные, облегчающие жизнь милые условности, не слишком смущающие (наверное, даже вовсе не смущающие) нормальных людей, я вынужден был соблюдать, стиснув зубы, изо всех сил заставляя себя сдерживаться? Почему после я чувствовал себя отвратительным лицемером? Иногда я с таким энтузиазмом вживался в роль, что переставал на время нервничать из-за своего притворства. Я наслаждался возможностью веселиться вместе со всеми, мне даже казалось, что я больше никогда не буду чувствовать себя лицемером и лжецом, что я наконец спасен, — и вдруг в самый разгар веселья в мою душу вторгалась нежданная тоска, переворачивающая все вверх дном, и мне уже хотелось только одного — скорее укрыться в темноте моей комнаты. Сначала я ненавидел только себя — за общение со всеми этими людьми, за то, что из кожи вон лезу, стараясь быть, как они. Но позже тот же самый презрительный взгляд начинал обращаться и на окружающих: на группу близких и дальних родственников, которую мне все сложнее было называть семьей, на школьных приятелей, на остальных знакомых и на весь город.

Я чувствовал, что причина моих несчастий, моей двуличности — сам Стамбул. Дело было, конечно, не в моих любимых мечетях, крепостных стенах, маленьких площадях, Босфоре, даже не в людях. Между этими людьми существовало нечто, превращающее общение, торговые и производственные отношения, саму жизнь в легкое, необременительное занятие, а меня эта невидимая субстанция отвергала. Мне все труднее было соответствовать «нашему миру», где все друг друга знают и все хотят быть друг на друга похожими, где так ценится скромность, где уважают традиции, исторические предания, заветы предков и с почтением относятся к старшим. Я не мог быть самим собой среди людей — приятелей, одноклассников, родственников, — особенно если обстоятельства требовали, чтобы я перестал быть зрителем и сам превратился в актера. Во время какого-нибудь шумного сборища, например на вечеринке по случаю дня рождения, я вдруг будто начинал видеть себя со стороны, как это

бывает во сне. Я отпускал шутки, спрашивал у одного знакомого: «Как дела, дружище?», хлопал по спине другого, словно нас связывали какие-то особенные, искренние и теплые отношения (на самом деле в этом панибратстве не было совершенно ничего искреннего) — и в то же время, поглядывая на себя со стороны, думал, до чего же бессовестно я всех их разыгрываю.

Вернувшись в свою комнату и побыв некоторое время в одиночестве («Почему ты теперь все время запираешься на ключ?» — начала интересоваться мама), я начинал понимать, что источник лицемерия и двуличия находится не только во мне, но и в этом самом общинном духе, в этом пресловутом «мы», в этой своего рода «городской идеологии», существование которой можно заметить, только если слегка свихнешься и станешь смотреть на все со стороны.

Не забывайте, что это я, сегодняшний, пятидесятилетний писатель, пытаюсь связно и занимательно изложить поток ощущений растерянного юноши. Как бы то ни было, в шестнадцать — восемнадцать лет я испытывал отвращение не только к себе самому, но и к окружающей меня культуре, к речам официальных и неофициальных лиц, объясняющих нам, как следует понимать те или иные события, к аршинным заголовкам газет, к стремлению всего города и отдельных его жителей казаться лучше, чем они есть на самом деле, и к их упорному нежеланию понять что-либо о самих себе, к отдающимся болью в моей голове буквам вывесок и рекламных плакатов. И к себе, и к городу я относился с одинаковым презрительным пренебрежением. Дело, видимо, осложнялось еще и тем, что после пятнадцати лет я уже не мог с прежней легкостью укрываться в своем «другом мире», благодаря которому мое детство было таким красочным и счастливым. Я хотел рисовать, мечтал жить так, как жили те французские художники, о которых я читал в книгах; но у меня не было хватало сил, чтобы воссоздать в Стамбуле мир этих художников, не мог я изменить и сам Стамбул. Мне нравились даже самые скверные пейзажи турецких импрессионистов — стамбульские мечети, Босфор, деревянные особняки и заснеженные улицы — не как картины, а как изображения Стамбула. Картина (моя ли, чужая — все равно), изображающая Стамбул похоже, не могла быть хорошей картиной, а на хороших картинах Стамбул не был похож на себя в той мере, в какой хотелось мне. Возможно, мне нужно было отказаться от привычки смотреть на Стамбул как на картину.

В шестнадцать — восемнадцать лет я, с одной стороны, желал, чтобы и город мой стал совершенно западным, и я сам целиком превратился в европейца; с другой стороны, мне

инстинктивно хотелось быть частью того города, к которому я привык, города моих воспоминаний. В детстве эти два желания каким-то образом уживались в моем сознании (ребенок легко может одновременно мечтать и о жизни бродяги, и о том, чтобы стать великим ученым), но, когда я повзрослел, они вступили в конфликт, все глубже погружавший меня в печаль. Я понимал, что Стамбул — безнадежно отсталый город, что от нищеты своей и чувства поражения ему удастся избавиться очень нескоро, и скорбел о его и о своей судьбе. Вот такими путями в мою душу проникала стамбульская печаль, разделяемая всеми горожанами со смирением и гордостью. И все-таки та ли самая это была печаль, или я тосковал из-за того, что покоряюсь воле Стамбула?

Может быть, у моей печали была и еще одна, совсем другая причина. Возможно, все чаще посещавшее меня желание запереться в своей комнате (так раненое животное уползает умирать в темный уголок) объяснялось не только внешними причинами. О какой же потере я тосковал, о какой разлуке скорбел?

35
Первая любовь

Я вынужден скрыть имя моей тайной возлюбленной — ведь это все-таки книга воспоминаний. И если, подобно поэтам дивана, я лишь намекну на то, как ее звали, ты, читатель, должен иметь в виду, что намек этот может быть обманчив, а некоторые детали той истории, что я собираюсь сейчас рассказать, — не вполне точны. По-персидски ее имя значило «черная роза», но, кажется, об этом не подозревали ни те, с кем она ходила на пляж, ни ее одноклассницы во французском лицее, — потому что волосы у нее были не черные, а каштановые, а глаза — лишь чуть-чуть темнее. Когда я с умным видом поведал ей значение ее имени, она нахмурилась (она всегда хмурилась, когда вдруг становилась очень серьезной) и, немного надув губки, сказала, что, конечно же, она знает значение своего имени, и что так звали ее бабушку-албанку.

Моя мама говорила, что «эта женщина» (мать Черной Розы), должно быть, вышла замуж совсем молоденькой, поскольку, когда моему брату было пять, а мне — три, и мама водила нас на прогулку в парк Мачка, мы встречали ее там с огромной детской коляской — при этом сама она еще была похожа на девочку. Однажды мама намекнула, что бабушка-албанка в свое время состояла в гареме некоего паши, который то ли запятнал себя позором в годы оккупации Стамбула, то ли выступил против Ататюрка, — словом, был отвратительным типом. Подробности я забыл, поскольку в то время совершенно не интересовался османскими особняками и историями про их обитателей. Папа, в свою очередь, рассказывал — впрочем, тоном вовсе не обличительным, — что папа маленькой Черной Розы вскоре после Второй мировой войны с помощью влиятельных знакомых в правительстве сумел стать представителем некоторых американских и голландских компаний в Турции и поэтому быстро разбогател.

Через восемь лет после встреч в парке мое семейство приобрело летний домик в Байрамоглу, к востоку от города — тогда, в 1960 — 70-е годы, это место было весьма популярно среди стамбульских богачей. Там я время от времени видел ее катающейся на велосипеде. Я жил там в те благословенные времена, когда городок этот еще был тихим и пустынным, — до изнеможения купался в море, ловил сетями скумбрию и ставриду, играл в футбол и, после того как мне исполнилось шестнадцать,

ходил летними вечерами на танцы. Позже, поступив в университет, я стал проводить большую часть времени в полуподвальном помещении нашего домика, читая и рисуя. В какой-то степени, должно быть, это объяснялось нежеланием общаться с моими приятелями из числа «золотой молодежи», которые считали всякого, кто читает что-либо, кроме школьных учебников, «интеллектуалом» и, стало быть, подозрительным, «закомплексованным» типом. («Закомплексованными» в их понимании были и люди с психологическими проблемами, и те, кому, скажем, не хватало денег.) Они, в свою очередь, тоже начинали обходить меня стороной — «интеллектуал», по их представлениям, непременно должен был быть «врагом богатых». Меня это немного тревожило, и я объяснял им, что читаю книги — Вульф, Фрейда, Сартра, Манна, Фолкнера — исключительно для собственного удовольствия. Хорошо, говорили они, но зачем тогда ты подчеркиваешь некоторые строчки?

Именно моя «дурная репутация» однажды ближе к осени привлекла ко мне внимание Черной Розы. Надо сказать, что ни тем летом, ни в предыдущие годы, когда я проводил больше времени со своими приятелями, мы практически не замечали друг друга. Когда мы с друзьями развлекались — например, срывались в полночь в Стамбул, на Багдадский проспект, и разгоняли свои «мерседесы», «форды» и «БМВ» до немыслимой скорости, стремясь обогнать друг друга (и порой сталкиваясь), а потом танцевали до утра на дискотеках или уезжали на быстроходных катерах к каким-нибудь пустынным скалистым берегам, где стреляли из роскошных охотничьих ружей по пустым бутылкам из-под газировки или вина (девочки испуганно визжали, а мы их успокаивали), или играли в покер и в монополию под музыку Боба Дилана и «Битлз», — мы с Черной Розой не испытывали друг к другу ни малейшего интереса.

В конце лета наша шумная юная компания стала потихоньку редеть. Начались сентябрьские бури, каждый год обязательно разбивавшие несколько лодок и грозившие яхтам и моторным катерам; с бурями пришли и дожди. Вот тогда-то семнадцатилетняя Черная Роза начала навещать меня в подвале, который я без лишней скромности называл «студией». В этом не было ничего необычного — все мои приятели время от времени заглядывали сюда, чтобы побаловаться с моими красками и кисточками или с подозрительным видом перелистать книги. Кроме того, подобно всем представителям турецкой молодежи, бедным и богатым, юношам и девушкам, она часто испытывала настоятельную необходимость поболтать.

Вначале, насколько я помню, мы в основном перебирали

летние сплетни: кто в кого влюбился, кто кого заставил ревновать и так далее (хотя я в тот год уже не особенно следил за такими сюжетами местной жизни). Поскольку руки у меня были запачканы краской, она иногда помогала мне открыть новый тюбик или заваривала чай, а потом снова скидывала туфли и устраивалась на диванчике в углу, подперев голову рукой. Однажды я, ничего не говоря Черной Розе, карандашом набросал ее портрет. Заметив, что портрет ей понравился, в следующий раз нарисовал еще один. Через некоторое время мне снова захотелось ее нарисовать, и я сказал ей об этом. «Как мне сесть?» — спросила она тоном начинающей киноактрисы, впервые оказавшейся перед камерой и, при всей своей радости, не знающей, куда деть руки и ноги.

Когда я подолгу вглядывался (чтобы лучше нарисовать) в контуры ее длинного тонкого носа и высокого лба, на губах ее появлялась еле заметная улыбка. У нее были длинные загорелые ноги, только в мой подвал она каждый раз приходила в длинной юбке, доставшейся ей от бабушки, поэтому мне были видны лишь маленькие плоские ступни. Если мой взгляд задерживался на очертаниях маленькой груди или белоснежной длинной шеи, по ее лицу пробегала тень смущения.

Вначале мы много говорили — точнее, по большей части говорила она. Однажды, заметив печаль в ее взгляде, я сказал: «Эй, не будь такой грустной!» — и она в ответ с неожиданной откровенностью рассказала мне о ссорах между родителями, о бесконечных драках младших братьев, о наказаниях, которым подвергает своих детей ее отец (запрещает, например, выходить из дома или пользоваться катером, а может и влепить пару затрещин), о том, как переживает из-за его любовных интрижек мама, и о том, что мой отец тоже ухлестывает за женщинами, — она знала это, поскольку наши матери играли вместе в бридж и делились друг с другом своими горестями. Все это она говорила, глядя мне прямо в глаза.

Однако постепенно наши встречи становились все более молчаливыми. Черная Роза приходила и тихо садилась или ложилась на диван, иногда позируя (я рисовал ее в стиле Боннара), иногда перелистывая одну из моих книг и поглядывая краешком глаза, как я рисую. Помню, каждое утро, поработав немного, я начинал ждать, когда же она придет, — и она, не заставив себя долго ждать, приходила и со смущенной, почти извиняющейся улыбкой устраивалась в своем уголке.

Одной из тем наших редких бесед было будущее: по мнению Черной Розы, я был очень способным и трудолюбивым юношей, и потому непременно должен был стать всемирно знаменитым

художником (или она говорила — знаменитым турецким художником?). И тогда она придет на открытие моей парижской выставки со своими знакомыми французами и с гордостью расскажет им, что мы были «друзьями детства».

Однажды вечером, под тем предлогом, что неплохо было бы посмотреть с другой стороны полуострова на озаренный закатным солнцем пейзаж и появившуюся после дождя радугу, мы вышли из моей полутемной студии и впервые прошлись вместе по улочкам Байрамоглу. Помню, за время нашей долгой прогулки не было сказано ни слова. Мы немного нервничали, думая о том, что можем случайно встретиться с нашими матерями или попасться на глаза тем из наших знакомых, кто еще оставался в пустеющем курортном городке. Но прогулка наша получилась неудачной не поэтому и даже не из-за того, что радуга исчезла прежде, чем мы дошли до берега, — все испортило какое-то скрытое напряжение, возникшее между нами. Тогда я впервые заметил, какая изящная у нее шея и какая грациозная походка.

В последнюю субботу нашего пребывания в Байрамоглу мы решили сходить куда-нибудь вместе, ничего не сказав об этом нашим любопытным и неинтересным приятелям. Я взял папину машину, и мне было немного не по себе. Черная Роза сделала макияж и надела короткую юбочку; приятный запах ее духов оставался в машине еще долгое время после нашей поездки. Но еще до того, как добраться до дискотеки, мы снова ощутили то напряжение, что испортило нашу первую прогулку. В полупустом, но все равно чересчур шумном танцзале мы чувствовали себя не в своей тарелке — не то что в студии, беседуя или просто подолгу сидя в спокойной тишине (только тогда я осознал, насколько глубокой была та тишина).

Всё же мы немного потанцевали под спокойную музыку. Я обнял ее, потому что видел, что так делают другие, а потом, повинуясь внезапному импульсу, прижал ее к себе сильнее и почувствовал миндальный запах ее волос. Мне нравилось следить за движениями ее губ, когда она ела, а если ее что-нибудь тревожило, она становилась похожа на милую белочку.

Назад мы возвращались в молчании. Я уже собирался отвезти ее домой, но вдруг спросил: «Не хочешь немного попозировать?» Она согласилась — впрочем; без особого энтузиазма — но, пробираясь к моему домику по темному саду (я держал ее за руку), мы увидели, что в окнах студии горит свет. Должно быть, там кто-то был — и она передумала.

Следующие три дня она по-прежнему приходила ко мне, садилась на диван и молча наблюдала, как я рисую, листала книги или смотрела в окно, на пенящиеся морские волны. Потом

так же тихо уходила.

В октябре, вернувшись в Стамбул, я не стал ей звонить. Я был слишком увлечен книгами, живописью и общением со своими радикально настроенными друзьями. В коридорах университета убивали друг друга марксисты и националисты, полиция преследовала и тех, и других… Теперь я стыдился своих летних друзей и нашего курортного городка для богатых с забаррикадированным и круглосуточно охраняемым въездом.

И все же в ноябре, когда в городе уже заработало центральное отопление, однажды вечером я позвонил ей домой. Ответила ее мама, и я, не говоря ни слова, повесил трубку. На следующий день я с удивлением спрашивал себя, зачем мне понадобился этот глупый телефонный звонок.

Я не понимал еще, что влюбился, и мне только предстояло узнать, что каждый раз, влюбляясь, я буду мучительно одержим своей любовью.

Прошла неделя, и я снова темным промозглым вечером позвонил Черной Розе. На этот раз ответила она сама, и я завел разговор, заранее продуманный одним из уголков моего разума (другие уголки об этом даже не подозревали). «Видишь ли, в конце лета я начал рисовать твой портрет, помнишь? Ну так вот, мне хотелось бы его закончить. Не заглянешь как-нибудь вечерком попозировать?»

— В той же одежде? — спросила она. Об этом я не подумал.

— Да, в той же.

В среду я пришел к воротам колледжа «Дам де Сион» (когда-то в нем училась моя мама) и стал ждать ее — не в толпе родителей и слуг, а чуть поодаль, за деревьями, где уже переминались с ноги на ногу другие юные воздыхатели. Из дверей выходили толпы девочек в голубых юбках и белых рубашках, форме французской католической школы; когда я увидел среди них Черную Розу, мне показалось, что она стала ниже ростом. Ее волосы были собраны в пучок, а в руках она держала полиэтиленовый пакет с учебниками и одеждой, в которой собиралась позировать.

Черная Роза думала, что я поведу ее к нам домой, где моя мама угостит ее чаем и пирожными; узнав, что мы направляемся в нежилую квартиру, используемую как склад для старых вещей и служащую одновременно моей студией, она заметно занервничала. Однако когда я разжег огонь и предложил ей устроиться на диване, точно таком же, как в нашем летнем домике, она поняла, что я и в самом деле собираюсь ее рисовать, и успокоилась. Дождавшись, пока комната прогреется, Черная Роза попросила меня выйти, переоделась в длинное летнее платье

и улеглась на диван.

Так возобновились, не принимая формы любовной связи, отношения между девятнадцатилетним художником и его еще более юной натурщицей, похожие на странную мелодию, значения которой мы сами понять не могли. Сначала Черная Роза приходила в мою студию раз в две недели, потом — раз в неделю. Я начал рисовать другие картины с тем же сюжетом, то есть портреты юной девушки, лежащей на диване. Теперь мы говорили еще меньше, чем в последние дни лета. Моя жизнь в то время крутилась в основном вокруг учебы на архитектурном факультете, книг и планов стать художником. Боясь нарушить чистоту нашего маленького мирка, прячущегося за стенами квартиры в Джихангире, я избегал делиться с Черной Розой своими заботами — не потому, что думал, будто ей не понять их, а именно из-за желания разграничить жизнь в студии и за ее пределами. Я не хотел больше иметь ничего общего с моими летними приятелями и лицейскими дружками, готовящимися унаследовать фабрики своих папаш, но — я уже не мог скрыть этого от самого себя — я был очень рад еженедельным встречам с Черной Розой.

Порой дождливыми днями мы слышали, как в переулке Тавук Учмаз скользят по мокрой брусчатке и буксуют колеса грузовиков и американских автомобилей, — звук, знакомый мне еще с тех времен, когда я маленьким мальчиком жил в этом доме в гостях у тети. Когда я рисовал в ничуть не смущавшей меня полной тишине, наши взгляды иногда встречались. Поначалу, стоило мне взглянуть Черной Розе в глаза, она не могла удержаться от улыбки (она ведь была совсем еще ребенком), но тут же пугалась, что нарушила позу, и заставляла свои губы принять прежнее положение. Все в том же молчании смотрела она мне в глаза своими огромными карими очами — долго-долго. Наконец я замечал, что она чувствует по выражению моего лица, какое впечатление на меня производит, и по улыбке, вновь начинающей появляться на ее губах (теперь она уже не могла заставить себя сохранять серьезное выражение), понимал, что мой сосредоточенный, внимательный взгляд доставляет ей большое удовольствие. Однажды, вновь увидев на ее лице эту счастливо-задумчивую улыбку, я и сам не смог удержаться и понимающе улыбнулся ей в ответ, рассеянно водя кистью по полотну. Тогда моя прекрасная натурщица почувствовала необходимость объяснить, почему она улыбнулась и нарушила, таким образом, позу.

«Мне очень нравится, когда ты так на меня смотришь», — сказала она, словно бы извиняясь.

Собственно говоря, это объясняло не только ее улыбку — теперь стало понятно, что заставляет ее каждую неделю приходить в мою пыльную джихангирскую студию. Через несколько недель, заметив знакомый изгиб в уголках ее губ, я отложил в сторону кисть, присел на краешек дивана и отважился сделать то, о чем мечтал все последнее время, — поцеловал ее.

Небо было затянуто облаками, и в комнате стоял полумрак, поэтому смущение быстро прошло, и так долго собиравшаяся буря, наконец разразившись, заставила нас забыть все на свете. С дивана, на котором мы лежали, было видно, как по темным водам Босфора за окнами и по стенам студии бродят любопытные лучи корабельных прожекторов.

Мы продолжали встречаться, не нарушая сложившегося ритуала. Я был очень счастлив, но почему-то вел себя совсем не так, как позже в подобных ситуациях. Почему я не шептал ей ласковых слов, не устраивал сцен ревности, не паниковал, не совершал безрассудных поступков? Не то чтобы мне совсем всего этого не хотелось… Возможно, дело было в том, что отношения художника и натурщицы, заставившие нас разглядеть друг друга и связавшие незримыми нитями, требовали молчания; или в том, что в глубине души я с каким-то детским стыдом понимал: если я женюсь на Черной Розе, мне придется стать бизнесменом, а не художником.

Миновало девять волшебных сред, заполненных безмолвными сеансами живописи и безмолвной любовью, и тут мои неясные тревоги были отодвинуты на задний план другой, гораздо более простой, но весьма реальной угрозой нашему счастью. Мама, не любившая надолго оставлять сыновей без присмотра, заглянула под каким-то предлогом в студию и увидела мои картины. Влияние Боннара не смогло помешать ей узнать мою прекрасную натурщицу. Каждый раз, когда я завершал портрет, Черная Роза, приводя меня в уныние, спрашивала: «Похоже получилось?» (с умным видом я отвечал, что это не важно). Поскольку мама дала, как видим, вполне четкий утвердительный ответ на этот вопрос, мы должны были бы обрадоваться, но вместо этого испугались — ведь моя мама могла позвонить маме Черной Розы и радостно поведать ей, как сблизились их дети. А та между тем пребывала в полной уверенности, что по средам после занятий в колледже ее дочь ходит на театральные курсы при французском консульстве. А уж о том, как на эту новость мог отреагировать суровый и вспыльчивый отец моей возлюбленной, лучше было даже не думать.

Мы тут же положили конец нашим встречам по средам. Через некоторое время мы начали встречаться в другие дни, когда у

Черной Розы рано заканчивались уроки, или по утрам, если я прогуливал занятия в университете. В джихангирскую квартиру мы перестали ходить вовсе: туда в любой момент снова могла зайти мама, времени на молчаливые сеансы живописи у нас тоже теперь не было, и, кроме всего прочего, я разрешил укрыться в студии одному своему однокурснику, которого разыскивала полиция (по политическим, как он настаивал, причинам). Мы бродили по стамбульским улочкам, стараясь держаться подальше от Нишанташи, Бейоглу и Таксима, где «все» — то есть наши общие знакомые — могли нас увидеть. Мы встречались на площади Таксим (и от моего университета, находившегося в Ташкышле, и от колледжа «Дам де Сион» туда можно было добраться за несколько минут), садились в автобус и уезжали в какой-нибудь отдаленный район.

Сначала я показал Черной Розе достопримечательности окрестностей площади Бейазыт: кафе «Под чинарами», не утратившее еще тогда своей атмосферы (столкновения на политической почве, время от времени вспыхивавшие перед воротами Стамбульского университета, никогда не выводили мальчиков-гарсонов из дремотного состояния); Государственную библиотеку, в которой, как я с гордостью поведал своей возлюбленной, хранится по экземпляру каждой книги, когда-либо выходившей в Турции; книжный рынок Сахафлар, где пожилые продавцы, сидя в своих палатках, грелись у газовых и электрических печек; почерневшие деревянные особняки в Везнеджилере; византийские руины; обрамленные чинарами улочки и знаменитое заведение «Вефа» (дядя иногда отвозил нас туда на машине, чтобы угостить замечательной бузой[95]), где на стене в рамке под стеклом висел стакан, из которого пил бузу Ататюрк. Меня не очень расстроило, что из всего, показанного мною Черной Розе по ту сторону Золотого Рога, в старых, печальных и бедных кварталах Стамбула, ее, «европеизированную» девушку из богатой семьи, обитательницу Нишанташи, знавшую как свои пять пальцев модные магазины и рестораны Бебека и Таксима, больше всего заинтересовал этот стакан (главным образом потому, что его не мыли тридцать пять лет). Я был доволен своей спутницей: она прятала руки в карманы совсем как я, не меньше меня любила быструю ходьбу и смотрела по сторонам с тем же вниманием, с каким смотрел я сам, когда двумя-тремя годами ранее впервые исследовал эти места. При мысли об этом у меня странным образом начинало побаливать в животе — один из еще не распознанных мною симптомов любви.

Как и я когда-то, она была испугана видом столетних

особняков на нищих улочках Сулейманийе и Зейрека — казалось, тронь их пальцем, и они рухнут. Ее заворожили безлюдные залы Музея живописи и скульптуры, находящегося всего в пяти минутах ходьбы от автобусной остановки напротив ее лицея. Пересохшие источники, седобородые старики в тюбетейках, в полной неподвижности сидящие в кофейнях и созерцающие улицу, пожилые тетушки, изучающие каждого проходящего под их окном цепким взглядом работорговца, местные жители, обсуждавшие нас так громко, что нам было слышно («Как думаешь, братец, кто это такие?» — «Брат и сестра, сразу видно!» — «Кажется, они заблудились»), — все это наполняло ее той же печалью и стыдом, что и меня. Иногда за нами увязывались мальчишки, желающие продать нам какой-нибудь сувенир или просто поговорить («Турист, а турист, вот из ёр нэйм?»), но она, как и я, не обращала на них внимания и не спрашивала, почему они принимают нас за иностранцев. (Все же мы старались держаться подальше от крытого рынка Капалычаршы и торговых центров Нуросманийе.) Когда физическое влечение становилось невыносимым (она по-прежнему отказывалась возобновить сеансы живописи в Джихангире), мы шли на расположенную рядом с Музеем живописи и скульптуры пристань в Бешикташе, садились на первый попавшийся пароход (например, «Иншира-54») и, пока позволяло время, катались по Босфору, молча глядя на голые осенние рощи, на колеблемое северным ветром море, дрожащее, словно от холода, перед фасадами ялы, на виднеющиеся за ялы сосны, и наблюдали, как меняется цвет морской воды, когда меняется направление ветра или на небо наползают облака. Много позже я спрашивал себя, почему во время наших прогулок мы никогда не держались за руки — и нашел немало причин тому (главной причиной, впрочем, была моя стеснительность): 1. Мы были просто-напросто робкими детьми, гуляющими по Стамбулу не для того, чтобы показать свою любовь, а для того, чтобы скрыть ее. 2. Если влюбленные держатся за руки — значит, они счастливы и хотят, чтобы об этом знали все вокруг; я же, может быть, и был счастлив, но боялся выглядеть пошлым. 3. Держась за руки, мы были бы похожи на беззаботных туристов, пришедших в эти нищие кварталы, чтобы развлечься. 4. Печаль бедных районов, печаль стамбульских руин уже давно проникла в наши сердца.

Когда мне становилось особенно грустно, меня охватывало желание скорее добраться до джихангирской студии и нарисовать картину, отражающую печаль стамбульского пейзажа, хотя как это сделать, я не представлял. Но моя прекрасная натурщица отказывалась составить мне компанию. В ее представлении

лекарство от тоски выглядело совершенно иначе, и я был сильно разочарован, узнав, как именно.

«Мне сегодня очень грустно, — сказала Черная Роза, когда мы в очередной раз встретились на Таксиме — Может быть, сходим в „Хилтон“, выпьем чаю? Если мы сегодня снова отправимся в бедные районы, мне станет только хуже. Да и времени у нас не очень много».

Попытавшись было найти отговорку — на мне была армейская шинель, любимая одежда левацки настроенных студентов тех лет, я был небрит, и, даже если бы нас пустили в отель, у меня могло не оказаться с собой достаточно денег, чтобы заплатить за чай, — я вынужден был в конце концов согласиться, и мы отправились в «Хилтон». Не успели мы войти, как меня узнал один папин друг детства (тот самый, что ходил сюда, чтобы почувствовать себя «как в Европе»). С церемонным видом пожав руку моей печальной возлюбленной, он сообщил мне (шепотом на ухо), что моя знакомая «барышня» очень мила. Нам, впрочем, было не до него.

— Отец хочет как можно скорее забрать меня из лицея и отправить в Швейцарию, — сказала Черная Роза, и из ее огромных глаз в чашку с чаем закапали слезы.

— Зачем?

Они узнали про нас. Спросил ли я, что она хотела этим сказать? Вызывали ли предыдущие возлюбленные Черной Розы такую же ярость и ревность у ее отца? За что мне такая особенная честь? Не помню, задавал я подобные вопросы или нет. Мое сердце было ослеплено страхом и уязвленным самолюбием, и я мог думать в тот момент только о самом себе. Я боялся потерять Черную Розу — хотя еще даже отдаленно не подозревал, какую боль мне придется пережить, — и в то же время меня злил ее страх, положивший конец нашим сеансам живописи и любви в студии.

— Нам лучше поговорить об этом в Джихангире, — сказал я. — Давай в четверг, ладно? Нури ушел, теперь там снова никого нет.

Однако в следующий раз мы снова пошли в Музей живописи и скульптуры. Мы бывали там довольно часто, поскольку, во-первых, музей находился в нескольких минутах езды от лицея Черной Розы, а во-вторых, в его безлюдных залах можно было спокойно целоваться. Кроме того, там можно было укрыться от стамбульской печали и постепенно усиливавшегося зимнего холода. Но через некоторое время пустые залы и развешанные на их стенах картины, по большей части бездарные, стали вызывать у нас тоску даже большую, чем городские пейзажи. Вдобавок

музейные служители, начавшие нас узнавать, ходили теперь за нами из зала в зал, действуя на нервы, — поэтому мы перестали целоваться и там.

Но походы в музей тем не менее превратились у нас в привычку, от которой мы не смогли отказаться и в эти безрадостные дни. Мы показывали свои студенческие билеты (хотя этого уже и не требовалось) двум сидящим у входа старикам. Они одаривали нас кислым взглядом, присущим служителям всех немногочисленных стамбульских музеев, словно удивляясь, чего ради мы забрели в подобное место. С деланной жизнерадостностью осведомившись об их здоровье, мы отправлялись в малюсенькие залы Боннара и Матисса. Эти имена мы произносили благоговейным шепотом, что же касается невыразительных полотен турецких академиков (по большей части выходцев из военной среды, обучавшихся живописи в Европе), то мы проходили мимо них, не останавливаясь, вскользь перечисляя западных мастеров, которым они подражали: Сезанна, Леже[96], Пикассо. Больше всего нас разочаровывало в турецких художниках не очевидное подражание западным образцам, а то, что им почти совсем не удавалось передать атмосферу и дух города, по которому, ежась от холода, бродили мы, двое влюбленных.

И все-таки мы приходили в эти бывшие покои наследных принцев, часть дворца Долмабахче (при мысли о том, что мы целуемся чуть ли не в двух шагах от комнаты, в которой умер Ататюрк, нам становилось не по себе), не только потому, что там было пусто и спокойно, и не только чтобы отдохнуть от утомительной стамбульской нищеты, глядя на роскошь поздней Османской империи: величественные залы, необычайно пышные балконные решетки и высокие окна (вид из них был значительно красивее, чем многие развешанные на стенах полотна). Нас влекло в Музей живописи и скульптуры желание посмотреть на нашу любимую картину — «Лежащую женщину» кисти Халил-паши.

В ту нашу первую после разговора в «Хилтоне» встречу мы, быстро пройдя через весь музей, остановились перед этой картиной. На ней была изображена молодая женщина, прилегшая на синий диван, скинув туфли, точь-в-точь как моя прекрасная натурщица; подложив руку под голову, опять-таки в точности как Черная Роза, она печально смотрела на художника (своего мужа?). Увидев «Лежащую женщину» впервые, я был поражен странным сходством между ней и моей любимой; но не только поэтому мы были к ней так привязаны. Во время наших первых визитов в музей мы целовались обычно именно в том маленьком

боковом зале, где находилась она. Если паркет в соседнем зале начинал поскрипывать под шагами старого любопытного служителя, мы разнимали объятия, принимали очень серьезный вид и, глядя на картину, принимались ее обсуждать; немудрено, что вскоре мы выучили наизусть все ее детали. Позже я стал вплетать в эти обсуждения некоторые сведения о Халил-паше, выуженные мною из энциклопедий.

— Думаю, к вечеру похолодало, и у нее замерзли ноги, — сказал я.

— У меня опять плохие новости, — отозвалась моя любимая. (Нет, определенно, она все больше и больше казалась мне похожей на натурщицу Халил-паши.) — Мама хочет показать меня свахе.

— И ты согласна?

— Это даже смешно. Ее кандидат — сын какой-то большой шишки, учился в Америке, — и она насмешливым шепотом произнесла его фамилию.

— Твой отец в десять раз богаче его папаши.

— Ты что, не понимаешь? Они не хотят, чтобы я была с тобой.

— Будешь угощать сваху кофе?

— Не важно. Я не хочу устраивать дома сцен.

— Поедем в Джихангир, пожалуйста. Там мы сможем нацеловаться вдосталь. И еще я так хочу снова нарисовать твой портрет!

Черная Роза уже была знакома с моими навязчивыми идеями, и, надо сказать, они ее пугали. Вместо ответа на мое предложение она вернулась к главному вопросу, не дающему нам обоим покоя:

— Папе очень не нравится, что ты собираешься заниматься живописью. Он боится, что ты станешь спившимся нищим художником, а я — твоей голой натурщицей…

Она попыталась улыбнуться, но попытка не удалась. Заслышав медленные тяжелые шаги служителя, мы по привычке (хотя сейчас и не целовались) перевели разговор на достоинства «Лежащей женщины». А между тем я хотел спросить у нее: «Разве твой отец обязательно должен знать, чем занимается каждый ухажер его дочки? Почему он так уверен, что я собираюсь на тебе жениться?» (На самом деле я уже и впрямь начал воображать себе нашу будущую семейную жизнь, словно какой-нибудь из моих приятелей, влюблявшихся в каждую девушку, с которой ему случалось потанцевать.) И еще у меня на языке вертелось: «Скажи своему отцу, что я учусь на архитектора!» (Я думал, что это могло бы немного его успокоить, но в то же время понимал, что это значило бы: я согласен быть отныне «художником по выходным».) Каждый раз, когда я просил Черную Розу поехать со мной в

Джихангир и она отказывалась (это продолжалось уже многие недели), я на миг терял самообладание — мне хотелось крикнуть ей в лицо: «Ну что такого ужасного в том, чтобы быть художником?!» Но безлюдные роскошные залы «первого в Турции музея живописи и скульптуры», расположенного в самом красивом месте Стамбула, и убожество развешанных на его стенах картин давали вполне исчерпывающий ответ на этот вопрос. Незадолго до того я прочитал, что Халил-паша в старости не мог продать ни одной своей картины и, будучи военным, жил вместе со своей женой (она же была и его натурщицей) в армейских казармах, перебиваясь с хлеба на воду.

В следующий раз, пытаясь немного отвлечь Черную Розу от мрачных мыслей, я показал ей напыщенные полотна принца Абдул-Меджида: «Гете в Гареме» и «Бетховен в Гареме», а после, хотя и давал себе зарок больше не делать этого, спросил:

— Поедем в Джихангир?

Мы долго молчали, держась за руки.

— Мне что, похитить тебя? — спросил я наконец с интонацией героя приключенческого фильма.

Через некоторое время мы снова пришли в музей (договариваться о встречах между тем становилось все сложнее, поскольку мы остерегались говорить по телефону). Стоя перед «Лежащей женщиной», моя прекрасная печальная натурщица говорила мне о том, как болезненно любит свою единственную дочь ее отец, жестоко избивающий ее братьев, как ревниво он относится ко всем ее знакомым, — и слезы катились у нее по щекам. Она боялась отца — и в то же время очень его любила. Но меня — теперь она поняла это, — любила больше. В следующие несколько секунд, пока шаги старого служителя не приблизились к самой двери, мы целовались с неведомыми нам прежде страстью и отчаянием, а жена Халил-паши печально смотрела на нас из своей пышной рамы.

Когда служитель заглянул в зал, Черная Роза сказала:

— Ты можешь меня похитить.

— Я так и сделаю.

У меня был банковский счет, который я открыл несколькими годами ранее, чтобы хранить деньги, подаренные мне бабушкой; я владел четвертью магазина на проспекте Румели (документы были оформлены после одной из ссор между родителями) и некоторым количеством акций, хотя и не знал, где они хранятся. Если бы мне удалось за две недели перевести какой-нибудь старый роман Грэма Грина, я мог бы отдать его одному издателю, знакомому Нури, уже не скрывавшегося от полиции. Вырученных денег, по моим подсчетам, должно было бы хватить на то, чтобы

два месяца платить за квартиру вроде той, что служила мне студией. А может быть, если я и в самом деле умыкну Черную Розу, мама (последнее время она стала спрашивать, почему я все время такой печальный) позволит нам жить в нашей квартире?

Неделю я предавался обдумыванию такого рода планов, немногим более реалистичных, чем соображения ребенка, мечтающего стать пожарным, а потом пошел на Таксим, где у нас была назначена встреча. Она не пришла — впервые. Напрасно я ждал ее полтора часа, дрожа на холодном ветру. Тем вечером, поняв, что сойду с ума, если не выговорюсь, я позвонил своим приятелям из Роберт-колледжа, с которыми давно уже не общался. Когда мы встретились в одном из питейных заведений Бейоглу, я был уже сильно пьян, что порядком их позабавило. Узнав, что я влюблен, несчастен и не знаю, что мне делать, они развеселились еще больше. Знаешь ли ты, спросили они меня, что если даже не женишься на несовершеннолетней девушке без разрешения ее отца, а просто будешь жить с ней под одной крышей, то тебя отправят за решетку? В ответ на мое несвязное пьяное бормотание они добавили, что если я брошу университет и буду зарабатывать на жизнь, то не смогу стать художником (это меня не очень огорчило). В конце концов они по-дружески вручили мне ключ от квартиры, где мы с моей девушкой могли бы встречаться, когда захотим.

Дважды впустую прождав Черную Розу у дверей «Дам де Сион», я все-таки встретился с ней одним снежным зимним днем. Мне удалось уговорить ее поехать на эту квартиру, дав клятву, что там никого не будет. К тому времени я уже успел побывать в этом «укромном уголке», которым, как узнал позже, пользовался не только мой двуличный приятель, но и его отец, и постарался хоть как-то его приукрасить. Это было такое отвратительное место, что я сразу понял: Черная Роза ни за что не согласится, чтобы я рисовал ее здесь. Не было смысла даже пытаться воссоздать атмосферу наших прежних сеансов. Мебели там практически не было — только висел на стене банковский календарь и стоял книжный шкаф, в котором между двумя бутылками виски «Джонни Уокер» красовались все пятьдесят два тома энциклопедии «Британника», и стояла огромная двуспальная кровать. На этой кровати мы трижды любили друг друга, с каждым разом все более отчаянно и ожесточенно. Чувствуя, как она дрожит в моих объятиях, я понимал, что она любит меня больше, чем казалось мне раньше; когда я видел слезы на ее глазах, в моем животе начинала пульсировать боль, но все попытки не думать о грустном лишь усиливали отчаяние. Каждый раз Черная Роза рассказывала мне о планах своего отца:

он собирался на февральских каникулах отвезти дочь в Швейцарию — якобы покататься на горных лыжах — и поместить ее в частную школу для богатых арабов и ненормальных американцев. В ее голосе была такая тоска и убежденность, что я не мог ей не верить. Пытаясь утешить любимую, я мужественным тоном героя турецкого фильма говорил, что собираюсь ее похитить, — и, заметив ее счастливый взгляд, сам начинал в это верить.

В начале февраля, во время нашего последнего свидания перед каникулами, мы встретились с моим приятелем, владельцем квартиры, чтобы поблагодарить его и заодно попытаться избавиться от ощущения приближающейся катастрофы. К нам присоединились и другие мои лицейские друзья, никогда прежде не видевшие Черную Розу; лишний раз я убедился, насколько был прав, не знакомя между собой друзей из разных компаний. С самого начала все пошло не так. Пытаясь создать непринужденную атмосферу, мои приятели принялись слегка подшучивать надо мной, но Черная Роза, сама любившая пошутить в другое время и в другом месте (например, на пляже в нашем курортном городке), восприняла все всерьез и кинулась меня защищать. На расспросы о том, где живут и чем занимаются ее родители, богаты ли они и какой собственностью владеют, Черная Роза отвечала односложно, давая понять, что ее не интересуют разговоры на подобные темы. Остаток вечера мы провели в одном из ресторанов Бебека за столиком с видом на Босфор, потягивая вино и рассуждая о футболе и о преимуществах разных моделей машин. На обратном пути мы остановились в Ашияне, в самом узком месте Босфора, чтобы посмотреть, как горит на противоположном берегу в Кандилли очередной деревянный особняк.

Горел один из самых красивых босфорских ялы. Чтобы разглядеть пожар получше, я вылез из машины. Черная Роза, утомившись от общества моих приятелей, восторженно наблюдавших за огненным зрелищем, присоединилась ко мне. Мы постояли на берегу, держась за руки, а потом решили пройтись вдоль стены крепости Румелихисары, подальше от машин и людей, пьющих чай и наблюдающих, как горит один из последних особняков времен Османской империи. Я рассказал Черной Розе о том, как в лицейские годы, прогуливая занятия, переправлялся на пароходе на другой берег и гулял по тамошним улицам.

Мы стояли в темноте напротив маленького кладбища, чувствуя, как отдается в наших телах мрачная мощь головокружительных босфорских течений. Прижавшись ко мне,

Черная Роза прошептала, что очень сильно меня любит, и я, сказав, что готов ради нее на все, крепко-крепко обнял ее. Открывая на миг глаза во время поцелуя, я видел оранжевые отблески пламени на ее нежной коже.

На обратном пути мы молча сидели на заднем сиденье, взявшись за руки. Выйдя из машины, она совсем по-детски побежала к дверям своего дома. Я видел ее в последний раз. На следующее свидание она не пришла.

Три недели спустя, когда зимние каникулы закончились, я стал приходить к воротам ее лицея, становился в сторонке и наблюдал за выходящими девушками в надежде разглядеть среди них Черную Розу. Через десять дней я был вынужден признать, что делаю это впустую, — и все равно каждый день ноги сами собой несли меня к воротам «Дам де Сион». Я стоял, прячась за деревьями, пока из лицея не выходила последняя ученица. Однажды из толпы, стоящей у ворот, появился один из братьев Черной Розы — самый старший и самый симпатичный из них. Сказав, что сестра шлет мне из Швейцарии большой привет, он протянул мне письмо. Я дошел до ближайшей закусочной, уселся за столик и вскрыл конверт. Черная Роза писала, что очень довольна своей новой школой, но очень скучает по мне и по Стамбулу.

Я написал ей девять длинных писем, из которых запечатал семь и отправил пять. Ответа я не получил.

36
На пароходе по Золотому Рогу

В феврале 1972 года, на втором курсе архитектурного факультета, я почти перестал появляться на занятиях. Насколько сильно нежелание ходить в университет было связано с горечью моей потери, со все усиливающимися одиночеством и печалью? Бывало, я совсем не выходил из дома, проводя день за чтением. Иногда я брал с собой какую-нибудь толстую книгу («Войну и мир», «Бесов» или «Будденброков») и читал ее, сидя на лекциях. После исчезновения Черной Розы занятия живописью в джихангирской студии стали доставлять мне все меньше радости. Водя карандашом по бумаге или кистью по полотну, я уже не ощущал былой легкости и не предвкушал успеха. Рисование вошло в мою жизнь как веселое детское развлечение; теперь, когда оно перестало дарить мне счастье, я не знал, чем заполнить образовавшуюся пустоту, и меня все сильнее охватывало тоскливое беспокойство. Жить не рисуя значило потерять возможность ускользать на время из «первого» мира, который другие называли «жизнью», — и он потихоньку начал становиться для меня тюрьмой. Когда я чувствовал это особенно остро — и при этом много курил, — мне становилось трудно дышать. Жизнь душила меня; мне хотелось сделать с собой что-нибудь нехорошее или, по крайней мере, убежать подальше от этих занятий, от этого университета.

Я продолжал время от времени появляться в студии и рисовал, изо всех сил пытаясь забыть мою пахнущую миндалем натурщицу или, наоборот, стараясь вызвать в памяти ее образ. Но в моих картинах чего-то не хватало. Возможно, дело было в том, что я жаждал получать от живописи прежнюю детскую радость, — но детство давно кончилось. Посередине работы я понимал, что у меня опять получается что-то не то, и бросал картину незаконченной. Эти приступы растерянности навели меня на мысль, что, если я хочу, чтобы рисование доставляло мне такое же удовольствие, как в детстве, мне следует заранее продумывать, каким должен получиться рисунок. Но я не умел этого делать. Возможно, именно потому, что прежде, рисуя, я всегда чувствовал себя счастливым, я не мог понять, что теперь пришло время, когда живопись должна была заставить меня страдать, и именно страдание могло бы вывести меня на новый уровень мастерства.

Меня пугало и то, что беспокойство, которым заражало меня рисование, начало распространяться и на другие мои увлечения:

я понял, что «искусство архитектуры» тоже не доставит мне ни малейшей радости. Надо сказать, что я и в детстве не очень им увлекался, если не считать строительства домиков из кубиков или кусочков сахара. Преподаватели Технического университета в душе были не творцами, а заурядными сухарями-инженерами, вдохновения и полета фантазии от них ждать не приходилось, — поэтому занятия превратились в моих глазах в пустую трату времени, которое я мог бы потратить с куда большей пользой, занимаясь чем-нибудь и в самом деле нужным, «настоящим». Все теряло для меня смысл: слова лектора были слышны словно сквозь вату, звонок, возвещавший окончание занятий, не вызывал никаких эмоций, а студенты, курившие на переменах сигареты, казались призраками давно умерших людей; я презирал себя за неспособность вырваться из этого бессмысленного, заблудшего, душного мира, и мне снова становилось трудно дышать. Словно во сне, я чувствовал, что время убегает сквозь пальцы и мне не успеть, не успеть… Пытаясь избавиться от этого ощущения, я начинал что-нибудь сочинять или рисовать во время занятий: пародии на лекцию, карикатуры на преподавателя, портреты студентов (вид со спины), простенькие рифмованные стихи. Но и эти стихи и рисунки, даже несмотря на то, что некоторые однокурсники с нетерпением ждали новых моих творений и, к моей радости, улыбались, знакомясь с ними, не спасали меня от ощущения ускользающего из рук времени и растрачиваемой впустую жизни. Иногда это ощущение становилось настолько невыносимым, что я, час назад входивший в здание архитектурного факультета с твердым намерением провести в нем весь день, бежал оттуда, словно спасаясь от гибели (при этом не обращая ни малейшего внимания, наступаю я на трещины между плитками или нет) — неважно куда, главное — прочь, на улицы Стамбула.

Я бесцельно бродил по улочкам между Таксимом и Тепебаши, по старым кварталам Перы, построенным в XVIII веке армянскими мастерами и в те дни еще пребывавшим в целости и сохранности (в детстве мы с мамой, возвращаясь из Галатасарая, проезжали эти места на долмуше — тогда они казались мне, шестилетнему, далекими сказочными странами). Иногда я отправлялся из университета прямо на Таксим, садился там на первый попавшийся автобус и ехал куда глаза глядят. Бедные узкие улочки Касымпаши, старые дома Балата, в первый раз показавшиеся мне похожими на театральные декорации; бывшие греческие и еврейские кварталы, неузнаваемо изменившиеся после того, как там стали обосновываться прибывающие в Стамбул нищие переселенцы; светлые и по-настоящему

мусульманские улицы Ускюдара, вплоть до начала 1980-х застроенные в основном деревянными домами; мрачные улицы Коджамустафапаши, уже испорченные зловеще выглядящими бетонными строениями, возведенными в одночасье; неизменно приводящий меня в восхищение двор мечети Фатих; кварталы Куртулуша и Ферикёя (чем ниже по склону холма, тем беднее, — точно такая же картина наблюдается в Джихангире, Тарлабаши и Нишанташи), выглядящие по мере обнищания все более и более древними, — при взгляде на них кажется, что люди жили здесь тысячелетиями, меняя религию, национальную принадлежность и язык под давлением могущественного государства (на самом деле эти кварталы появились пятьдесят лет назад); Балыклы и его окрестности… Вначале я приходил туда, движимый лишь желанием убежать подальше от университета, занятий, от мира, где каждый должен иметь работу, рабочий стол, офис, — и видел эти места сквозь призму своей печали, злобы и гнева. Такими они и запечатлелись в моем сознании. Бесцельные прогулки, во время которых я словно искал нечто неведомое мне самому, наслаждался бездельем, изучал город — улицу за улицей, дом за домом — с неясным ощущением, что когда-нибудь это мне пригодится, оставили глубокий, неизгладимый след в моей душе и памяти. Позже, когда мне случалось попасть на эти улицы по каким-нибудь делам, пребывая в совершенно будничном настроении, я сначала даже и не вспоминал, что это те самые места моих печальных воспоминаний; лишь увидев какой-нибудь разрушенный источник или осыпавшуюся стену еще более одряхлевшей за последние годы древней византийской церкви (Христа Вседержителя или Малой Айя-Софии), лишь разглядев Золотой Рог в просвете между стеной мечети и покрытым уродливой кафельной плиткой зданием, я вспоминал, что эти же самые места я видел много лет назад — только тогда воспринимал их совершенно по-другому, — и понимал, какая тоска сжимала тогда мое сердце. Дело было не в том, что тот или иной пейзаж плохо сохранился в моей памяти, а в том, что тогда я смотрел на него, обуреваемый совсем иными чувствами. Когда вы гуляете по улицам Стамбула или катаетесь на пароходе по Золотому Рогу и Босфору, пейзажи, проплывающие перед вами, окрашиваются не только собственно стамбульским настроением, но и вашими собственными чувствами и переживаниями. И тогда образы города соединяются в вашем сознании с глубокими и искренними чувствами: с болью или грустью, а может быть, и с радостью жизни или надеждой на лучшее.

Если вы умеете так видеть город, то, прожив в нем много лет, вы понимаете, что его пейзажи связаны с вашими самыми

подлинными и глубокими чувствами настолько неразрывно, что каждая улица, каждый переулок напоминают вам о прежних переживаниях и ощущениях, словно мелодия, вызывающая в памяти воспоминания о давно прошедшей любви. Возможно, Стамбул кажется мне таким печальным городом именно потому, что многие его кварталы, улочки и сокровенные пейзажи, которые можно увидеть лишь с определенного холма, впервые предстали передо мной в те дни, когда я был охвачен тоской о потерянной возлюбленной и только начинал осознавать безвозвратность этой потери.

Во время одной из моих тогдашних прогулок я испытал ощущение, позже сопровождавшее мои сны, наводненные довольно примитивными образами, связанными со временем (например, я часто вижу во сне, как лик полной луны превращается в циферблат часов). Однажды мартовским днем 1972 года я сел в долмуш на площади Таксим, как делали мы раньше с Черной Розой, и (в те годы это еще было возможно) попросил высадить меня между остановками — на Галатском мосту. Затянутое низкими, мрачными, фиолетово-серыми тучами небо предвещало скорый снегопад. Пешеходов на мосту не было. Увидев деревянную лестницу, ведущую к Золотому Рогу, я решил спуститься по ней на набережную.

У пристани стоял маленький пароходик, готовый вот-вот отправиться в путь. Его команда — капитан, машинист, матрос — собралась у трапа, словно экипаж океанского лайнера, приветствующий поднимающихся на борт пассажиров, — правда, при этом они попивали чай, курили и беседовали. Поднявшись по трапу, я тоже поздоровался с ними, а войдя во внутреннее помещение и оказавшись среди усталых пассажиров, одетых в невзрачные пальто и тюбетейки, и пассажирок в платках, почувствовал себя так, словно давным-давно знаком с ними, словно мы каждый день вместе садимся на этот самый пароход. Когда мы неслышно отчалили от пристани, чувство сопричастности этим людям, чувство принадлежности городу стало таким сильным, что я почувствовал вот еще что: там, наверху, на мосту, где висела реклама банковских услуг и двигались усы троллейбусов, на главных городских магистралях стоял март 1972 года — но здесь, внизу, было совсем другое, древнее, необъятное, медленно текущее время. Спустившись по ступеням случайно замеченной мной лестницы, я словно перенесся на тридцать лет назад, в те дни, когда Стамбул был оторванным от мира, бедным и печальным городом.

Я прошел в задний салон нижней палубы. За дрожащим стеклом медленно проплывали пристани, застроенные

деревянными домами холмы старого Стамбула, заросшие кипарисами кладбища, трубы бесчисленных маленьких фабрик, мастерские, табачные склады, руины византийских церквей, величественные османские мечети, возвышающиеся над узкими бедными улочками, склоны темных холмов, верфи, ржавые остовы кораблей… Стоял день, но церковь Христа Вседержителя в Зейреке, огромные здания табачных складов в Джибали, даже парящие над ними очертания мечети Фатих сквозь мутные дребезжащие окна выглядели так, словно я вижу их ночью — или в старом выцветшем фильме.

Когда пароход причаливал к пристани, шум его двигателя, похожий на стрекотание маминой швейной машинки, утихал, стекла переставали дрожать, и спокойные воды Золотого Рога, толпа готовящихся подняться на борт тетушек с курами и петухами в корзинах, узкие улочки Фенера, здания мастерских и складов, пустые бочки, старые автомобильные шины и все еще встречавшиеся на городских улицах запряженные лошадьми телеги начинали выглядеть точь-в-точь как на черно-белой открытке столетней давности. Потом пароход снова отчаливал, направляясь к усеянному кладбищами противоположному берегу, стекла снова начинали дребезжать, а черный дым, вырывающийся из трубы, заставлял все вокруг выглядеть еще более печальным и словно бы нарисованным. Иногда небо вдруг становилось угольно-черным, и на его фоне в воздухе появлялось ослепительно-холодное белое пламя снега.

В чем тайна Стамбула? Не в том ли, что здесь за открытостью всем внешним влияниям скрыта замкнутая и недоступная чужакам жизнь? Не в том ли, что за обращенным ко всему миру великолепием исторических зданий и нерукотворных пейзажей прячутся нищета и искаженные, рвущиеся связи между людьми? Но что бы ни сказали мы о городе, о его характере, духе и атмосфере — все это в большей степени будет относиться к нам самим, к нашей жизни и нашему душевному состоянию. У города нет иного центра, кроме нас самих.

Почему же я тем мартовским днем 1972 года, сбежав из университета и сев на пароход, идущий в Эюп, почувствовал такое единение со всеми стамбульцами? Может быть, я хотел убедить себя в том, что моя несчастная любовь и утрата радости, которую дарила мне живопись (а ведь я думал, что посвящу ей всю жизнь), не так уж важны по сравнению с великой печалью Стамбула. Возможно, глядя на поверженный, унылый, грустный город, я пытался заглушить свою собственную боль. Однако, в отличие от героев турецких мелодрам, изначально отравленных печалью и потому обреченных на поражение «в любви и в жизни»,

я не пытался объяснить свою боль печалью города. Мой случай был особым, и я ни с кем не желал делиться своей болью. «Особенность» же моего «случая» заключалась вот в чем: никто из моих родственников и близких даже не пытался делать вид, что принимает всерьез мое желание стать художником. Что же касается стамбульских художников и вообще людей искусства, то их взгляд был прикован к Западу настолько, что они вовсе не видели своего родного города, — они изо всех сил стремились соответствовать новой эпохе, миру троллейбусов и рекламы банковских услуг. Расплатой за возможность видеть город была печаль, но я еще не привык к ней — может быть, я даже был наименее печальным человеком во всем Стамбуле, ибо еще не расстался со счастливым ребенком, жившим в моей душе. Я не хотел привыкать к этому чувству, не желал признавать, что оно уже проникло в мою душу, и, охваченный тоскливым беспокойством, пытался найти спасение исключительно в «красотах» Стамбула. Почему мы думаем, что красота, история и таинственная атмосфера города могут излечить наши душевные раны? Возможно, свой город, как и свою семью, мы любим просто потому, что у нас нет другого выхода. Но ведь необходимо понять, что именно мы любим в городе, и объяснить себе, почему.

Когда пароход приближался к Хаскёю, я понял причину своей привязанности к Стамбулу: несмотря на всю мою растерянность и тоску, город предлагал более глубокое знание о жизни, чем я мог бы получить в университете, и дарил утешение. За дрожащими стеклами парохода проплывали старые ветхие дома, полупустые греческие кварталы Фенера, брошенные обитателями из-за никак не прекращающихся притеснений со стороны государства, дворец Топкапы, выглядящий на фоне черных туч еще более таинственным, чем обычно, Сулеймание, стамбульские холмы, силуэт города, созданный очертаниями церквей и мечетей. Здесь, среди древних камней и почерневшего дерева, сплетались в единое целое история, руины и живая жизнь; пусть меня оставила радость рисования — эти далекие кварталы, казалось, были готовы стать для меня новым «вторым миром». Как я хотел раствориться в их поэтическом лабиринте! Точно так же как в детстве, заскучав в полумраке бабушкиного дома или на уроках в школе, я укрывался в мире своего воображения, теперь, утомившись от лекций по архитектуре, я исчезал в переплетении стамбульских улиц. Теперь я всем сердцем желал принять стамбульскую печаль как судьбу, как неизбежную плату за жизнь в этом городе — и найти в печали успокоение.

Из долгих блужданий по городу (каждый раз я где-нибудь перекусывал) я возвращался в нормальный мир, то есть домой, с

какой-нибудь находкой, будь то вышедший из употребления телефонный жетон с зазубренными краями, странный предмет, который я шутливо представлял приятелям как «помесь обувного рожка и открывалки для бутылок», кусочек кирпича, отвалившийся от тысячелетней стены, банкнота царской России (их в те годы у любого стамбульского старьевщика были целые кипы), печать тридцать лет назад разорившейся компании, гирьки весов или дешевые старые книги (ближе к концу моих прогулок ноги сами собой неизменно приводили меня на книжный рынок). Меня привлекали не только вещественные следы стамбульской жизни: в не меньшей степени я интересовался посвященными Стамбулу книгами и статьями. Я собирал любого рода сведения, напечатанные на бумаге, например, казавшиеся мне интересными и «важными» программки и старые расписания движения пароходов. В глубине души я понимал, что не буду хранить эти вещи и документы вечно, что, позабавившись ими немного, я вскоре про них забуду, что мне никогда не стать настоящим коллекционером или собирателем сведений, подобным Кочу. Вначале, впрочем, я говорил себе, что однажды из моего собрания вырастет нечто значительное — большая картина, серия картин или роман вроде тех, что писали Толстой, Достоевский и Манн, чьи книги я читал в то время. Иногда, с особенной остротой и неизбежной печалью ощущая поэтическую суть города, воплотившуюся в остатках имперского величия, исторических памятниках и всякого рода странных и старинных предметах, собираемых мною, я начинал воображать, что мне, мне одному удалось понять эту суть. Я принял печаль Стамбула и как нечто чуждое моей счастливой и особенной жизни, и как судьбу, как неизбежность, уготованную мне моим городом, и теперь, говорил я себе с гордостью, я могу увидеть Стамбул в окне парохода таким, каким никто и никогда не мог его увидеть!

В моменты подобных поэтических прозрений я воспринимал любой предмет, любое сведение, связанное со Стамбулом, с таким благоговением, словно это было прекрасное произведение искусства или драгоценный музейный экспонат. Благоговение вызывали у меня, например, самые что ни на есть прозаические данные о том самом пароходе с дребезжащими стеклами. Сейчас я вас с ними ознакомлю.

У него было имя — «Коджаташ». Он и его брат-близнец были построены в 1937 году на верфи Хаскёя, на берегу Золотого Рога, и оснащены двигателями 1913 года сборки, снятыми с яхты «Ниметуллах», принадлежавшей некогда хедиву (губернатору Египта) Аббасу Хильми-паше. Возможно, дребезжание стекол свидетельствовало о том, что двигатель не совсем подходил

своему новому судну. (Любовь к такого рода подробностям позволяла мне чувствовать себя истинным стамбульцем, обостряла мою печаль и делала более подлинным мой страх перед жизнью.) Высадив меня в Эюпе, маленький «Коджаташ» продолжал исправно нести службу вплоть до 1984 года.

Растрепанные книги, визитные карточки, старинные открытки, драгоценные для меня сведения — все это было доказательством «реальности» моих бесцельных блужданий; эти предметы и знания «овеществляли» мои грезы о городе, давали мне понять, что Стамбул — не воображаемый «второй мир», вроде того, что дарил мне счастье в детстве, а реальность, имеющая нечто общее с мечтой. Я был словно тот герой Кольриджа, что проснулся, держа в руке розу своих снов.

А вот Эюп, маленький опрятный район в самом конце Золотого Рога, где я сошел с «Коджаташа», представлялся мне каким-то нереальным, ненастоящим. Эюп был настолько совершенным воплощением образа замкнутого, таинственного, живописного мистического «Востока», что мне каждый раз казалось, будто я попал в чью-то чужую грезу о Стамбуле, в этакий турецко-мусульманский восточный Диснейленд. В чем тут причина? В том ли, что Эюп находится за пределами городских стен и, следовательно, в нем не чувствуется византийского влияния и нет типично стамбульского беспорядочного наслоения следов различных эпох? Или в том, что живописные кладбища, деревья, дома сливаются здесь в единое целое? Может быть, из-за окружающих Эюп высоких холмов сюда раньше приходит вечер? А может, из религиозных и мистических соображений жители Эюпа решили, что все в их районе должно быть скромным и маленьким, желая таким образом отдалиться от величественной мощи Стамбула — мощи, плодящей грязь, ржавчину, дым, трещины, трущобы, руины? Эюп так нравится всем приезжающим в Стамбул в надежде найти здесь «восточную романтику» именно потому, что находится в стороне от вечно обновляющегося и европеизирующегося центра, от бюрократии, государственных органов и административных зданий. Совершенство, «неиспорченность» Эюпа так понравились, например, Пьеру Лоти, что он даже купил здесь дом, но меня эта восточная сказка неизменно раздражала — как раз своим совершенством. Поэтому, едва я сошел в Эюпе с парохода, радостная печаль, подаренная мне трущобами и историческими пейзажами Золотого Рога, испарилась. Постепенно я начинал понимать, что люблю Стамбул за его руины, за его печаль, за былое, ныне утраченное величие. Поэтому я покинул Эюп и направился в другие места на поиски дарящих мне счастье развалин.

37
Разговор с мамой: терпение, осторожность, искусство

Многие годы мама проводила вечера в одиночестве, сидя в гостиной и дожидаясь возвращения папы. Папа по вечерам бывал в бридж-клубе, а потом отправлялся еще куда-нибудь, так что домой возвращался чаще всего за полночь, когда мама, устав от ожидания, ложилась спать. Мы с мамой ужинали вдвоем («У меня много дел, приехать не смогу, ужинайте без меня», — говорил папа по телефону), а потом она расстилала на столе кремовую скатерть и приступала к пасьянсу. Переворачивая одну за другой карты из двух колод (по пятьдесят две в каждой) и раскладывая их, в зависимости от ценности и масти, мама не стремилась заглянуть в будущее или нагадать себе что-нибудь хорошее; для нее главным в пасьянсе была тренировка терпения (*patience* ведь, собственно говоря, и означает «терпение»). Поэтому каждый раз, когда я заходил в гостиную и спрашивал, что говорят карты, она неизменно отвечала:

— Я не гадаю, сынок, я просто пытаюсь занять чем-нибудь время. Который час? Разложу еще разок и пойду спать.

Сказав это, она бросала взгляд на черно-белый телевизор (тогда в Турции это была еще новинка), где шел какой-нибудь старый фильм или происходило обсуждение традиций Рамазана (в те годы существовал только один телевизионный канал, отражавший точку зрения государства), и добавляла:

— Я это не смотрю, если хочешь, можешь выключить.

Но я иногда оставался посмотреть футбольный матч или фильм, действие которого происходило на черно-белых улицах моего детства. Меня не очень занимало происходящее на экране — просто хотелось отвлечься от переживаний, гнева и растерянности, переполнявших мою душу, когда я запирался в своей комнате, и немного поговорить с мамой.

Мы говорили с ней каждый вечер, и порой беседа перерастала в ожесточенный спор. Потом я раскаивался в своей несдержанности, уходил к себе и читал до самого утра. Иногда, разругавшись с мамой, я выбегал из дома в промозглую стамбульскую ночь и бродил по пустым зловеще-темным улицам Таксима и Бейоглу, куря одну сигарету за другой, и, продрогнув до костей, возвращался домой, когда весь город и мама уже крепко спали. Ложился спать я под утро, часа в четыре, и вставал

после полудня — эта привычка осталась со мной на следующие двадцать лет.

Причиной наших споров и ссор — иногда явной, иногда скрытой — было то, что зимой 1972 года, будучи на втором курсе архитектурного факультета, я практически прекратил ходить на занятия, если не считать тех, которые был вынужден посещать, чтобы не быть отчисленным.

Порой я нерешительно говорил себе, что, даже если я и не стану архитектором, у меня, по крайней мере, будет университетский диплом — то же самое неустанно повторяли мне папа и друзья. По маминому мнению, такая позиция только делала мои перспективы еще более туманными. Как бы то ни было, я уже твердо знал, что архитектором мне не быть. Но что еще хуже — я понимал, что радость, которую дарила мне живопись, умерла, оставив после себя горькую пустоту. Понимал я и то, что чтение до утра и ночные блуждания по улицам Бейоглу и Бешикташа не могут заглушить во мне жажду укрыться в «другом мире». Я был растерян, я не знал, что мне делать, и поэтому порой в смятении вскакивал с места и пытался «все ей объяснить». Но я не знал, зачем я это делаю, и более того — не знал, что именно я хочу объяснить, так что наши с мамой споры превращались порой в подобие борьбы вслепую.

— В юности я была такой же, как ты, — говорила, например, мама (возможно, как я впоследствии думал, специально для того, чтобы вывести меня из себя). — Я пыталась спрятаться от жизни, как ты. Мои сестры ходили в университет, вращались среди интеллектуалов, посещали балы и вечеринки, а я сидела дома и часами тупо листала «Иллюстрасьон», журнал, который выписывал твой дедушка.

Мама замолкала, пытаясь понять, произвели ее слова на меня какое-нибудь впечатление или нет, затягивалась сигаретой и добавляла:

— Я была очень застенчивой, боялась жизни.

От этого ее «как ты» во мне начинал закипать гнев, и я изо всех сил пытался сдержаться, повторяя себе, что она говорит так только потому, что желает мне добра. Но за маминими словами крылось другое, более глубокое убеждение — мне невыносимо было сознавать, что мама его разделяет, и, может быть, поэтому я и спорил, и ссорился с ней. Я отводил взгляд от экрана и, глядя в окно, на медленно ползущие огни пароходов, начинал думать об этом доводящем меня до белого каления убеждении.

В отличие от моей мамы, никогда не говорившей этого вслух, ленивые стамбульские буржуа и разделявшие их взгляды журналисты в моменты дерзкого пессимизма неизменно

повторяли: «Здесь не может появиться ничего хорошего».

Пессимизм этот, несомненно, связан с печалью, сломившей волю стамбульцев, но ведь корни печали — в бедности и чувстве утраты, так почему же в пессимизм впадают благополучные стамбульские богачи? Возможно, потому, что богатство досталось им случайно. Возможно также, что они хотят найти оправдание тому, что им не удалось создать ничего похожего на замечательные произведения западной цивилизации, подражая которой, они надеялись скрыть незаслуженность своих богатств.

У мамы, впрочем, были свои причины для пессимизма. После свадьбы и рождения сыновей мой отец словно задался целью сделать ее несчастной. Его постоянные отлучки, наше постепенное обеднение — когда мама выходила замуж, она не могла даже представить себе, что столкнется с такими проблемами, — привели к тому, что она жила в постоянном ожидании новых ударов судьбы и была готова им противостоять. В детстве, когда мы с мамой и братом ходили в кино, в парк или за покупками и мама замечала направленные на нее взгляды незнакомых мужчин, на ее лице появлялось настороженное и сосредоточенное выражение, говорящее о ее решимости оградить себя и свою семью от любой опасности, грозящей извне. Если мы с братом начинали драться на улице, я чувствовал, что она не только разгневана и огорчена, но и боится за нас и хочет нас защитить.

Мамина осторожность чаще всего проявлялась в бесконечных наставлениях: будьте нормальными, будьте обычными, будьте как все, не привлекайте к себе внимания, говорила она нам с братом. Такой взгляд на жизнь многим обязан традиционной морали, пропитанной суфийским стремлением быть скромным и довольствоваться малым, — но он никак не мог помочь маме понять, почему человек вдруг ни с того ни с сего, под каким-то непонятным предлогом может решить уйти из университета. Я не должен был воспринимать себя настолько серьезно, не должен был придавать такое значение своим пристрастиям и убеждениям; и если уж мне и следовало к чему-нибудь стремиться с такой страстью, так это к тому, чтобы быть трудолюбивым, честным, достойным, не выделяющимся из толпы человеком. Живопись, искусство, творчество — только европейцы имеют право принимать подобные вещи всерьез, словно бы хотела сказать мама, а вовсе не мы, обитатели Стамбула второй половины XX века, представители цивилизации, потерявшей былое величие и мощь, впавшей в бедность и безволие. Не забывай, что здесь нет и не может быть ничего хорошего, — иначе пожалеешь потом, да будет поздно.

Иногда, пытаясь придать больший вес своим словам, мама рассказывала, что назвала меня Орханом потому, что любила султана Орхана больше всех других османских правителей. Орхан не стремился к великим свершениям, не пытался поразить воображение своих подданных пышной роскошью и прожил скромную жизнь, не пускаясь в авантюры, — поэтому учебники истории говорили о втором османском султане с большим почтением, но не очень задерживались на эпохе его правления. Рассказывая о выборе моего имени, мама улыбалась, но было ясно, что ей очень хочется, чтобы я понял, какое значение она ему придавала.

Поэтому каждый раз, выходя из своей комнаты и начиная спор с ожидающей отца мамой, я знал, что пытаюсь найти аргументы не только против печальной и скромной жизни, уготованной мне Стамбулом, но и против планов моей мамы, мечтавшей, чтобы ее сын прожил самую что ни на есть обычную жизнь. Бывало, я спрашивал себя, зачем снова выхожу из своей комнаты и возобновляю этот бесконечный спор, — но не мог найти внятного ответа и чувствовал, что в моей душе происходят странные движения, значение которых оставалось непонятным для меня самого.

— Ты любил пропускать занятия еще в школе, — сказала мама — Говорил, что у тебя, мол, болит живот или поднялась температура. Когда мы жили в Джихангире, это в конце концов превратилось у тебя в привычку. И вот, когда ты в очередной раз сказал мне, что заболел и не пойдешь на занятия, я закричала: «Ну, хватит! Больной ты или нет, а в школу отправишься немедленно! Не хочу тебя здесь видеть!»

Мама рассказывала эту историю очень часто, возможно, потому, что знала, как она действует мне на нервы. Добравшись до кульминационного момента, она каждый раз сначала улыбалась, потом делала эффектную паузу, затягивалась сигаретой и наконец, не глядя в мою сторону, но всегда очень довольным тоном прибавляла:

— И с тех пор ты ни разу не говорил мне, что заболел и не пойдешь на занятия.

— Значит, скажу сейчас! — запальчиво произнес я. — Ноги моей больше не будет в университете!

— И чем же ты собираешься заниматься? Будешь, как я, сидеть целыми днями дома?

Во мне начинало расти желание разругаться с мамой, выскочить, хлопнув дверью, из дома и отправиться бродить в полузабытьи, словно пьяный или умалишенный, по темным улочкам ночного Бейоглу, куря сигареты и убеждая самого себя,

что ненавижу все и всех на свете. В те годы я порой часами ходил по вечернему и ночному городу, глядя на витрины, окна ресторанов и полутемных кафе, на мосты, фасады кинотеатров и буквы рекламных плакатов, на грязь, слякоть и капли дождя, падающие в темные лужи на тротуарах, на неоновые лампы, фары машин и роющихся в мусорных баках собак, — и вдруг, на самой узкой и печальной улочке самого далекого квартала, меня охватывало желание побежать быстрее домой и облечь в слова живущий во мне образ темного, таинственного и усталого города, похожего на лабиринт. Это новое желание было таким же властным и необоримым, каким некогда было желание рисовать, но я еще толком не знал, как его осуществить.

— Кажется, лифт поднимается? — спросила мама.

Мы прислушались, но за дверями была тишина. Отец еще не приехал. Мама снова с поражающим меня спокойствием вернулась к пасьянсу. Некоторое время я молча смотрел на нее. В детстве я очень любил наблюдать за движениями ее рук, но, если она сердилась, эти же самые движения ранили мне душу. Сейчас я был в растерянности, и рвущаяся наружу злость боролась во мне с безграничной любовью. Четырьмя месяцами ранее маме после долгого расследования удалось обнаружить в Меджидийекёе квартиру, где папа встречался со своей любовницей. Искусно выманив у швейцара ключ, она проникла туда, и ее глазам предстала картина, которую после она описала мне с удивительным хладнокровием. На подушке лежала точно такая же пижама, какую папа одевал дома, а на столике у изголовья так же, как дома, громоздилась башня из книг по бриджу.

Долгое время мама хранила молчание об увиденном, и лишь несколько месяцев спустя, однажды вечером, когда она, как всегда, раскладывала пасьянс, курила и краем глаза поглядывала на экран телевизора, а я в очередной раз вышел из своей комнаты, чтобы поговорить с ней, она вдруг выложила мне эту историю. Заметив, что мне вовсе не хочется все это слушать, мама прервала себя на полуслове, но с тех пор, вспоминая о том другом папином доме, я не мог удержаться от внутренней дрожи. Отец, казалось мне порой, сделал то, что никак не удавалось мне: нашел своего двойника, своего близнеца, и с этим двойником, а вовсе не с любовницей, встречается он каждый вечер. Думая об этом, я с особенной силой ощущал некий изъян в своей душе и в своей жизни.

— Так или иначе, но тебе необходимо окончить университет — сказала мама, не отрываясь от пасьянса — Живописью не прокормишься, тебе придется работать. Мы ведь уже не так богаты, как раньше.

— Неправда, — ответил я, потому что давно подсчитал: даже если я проведу всю жизнь в полном безделье, родительских денег должно хватить на вполне безбедное существование.

— Так ты думаешь, что сможешь зарабатывать живописью?

Ожесточение, с которым мама ткнула сигаретой в пепельницу, легкая насмешка и снисходительность в ее тоне и то, что она не отрывалась от своего пасьянса, с видимым безразличием обсуждая столь важную для меня тему, — все это говорило о том, что мы полным ходом приближаемся к очередной ссоре.

— Здесь не Париж, милый мой, а Стамбул, — сказала мама почти с радостью в голосе. — Будь ты даже самым лучшим в мире художником, никто не обратит на тебя ни малейшего внимания. Ты останешься в полном одиночестве. Никто не поймет, почему ты отказался от замечательного будущего и все бросил ради того, чтобы стать художником. Если бы мы жили в богатой стране, где ценят искусство, тогда еще может быть… Но ведь даже в Европе все знают, что Ван Гог и Гоген были немного сдвинутыми.

Очевидно, мама не забыла папиных рассказов об экзистенциалистской литературе, которую он запоем читал в 1950-е. Чтобы проверить достоверность этих сведений, мама часто заглядывала в потрепанный, пожелтевший энциклопедический словарь, поэтому я язвительно заметил:

— Уж не говорит ли твой «Пти Лярусс», что все художники сумасшедшие?

— Не знаю, сынок. Очень талантливый и трудолюбивый художник, если ему повезет, может прославиться — в Европе. А здесь ты рано или поздно сойдешь с ума. Не обижайся. Я говорю это только потому, что не хочу, чтобы ты потом раскаивался.

Меня душила злоба. Как она может говорить такое — каждое ее слово ранило мою душу, — словно бы вскользь, спокойно продолжая раскладывать пасьянс?

— Что именно должно было меня обидеть? — спросил я, будто мне было мало.

— Я не хочу, чтобы кому-нибудь пришло в голову, что ты переживаешь психологические трудности, и поэтому не рассказываю своим знакомым, что ты перестал ходить на занятия. Они не из тех, кто может понять, почему такой человек, как ты, бросил университет, чтобы стать художником. Они решат, что ты спятил, начнут распускать слухи…

— Да расскажи ты им, сделай милость! Я потому и хочу все бросить, чтобы не стать идиотом, как они!

— Нет, ты этого не сделаешь, — сказала мама. — В конце концов ты, как в детстве, возьмешь свой портфель и потопаешь на

уроки.

— Я точно знаю, что не хочу быть архитектором.

— Сынок, потерпи еще два года, получи диплом, а там уж решай, кем быть — архитектором или художником.

— Нет!

— Знаешь, что думает Нурджихан о твоем желании бросить архитектуру? — спросила мама, явно желая уязвить меня посильнее. — Тебя очень расстраивают наши с папой ссоры и его похождения на стороне, поэтому ты и не ходишь в университет, вот что она думает.

— Мне плевать, что думают обо мне твои безмозглые подруги из высшего общества! — крикнул я вне себя от ярости. Я знал, что она специально пытается разозлить меня, но каждый раз попадался в ловушку — меня охватывал приступ нестерпимого гнева.

— Ты очень горд, сынок. Но мне это нравится, потому что гордость и есть самое главное в жизни, а вовсе не какое-то там искусство. В Европе многих именно гордость приводит в искусство — там к художнику относятся не как к жулику или ремесленнику, там он царь и бог. Но неужели ты думаешь, что здесь сможешь быть художником и при этом оставаться таким же гордецом? Эти люди ничего не понимают в живописи — а тебе нужно будет добиться у них признания, заставить их покупать картины. Для этого тебе придется пресмыкаться перед государством и денежными мешками, а самое отвратительное — перед невежами-журналистами. Сможешь?

Во мне кипела ярость, удивлявшая меня самого своим накалом, и голова шла кругом от мучительного желания вскочить с места и выбежать на улицу. Но я сдерживался, желая довести до предела это столкновение, причинявшее боль каждому из нас и заставлявшее причинять боль другому, потому что знал: после того как мы выскажем друг другу все, что накопилось у нас на душе, я все равно хлопну дверью и уйду бродить по городу. Я пойду по разбитым тротуарам, мимо тусклых или вовсе погасших фонарей, по вымощенным брусчаткой узким печальным улицам, испытывая извращенное счастье принадлежности к этим унылым, грязным, бедным кварталам. Перед моими глазами будут проплывать образы, грезы и видения, наполняющие меня радостью, доступной только нищему, живущему мечтой о великих свершениях.

— Флобер вот тоже всю жизнь прожил в доме своей матери — продолжала мама все тем же то ли сочувственным, то ли снисходительным тоном, внимательно переворачивая карты. — Но я не хочу, чтобы ты всю свою жизнь просидел у меня под

боком. Одно дело Франция — там уж если про кого скажут, что он, мол, великий писатель или художник, так хоть трава не расти. А здесь ты или сопьешься, или угодишь в сумасшедший дом. Ты и сам прекрасно знаешь, что будешь несчастным, если попытаешься быть только художником. Если у тебя будет профессия, работа, то, поверь мне, ты будешь чувствовать себя увереннее, а живопись будет приносить тебе гораздо больше радости.

Почему в моменты гнева и тоски меня так утешали полуночные прогулки и призрачные мечты? Почему я любил не роскошные солнечные пейзажи, наводняющие туристические проспекты и печатающиеся на открытках, а полутемные бедные улочки, холодные зимние вечера и ночи, смутные тени редких прохожих в тусклом свете фонарей и всеми ныне позабытую брусчатку?

— Пойми, если ты не станешь архитектором или не найдешь себе какую-нибудь другую работу, ты станешь одним из этих несчастных, унылых и запуганных турецких художников, пресмыкающихся перед богачами и власть имущими. В этой стране никто и никогда не сможет прокормить себя живописью. Тебя будут презирать и унижать, ты потеряешь веру в свои силы, и всю жизнь тебя будут преследовать тоска и тревога. Разве такой жизни ты заслуживаешь — ты, умный, красивый, полный энергии молодой человек?

Я представлял себе, как спускаюсь с холма к Бешикташу и, вместо того чтобы сесть на долмуш, иду пешком вдоль стены дворца Долмабахче до самого стадиона. Мне нравилось ходить в ночной темноте вдоль этой высоченной толстой стены, почерневшей от времени и поросшей мхом. Если бушующий во мне гнев к тому времени не уляжется, говорил я сам себе, тогда я пойду вверх по склону и через двенадцать минут буду на Таксиме.

— В детстве ты всегда был таким улыбчивым, веселым, жизнерадостным, милым мальчиком! Никто не мог удержаться от улыбки, глядя на тебя. Не только потому, что ты был симпатичным, — тебе неведомо было, что такое грусть и уныние, ты никогда не скучал и даже в самые тяжелые дни не ныл и не хныкал, а придумывал себе какие-нибудь игры и был счастлив. И чтобы такой мальчик превратился в угрюмого, несчастного, униженного художника — нет, я не смогла бы это вынести, даже если бы ты не был моим сыном. Пожалуйста, не обижайся и подумай над моими словами.

Поднимаясь к Таксиму, я брошу взгляд на мерцающие в темноте огоньки Галатского моста, потом, в Бейоглу, первым делом загляну в книжную лавку в начале улицы Истикляль, а

затем зайду в пивную, в которой будет очень шумно от гула голосов и включенного телевизора, закажу себе пива с водкой, закурю, как все вокруг, и начну оглядываться по сторонам: нет ли поблизости какого-нибудь знаменитого поэта или писателя. Почувствовав, что привлекаю внимание усатых посетителей пивной (потому что оглядываюсь по сторонам и выгляжу совсем еще ребенком), я встану, выйду за дверь и растворюсь в ночной темноте. Пройдясь немного по Истиклялю, я сверну в переулок и отправлюсь в Чукурджуму, Галату или Джихангир гулять по мокрым тротуарам, в которых будет отражаться свет фонарей и мерцание телевизионных экранов, и там, остановившись, чтобы посмотреть на лавку старьевщика или красующийся в витрине самой обычной бакалейной лавки холодильник, или на знакомый мне с детства манекен в витрине аптеки, я вдруг пойму, как же я на самом деле счастлив. Ослепляющий, прекрасный и чистый гнев, бурлящий во мне сейчас, когда я слушаю мамины слова, через час, на промозглых улочках Бейоглу, Ускюдара или Фатиха превратится в страстное желание, озаряющее ярким светом все мое будущее. К тому времени моя голова слегка закружится от выпитого пива и долгого пути пешком, и грязные, темные, печальные улицы будут немного подрагивать перед глазами, словно в одном из моих любимых старинных фильмов, и мне станет так хорошо и радостно, что захочется схватить, задержать, спрятать этот волшебный момент (так в детстве я часами мог прятать за щекой шарик или вкусную ягоду), вернуться домой, сесть за стол и начать что-нибудь писать или рисовать.

— Видишь ту картину на стене? Мне ее подарила на свадьбу Нермин. Когда она сама выходила замуж, мы с папой решили подарить ей картину того же самого художника и нанесли ему по этому поводу визит. Если бы ты видел, сынок, до чего обрадовался самый знаменитый художник Турции, что в его дверь в кои-то веки постучались покупатели, как тщательно, но безуспешно пытался он скрыть свою радость, как он кланялся чуть не до земли, когда мы уходили из его дома с картиной в руках, — ты бы никому не пожелал стать художником в этой стране. Вот почему я не рассказываю знакомым, что ты перестал ходить в университет. Когда эти люди — «безмозглые», по твоему выражению, — узнают, что ты отказался от ожидавшего тебя прекрасного будущего, бросил университет и собрался зарабатывать на жизнь живописью — что ж, может, они и купят у тебя картину-другую, из жалости или чтобы посмеяться надо мной и над папой. Но они никогда не позволят своим дочерям выйти замуж за художника. Почему, как ты думаешь, отец той милой девочки, которую ты рисовал, отправил ее в Швейцарию,

едва только узнал, что она в тебя влюблена? В нашей нищей стране, среди безвольных, слабых и невежественных людей ты сможешь, не сломавшись, прожить такую жизнь, какую ты заслуживаешь, только если у тебя будет настоящая профессия, только если ты будешь богат. Поэтому, сынок, пожалуйста, не бросай учебу, иначе будешь потом горько раскаиваться. Вот этот твой Ле Корбюзье — он ведь тоже хотел стать художником, но выучился же на архитектора!

Желание убежать и раствориться в ночных улицах Бейоглу, смешанное с чувством вины, неоновым светом мерцало в моей голове. Теперь я понял, что эти темные, грязные, зловещие, любимые мои улицы давно уже заменили мне утраченный второй мир. Я знал, что сегодня не буду ссориться с мамой, — потому что сейчас открою дверь и уйду, и город утешит меня; а после, вернувшись домой, я сяду за стол и попытаюсь облечь в слова магическую атмосферу его улиц.

— Я не буду художником. Я стану писателем.

О фотографиях

Отбирая фотографии для этой книги, я испытывал то же волнение и порой замешательство, которые сопровождали и ее написание. Большая часть фотографий взята из архива Ары Гюлера, находящегося в его доме (одновременно это и фотостудия, и музей) в Бейоглу, где он провел почти всю свою жизнь. Изучая этот архив, я часто сталкивался с хорошо мне знакомыми в детстве, но с тех пор забытыми образами старого Стамбула (например, буксир, опускающий трубу, чтобы пройти под мостом, на стр. 371–372) — при встрече с ними я испытывал ностальгию по былым временам и одновременно удивление: до чего же странным все тогда было. Иногда фотография с удивительной точностью воспроизводила мои собственные, личные воспоминания (например, фотография заснеженного Галатского моста на стр. 411). Архив Ары Гюлера, представляющийся мне поистине неисчерпаемым, — уникальная сокровищница стамбульских пейзажей и образов стамбульской жизни с 50-х годов XX века до наших дней.

Вот список фотографий Ары Гюлера, приведенных в этой книге: стр. 5, 10–11, 47, 49, 55, 58–59, 61, 64–65, 67, 75 (вверху), 78–79, 125, 127, 130, 131, 133, 135, 136, 139, 144, 148, 187, 231, 240, 268, 292, 300, 302, 323, 327, 328, 331, 336, 338–339, 340, 342, 345, 366–367, 368, 369, 371–372, 373, 382, 400, 411, 420–421, 422, 423, 450, 454, 455, 456–457, 463, 464–465, 468–469, 477, 482, 486, 488.

Селахаттин Гиз (р. 1912) начал фотографировать Стамбул еще будучи учеником Галатасарайского лицея и продолжал заниматься этим все сорок два года, в течение которых работал фотокорреспондентом газеты «Джумхурийет». Работая в его архиве, я чувствовал, что мне дарован доступ в тайный волшебный мир — возможно, потому, что Гизу, как и мне, нравились безлюдные пустые улочки и пейзажи заснеженного Стамбула. Фотографии Селахаттина Гиза находятся на стр. 46, 52, 53, 62, 63, 73, 76, 77, 82, 86, 88, 115, 128, 146, 174, 185, 186, 188, 18д, 190, 228, 229, 276, 278.

Мне бы хотелось выразить благодарность мэрии Стамбула за любезно предоставленную возможность опубликовать в этой книге фотографии другого стамбульского журналиста и фотографа, Хильми Шахенка, на стр. 56, 66, 132, 274, 309, 374, 399, 409, 451–452, 458–459, 460–461.

Фотография Айя-Софии на стр. 297 была сделана Джеймсом Робертсоном в 1853 году.

На стр. 295, 299, 304, 306 опубликованы фотографии, сделанные братьями Абдуллахами, владельцами фотостудии, существовавшей в Стамбуле в последней четверти XIX века.

Отбирая материал для книги, я обнаружил, что издатель почтовых открыток Макс Фрухтерман также использовал некоторые фотографии братьев Абдуллахов.

Фотографии на стр. 72, 74, 81, 84, 301, 303, 306, 321, 334, 335, 376–377 взяты с открыток Макса Фрухтермана.

Авторство попавших ко мне через вторые руки старых фотографий на стр. 177, 180, 182, 205, 208, 289, 305, 332 мне, несмотря на все старания, установить не удалось.

Приношу благодарность Фонду Ле Корбюзье за разрешение опубликовать рисунок Ле Корбюзье (стр. 57).

Гравюра на стр. 69 сделана Томасом Алломом, рисунок на стр. 341 — Ходжой Али Рызой, картина «Лежащая женщина» на стр. 439 принадлежит кисти Халил-паши.

Гравюры на стр. 91, 92, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 288 выполнены Меллингом.

Семейные фотографии из моего архива сделаны моим отцом, хотя авторство некоторых из них, возможно, принадлежит маме или дяде. Как уже говорилось в главе 28, фотографии Джихангира и Бешикташа были сделаны мной самим, равно как и фотография вымощенной брусчаткой аллеи на стр. 119 (этот снимок очень нравится мне до сих пор).

Айя-София 227, 298, 329–330, 335. 365
Акынтыбурну 84
Амбарлы 410
Анадолухисары 335
Ашиян 84–85, 445
Аязпаша 147
Бабыали 176, 179, 215
Багдадский проспект 426
Байрамоглу 427, 429
Бакыркёй 259
Балат 303
Балыклы 231, 451
Бебек 73–74, 88, 97, 249, 400, 404, 435, 445
Бейазыт 184, 226, 298, 335, 435
Бейкоз 274–275, 283
Бейоглуз5, 91, 94, 117, 145–147, 173, 190–191, 227, 231–232, 277, 285, 298, 301, 337, 342–343, 353, 399, 402–403, 434, 443, 473, 477, 486–487, 489
Бешикташ 83, 92, 100, 265, 271, 349, 363, 436, 473, 483
Босфор 23, 29, 39, 45, 55, 62, 64, 71–74, 76–77, 80, 82–89, 92, 95–97, 99, 103–104, 111, 117–118, 120, 132–133, 143, 147, 152, 163, 200, 208, 224, 247, 254, 256, 258, 264–265, 267–275, 279–281, 283–286, 312, 329, 248–350, 352–353, 360–363, 374–375, 401, 410–411, 413–414, 419, 423, 433, 436, 445, 451
Бюйюкада 250
Бююкчекмедже 410
Везнеджилер 435
Галата 60, 131, 146, 379, 415, 450, 487
Галатасарай 450
Галатский мост 51, 65, 128, 131, 200, 301, 309, 317, 365, 372,411,455,486
Гёзтепе 206, 211, 215
Гёксу 22, 72
Гюльхане 131
Девичья башня 98, 267, 349, 352, 365
Дефтердарбурну 92
Джибали 346, 459
Джихангир 10, 60, 99, 113, 117–118, 146, 265–267, 276, 349–353, 357, 379, 432, 436, 438, 441–442, 450, 476, 487
Долмабахче 43, 329, 439, 483
Зейрек 60, 435, 459

Золотой Рог 80, 131, 188, 200, 278, 298, 301,330, 435, 451, 455, 459, 467, 470–471
Истикляль 232, 288, 486
Истинье 87, 108, 275, 400
Йеникёй 274, 283
Йылдыз 43, 287
Кабаташ 210
Кадыкёй 129
Кандилли 73, 100, 445
Канлыджа 73, 274
Капалычаршы 226, 436
Каракёй 129, 189, 200
Карйагды Байыры 200
Касымпаша 450
Коджамустафапаша 322, 450
Куртулуш 450
Куручешме 45, 92, 250
Кючюксу 72
Ланга 15
Мачка 51, 287, 298, 404, 425
Меджидийекёй 414, 478
Мода 15
Нишанташи 10, 43, 46, 51, 73, 120, 147, 173–174, 224, 240, 255, 259, 404, 414–415, 434–435, 451
Нуросманийе 436
Ортакёй 92, 231, 400
Османбей 50
Пангалты 414
Пера 152, 154, 449
Румели 442
Румелихисары 73, 85–86, 228, 284, 335, 365, 400, 445
Рустемпаша 344
Саматья 231, 303
Сарайбурну 298, 349-350
Сарыер 83
Сахафлар 435
Сивриада 320
Суадийе 404
Сулейманийе 298, 335, 415, 435, 466
Султан-Ахмет 101, 199, 298
Таксим 23, 51, 73, 87, 146, 173, 288, 375, 399, 404, 414–415, 434–435, 437, 443, 449–450, 455, 473, 483, 486
Талимхане 414–415
Тарабья 71, 96, 273, 284

Тарлабаши 353
Тешвикийе 44, 48, 259, 287
Топагаджи 414
Топкапы 43, 99, 297, 349, 381, 466
Топхане 99, 101
Тюнель 51, 288, 298
Ункапаны 301
Ускюдар 60, 98, 130, 296, 349, 363, 450, 487
Фатих 60, 283, 450, 459, 487
Фенер 231, 303, 459, 466
Ферикёй 450
Фындыклы 349
Хайдарпаша 187, 267, 283
Халаскаргази 414
Харбийе 15, 50, 404, 414
Хаскёй 466–467
Хейбелиада 21, 70, 111
Чубуклу 274
Чукурджума 487
Шишли 26, 404, 414–415
Эдирнекапы 184
Эминоню 200–201
Эмирган 73, 88, 274, 279, 400
Эренкёй 108, 404
Эюп 99, 131, 200, 462, 470–471
Юксеккалдырым 191

Именной указатель

Абдул-Меджид 291, 296, 307–308
Абдул-Хамид 44–45, 176, 218, 259, 320, 325
Айверди, Самиха 344
Аллом, Томас 68, 102
Алус, Сермет Мухтар 216
Амичис, Эдмондо де 295, 378, 416
Андерсен, Ганс Христиан 119, 317
Аристотель 125
Арто, Антонин 291
Ататюрк, Мустафа Кемаль 93, 132, 154, 165–166, 198, 207, 230, 238, 241, 311, 313, 425, 435, 439
Ахмед III 200
Байар, Джеляль 230
Байрон, Джордж 230
Бальзак, Оноре де 298, 301
Бартлетт, Уильям Генри 102
Бартон, Ричард 341
Беллини, Джентиле 228
Беньямин, Вальтер 315–316, 337
Бертон, Роберт 124–125, 139
Бодлер, Шарль 126, 296
Боннар, Пьер 363, 428, 434, 438
Брамс, Иоганн 360
Бретон, Андре 291
Брехт, Бертольд 407
Бродский, Иосиф 314, 320
Буйе, Луи 376–377, 380
Валери, Поль 149, 410
Ван Гог, Винсент 480
Верлен, Поль 148–149
Верн, Жюль 35
Виан, Борис 174
Вулф, Вирджиния 426
Гамсун, Кнут 317
Гоген, Поль 480
Гойя, Франсиско 34, 403
Готье, Теофиль 100, 126, 149, 276–278, 294–299, 301–302, 304, 306–308, 314, 318, 322–323, 325–326, 331, 365, 416
Грин, Грэм 442
Гюбш де, барон 92
Гюго, Виктор 149, 181, 188, 290, 294, 297

Гюлер, Ара 54, 343
Данте, Алигьери 291
Делакруа, Эжен 126
Дилан, Боб 427
Достоевский, Федор 137, 467
Дюфи, Рауль 349
Жид, Андре 149, 311–312, 319
Золя, Эмиль 149, 298
Ибн-Сина (Авиценна) 124
Кавафис, Константинос 72
Камп, Максим дю 303, 315, 376
Кара Мехмет-паша 201
Карл-Фридрих, великий герцог 91
Кемаль, Орхан 346
Кемаль, Намык 181–182
Кемаль, Яхья 82, 119, 126, 144, 147–149, 152–153, 178, 292–293, 296, 298, 307, 311, 322–324, 326, 329–331 337–342
Кляйн, Мелани 216
Колон, Женни 289
Кольридж, Сэмюэл Тейлор 150, 470
Конрад, Джозеф 13
Кочу, Решат Экрем 145, 147, 153, 198, 201–202, 206–227, 341–343, 467
Кыванч, Халит 386
Ламартин, Альфонс 66, 290, 307, 330
Ле Корбюзье, Шарль Эдуар 60, 330, 489
Леви-Стросс, Клод 133–134, 138
Леже, Фернан 439
Лорел, Стэн 34
Малларме, Стефан 148–150
Манн, Томас 426, 467
Матисс, Анри 109, 349, 363, 438
Матракчи, Насух 67
Махмуд II 43, 277, 320
Махмуд Шевкет-паша 45
Меллинг, Антон-Игнас 68, 73, 90–103, 114, 274, 287–288, 350, 416
Мендерес, Аднан 114, 165, 230
Мехмет Завоеватель, султан 228, 231
Модильяни, Амедео 155
Моне, Клод 83, 375
Монтень, Мишель де 141, 143
Мустафа, принц 200
Набоков, Владимир 13, 151

Найпол, Видьядхар Сураджпрасад 13
Наполеон 39, 93
Нерваль, Жерар де 66, 138, 288–291, 893–898, 301, 306–308, 310, 323, 325–326, 341, 377–378, 382, 416
Нерон 276
Ницше, Фридрих 221
Оден, Уистен Хью 314
Оз, Вахи 117
Осман II 200
Пикассо, Пабло 439
Пиранези, Джованни Батиста 99, 100
Писсарро, Камиль 375
По, Эдгар Аллан 150
Портакал, Рафи 256
Пруст, Марсель 82, 149–150
Радо, Шевкет 90, 114, 118
Расим, Ахмет 137, 166, 178–183, 217–218, 325
Рескин, Джон 333, 346
Рефик, Ахмет 206–207, 218
Руми, Джелаледдин 242
Руфен, Пьер 94
Рыза, Ходжа Али 342
Саид, Эдвард 382
Сартр, Жан Поль 320, 410, 426
Сафийе-султан 201
Сезанн, Поль 439
Сейид Ахмед-паша 93
Селим III 43, 92, 99
Сислей, Альфред 375
Стендаль 298
Танпынар, Ахмет Хамди 92, 119, 126, 141, 145, 147–149, 152–153, 178, 276, 292–293, 296, 298, 307–308, 322–326, 329–332, 337, 342
Твен, Марк 66, 309
Теджер, Ахмет Кутей 344
Тернер, Уильям 375
Толстой, Лев 359, 467
Торо, Генри 143
Тугджу Кемалеттин 119, 346
Утрилло, Морис 353–355, 378
Фаик-бей 44
Фелек, Бурхан 183
Фланден, Эжен 102
Флобер, Гюстав 14, 44, 141, 303, 308, 320, 375–378, 380–383,

Фолкнер, Уильям 426
Фрейд, Зигмунд 426
Фрухтерман, Макс 321
Хайреттин-паша 44–45
Халил-паша 440–442
Харди, Оливер 34
Хатидже-султан 92–94, 98
Хашим, Ахмет 183
Хессель, Франц 315
Хисар, Абдулхак Шинаси 82–84, 87, 145, 147, 149, 151, 178, 274, 292
Чатвин, Брюс 215
Челеби, Эвлия 209, 220
Шадийе-султан 46
Шатобриан, Франсуа Рене де 289
Шахенк, Хильми 310
Шекспир, Уильям 407
Шиллер, Иоганн Фридрих 351
Эйидже, Семави 214, 216
Эль-Кинди 124–125
Эльдем, Седад Хаккы 73, 277
Элюар, Поль 291
Эргин, Осман Нури 216
Эрже (Реми Жорж) 60
Юрсенар, Маргерит 99

notes

Примечания
Михаил Шаров, Тофик Меликов

1

Кавук — головной убор, на который наматывается тюрбан.

2

Итало Кальвино (1923–1985) — итальянский писатель и эссеист.

3

Хейбелиада — остров в Мраморном море, где расположены дачи стамбульцев.

4

Хлопок *(тур.)*.

5

Курбан-байрам, Шекер-байрам — мусульманские праздники.

6

«Книга о моем деде Коркуте» — тюркский народный эпос.

7

Дворец *(тур.)*.

8

Махмуд Шевкет-паша — великий визирь в правительстве младотурок, убит в 1913 году.

9

Ишбанкасы — один из крупнейших банков Турции.

10

Ара Гюлер — знаменитый турецкий фотограф. Работал фотокорреспондентом различных турецких изданий, фотографировал, в частности, У. Черчилля, П. Пикассо и С. Дали.

11

Долмуш — вид общественного транспорта в Турции, маршрутное такси.

12

Тантан — герой популярных комиксов бельгийского художника Эрже (настоящее имя — Жорж Реми).

13

Районы Стамбула в европейской и азиатской частях города.

14

Мухаллеби — традиционный турецкий напиток, молочный кисель на рисовой муке.

15

Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790–1869) — французский поэт и государственный деятель.

16

Жерар де Нерваль (1808–1855) — французский писатель.

17

Насух Матракчи (? — 1564) — турецкий ученый, историк и художник.

18

Сурнаме — иллюстрированная книга, посвященная описанию торжественных процессий и церемоний (сурнаме назывались и сами такого рода процессии и церемонии).

19

Boğaz (*тур.*) — пролив; основное значение — «горло».

20

Тарабья — район в европейской части Стамбула на берегу Босфора.

21

Константинос Кавафис (1863–1933) — греческий поэт. В двадцатилетнем возрасте переехал из Стамбула в Александрию.

22

Ялы — деревянный особняк на берегу Босфора.

23

В наши дни — районы Стамбула на берегу Босфора.

24

Сарыер — район Стамбула, находящийся недалеко от Черного моря.

25

Район в европейской части Стамбула.

26

Мехмед II Завоеватель (1432–1481) — султан, при котором в 1453 году турками был завоеван Константинополь. Перед тем как приступить к осаде города, он построил рядом с ним крепость Румелихисары.

27

Истинье — район в европейской части Стамбула.

28

Луфарь — рыба семейства окунеобразных.

29

Дальян — стационарная сетная ловушка.

30

Куруш — мелкая денежная единица в Османской империи и в современной Турции.

31

Акче — основная денежная единица в Османской империи.

32

Маргерит Юрсенар (1903–1987) — французская писательница.

33

Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) — итальянский гравер и архитектор.

34

Теофиль Готье (1811–1872) — французский писатель и литературный критик.

35

«Карагёз» — традиционный турецкий театр теней.

36

В английском языке слова «индейка» (turkey) и «Турция» (Turkey) пишутся и произносятся одинаково.

37

Сефевиды — династия иранских шахов (1502–1736).

38

Эль-Кинди (801–873) — арабский философ.

39

Клод Леви-Стросс (р. 1908) — французский этнолог и социолог.

40

Генри Дэвид Торо (1817–1862) — американский писатель и общественный деятель.

41

«Улисс» — роман Джеймса Джойса, впервые опубликован в 1918–1920 гг.

42

Анри Бергсон (1859–1941) — французский философ-интуитивист.

43

Коза (keçi) — в турецком языке синоним упрямого человека.

44

Фалака — деревяшка, к которой привязывали ноги, чтобы потом бить палками по пяткам.

45

Борис Виан (1920–1959) — французский писатель, автор знаменитого романа «Пена дней».

46

Бабыали — старое название улицы (ныне Анкарская), где сосредоточены издательства и редакции газет.

47

Парнасцы, или «Бесстрастные» — литературное течение, возникшее во Франции в 50-е годы XIX века.

Basiret (*тур.*) — дальновидность, прозорливость.

49

Хаирсызада — остров в Мраморном море неподалеку от Стамбула.

50

Осман I Гази (ок. 1258–1324) — основатель династии турецких султанов.

51

Сипахи — род войск в Османской империи.

52

Сафийе-султан — мать султана Мехмеда III.

53

Брюс Чатвин (1940–1989) — английский писатель.

54

Мелани Кляйн (1882 — 1960) — австрийский психоаналитик.

55

Эвлия Челеби (1611–1682 или 1683) — турецкий путешественник, географ и писатель.

Türbe (*тур.*) — гробница.

57

Капалычаршы — крытый рынок в историческом центре Стамбула.

58

Джентиле Беллини (1429–1507) — венецианский художник, в 1479–1480 годах служил при дворе султана в качестве художника и военного советника.

59

Чаршаф — традиционная мусульманская женская одежда, закрывающая тело с ног до головы.

60

В турецком языке не существует категории рода, и местоимение третьего рода «о» обозначает «он», «она» и «оно».

61

Ифтар — вечерняя трапеза после захода солнца во время Рамазана.

62

Мустафа Кубилай (1906–1930) — военнослужащий турецкой армии, убитый во время мятежа в окрестностях Измира. Участники мятежа выступали под клерикальными лозунгами, в частности, требовали введения шариата.

63

Джелаледдин Руми (1207–1273) — поэт-суфий, писавший на фарси (персидском языке).

Gül-Peri (*тур.*) — пери (или фея) розы.

65

Генри Клей Фрик (1849–1939) — крупный американский промышленник, филантроп и коллекционер живописи, основатель музея, названного его именем.

66

Трабзон — город в Турции на берегу Черного моря.

67

Михраб — молитвенная ниша, помещающаяся в обращенной к Мекке стене мечети.

68

«Creedence Clearwater Revival» — американская рок-группа конца 1960-х — начала 1970-х гг.

69

Вокзал Хайдарпаша находится в азиатской части Стамбула.

70

Кифера — остров в Эгейском море.

71

Ункапаны — район Стамбула, расположенный на берегу залива Золотой Рог.

72

Заглавие русского варианта эссе И. Бродского — «Путешествие в Стамбул».

73

Уистен Хью Оден (1907–1973) — американский поэт и эссеист английского происхождения.

74

Вальтер Беньямин (1892–1940) — немецкий философ, социолог, литературный критик.

75

Сивриада — остров в Мраморном море вблизи Стамбула.

76

Анадолухисары — крепость на азиатском берегу Босфора.

Bizarrerie (*фр.*) — странность, причуда.

78

Самиха Айверди (1905–1993) — турецкая писательница.

79

Ахмет Кутси Теджер (1901–1967) — турецкий писатель, поэт и общественный деятель.

80

Кемалеттин Тугджу (1902–1996) — турецкий писатель, автор книг для детей.

81

Рауль Дюфи (1877–1953) — французский художник, примыкал к фовизму.

82

Морис Утрилло (1883–1955) — французский художник, мастер городского пейзажа.

83

Изник — город в Турции, в северо-западной части Анатолии (вилайет Бурса).

84

Пьер Боннар (1867–1947) — французский художник и график.

Пар (*фр.*). Пароход по-турецки — vapur.

86

Уильям Тернер (1775–1851) — английский художник.

87

Луи Буйе (1822–1869) — французский поэт и драматург.

88

Мароните — христианская секта в Сирии и Ливане.

89

Издававшийся в XIX веке во Франции журнал консервативного направления.

90

Эдвард Саид (1935–2003) — американский литературный критик и ученый-литературовед палестинского происхождения.

91

Карловицкий договор — заключен в 1699 году между Османской империей и Австрией. Согласно этому договору, Османская империя уступила европейским государствам ряд территорий, в том числе Венгрию.

92

Улудаг — гора в Западной Анатолии, центр горнолыжного туризма.

93

Вас выталкивают (*англ.*).

Да, сэр, вас выталкивают (*англ.*).

95

Буза — напиток из проса.

96

Фернан Леже (1881–1955) — французский художник-абстракционист.